

# РАСШИФРОВАННЫЙ ДНЕВНИК А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Расшифровка стенографического текста Ц. М. Пошеманской

Подготовка текста к печати,  
вступительная статья и примечания С. В. Житомирской

В 1923—1925 гг. в мемуарную литературу о Достоевском вошли две книги выдающегося значения: «Дневник» и «Воспоминания» жены писателя Анны Григорьевны Достоевской. Они были сразу оценены исследователями, переведены на ряд европейских языков и с тех пор заняли прочное место в науке как важнейшие историко-литературные источники.

Судьба этих широко известных книг сложилась, однако, не совсем обычно: обе они до сих пор не опубликованы полностью; не выяснено даже и соотношение их между собой, хотя, казалось бы, существование первоначальных дневниковых записей и последующего авторского переосмысления их в соответствующей части «Воспоминаний» требовало такого анализа.

Последняя статья, специально посвященная «Воспоминаниям» А. Г. Достоевской, бегло касается этого вопроса: «„Дневник“ в чем-то и более достоверный мемуарный документ, в котором с особой остротой передан драматический накал жизни Достоевских в первый год их супружества. Совсем другое — воспоминания умудренной опытом долгой и сложной жизни женщины, вполне осознающей свой долг перед памятью мужа и ответственность перед читающей публикой»<sup>1</sup>. Мы добавили бы: семидесятилетней женщины, вдовы великого писателя, пишущей свои воспоминания более чем через тридцать лет после смерти мужа, когда место его в русской и мировой литературе давно осознано человечеством. Надо ли говорить, как должна была за такой срок стабилизироваться ее концепция личности Достоевского и своей с ним семейной жизни и какие жесткие рамки накладывала эта концепция на отбор фактов для «Воспоминаний»?

Уже с этой точки зрения воспоминания А. Г. Достоевской заслуживают самого внимательного рассмотрения в сопоставлении с другими источниками. Речь идет не о фактических неточностях, неизбежных даже у такого организованного человека и внимательного к мелким подробностям мемуариста, каким была А. Г. Достоевская<sup>2</sup>, но об анализе ее концепции и о восстановлении зафиксированных в ее мемуарах фактов в их первоначальном, доконцептуальном виде. Для этого нужно прежде всего попытаться понять развитие личности и авторской индивидуальности мемуаристки — и больше всего для этой цели дало бы сравнительное исследование «Дневника» и «Воспоминаний».

А. Г. Достоевскую, ее место в жизни писателя, в посмертной судьбе его наследия принято характеризовать в тоне безоговорочного панегирика этой действительно незаурядной женщине, о которой известны такие отзывы самого Достоевского: «Ты единственная из женщин, которая поняла меня!» и Толстого: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского». Но все же, — а скорее, именно поэтому, — А. Г. Достоевская заслуживает большего, чем традиционные похвалы. Жизнь и личность ее не так однозначно просты, а по ее выдающейся роли в жизни Достоевского должны были бы стать предметом специального изучения.

Но даже основное мемуарное произведение А. Г. Достоевской — «Воспоминания», сохранившиеся полностью в виде белой авторской рукописи<sup>3</sup>, до сих пор никогда не издавались целиком. Опубликованные впервые Л. П. Гроссманом только в части, непосредственно касавшейся Достоевского, они и в этой части изобиловали пропусками и сокращениями; другие части, наброски и варианты (нередко очень существенные) печатались лишь в отрывках<sup>4</sup>. Неполю и новое издание «Воспоминаний». Вероятно в целях сокращения объема в нем опущена часть глав, посвященных юности автора, ее

семье и окружению до замужества, а также глав, рассказывающих о ее жизни после смерти мужа. К сожалению, издатели не сочли нужным подробно охарактеризовать опущенные главы, не назвав даже ни их точное число, ни заглавия.

Гораздо более сложной и тоже до сих пор не завершенной оказалась история дневника, который А. Г. Достоевская вела в первый год жизни за границей.

14 апреля 1867 г. Достоевские, свадьба которых состоялась лишь за два месяца перед этим, выехали за границу. В одном из черновых набросков своих «Воспоминаний», рассказывая о тяжелой для нее первой разлуке с матерью, А. Г. Достоевская писала: «Я утешала маму тем, что вернусь через 3 месяца, а пока буду часто ей писать. Осенью же обещала самым подробным образом рассказать обо всем, что увижу любопытного за границей. А чтобы многого не забыть, обещала завести записную книжку, в которую и вписывать день за днем все, что со мной будет случаться. Слово мое не отстало от дела: я тут же на станции купила записную книжку и с следующего дня принялась записывать стенографически все, что меня интересовало и занимало. Этому книжкоу начались мои ежедневные стенографические записи, продолжавшиеся около года, пока не появились у меня более серьезные интересы, именно приготовления к нашей семейной радости, к рождению нашей старшей дочери Сонии»<sup>5</sup>.

Известно, что перед возвращением в Россию в 1871 г. Достоевские, по настойчивому желанию Федора Михайловича, сожгли большую часть своих бумаг: «Мне удалось отстоять,— писала А. Г. Достоевская,— только записные книжки (<...>) и передать моей матери, которая предполагала вернуться в Россию поздней осенью»<sup>6</sup>. Вероятно, этим же путем вернулись в Россию записные книжки самой Анны Григорьевны.

Другое упоминание А. Г. Достоевской о стенографических дневниковых записях мы находим в предисловии к «Воспоминаниям»: «Перечитывая записные книжки мужа и свои собственные, я находила в них такие интересные подробности, что невольно хотелось записать их уже не стенографически, как они были у меня записаны, а общепонятным языком...»<sup>7</sup>. С этого перевода стенограмм на «общепонятный» язык и начала А. Г. Достоевская в 1890-х годах свою деятельность мемуаристки. Первоначально она, наверное, имела намерение их опубликовать, или, по крайней мере, сохранить их для потомства в таком виде, который отвечал бы ее требованиям. Во всяком случае, как мы увидим далее, она не просто расшифровывала их, но и редактировала, внося в некоторых случаях новый текст и смысловые изменения.

Расшифрованным текстом дневника А. Г. Достоевская заполнила две толстые переплетенные тетради. В них поместились записи с 14 апреля по 12/24 августа 1867 г.<sup>8</sup> Именно эта рукопись и была в 1923 г. издана Н. Ф. Бельчиковым<sup>9</sup>. Сведения об истории «Дневника» и его рукописей, сообщаемые им в предисловии, неполны и не всегда точны, что было неизбежно при тогдашнем уровне знаний о рукописном наследии Достоевского и его жены. Сейчас эта история предстает в следующем виде.

По приведенному выше сообщению А. Г. Достоевской, она вела дневник за границей примерно год. Так как этот текст принадлежит к первоначальным вариантам «Воспоминаний», начатым в 1911 г., с широким использованием стенографических дневниковых записей, то он опирается, несомненно, не только на память мемуаристки, но и на хорошо известные ей хронологические рамки этих записей. Поэтому мы исходим из того, что дневник велся с апреля 1867 г. примерно по февраль — март 1868 г.<sup>10</sup> Сколько же могло быть записных книжек или тетрадей и какая часть их текста дошла до нас — в виде первоначальной стенограммы или в позднейшей расшифровке?

Самые ранние свидетельства об этом находятся в письмах Достоевского из Женевы. Достоевского занимал стенографический дневник жены, который он не мог прочесть. «Сколько раз говорил мне Ф. М.: как бы мне хотелось знать, что такое ты пишешь своими крючочками. Уж наверное меня бранишь», — вспоминает А. Г. Достоевская<sup>11</sup>. Этот интерес отразился и в письмах писателя, где есть некоторые данные об объеме дневника: «Анна Григорьевна оказалась чрезвычайной путешественницей: куда ни приедет, тотчас же все осматривает и описывает, исписала своими знаками множество маленьких книжек и тетрадок...»<sup>12</sup>; «Для нее, например, целое занятие пойти осматривать какую-нибудь глупую ратушу, записывать, описывать ее (что она делает своими стенографическими знаками и исписала 7 книжек)...»<sup>13</sup> Отсюда сле-

дует, как будто, что не менее 7 книжек были заполнены Анной Григорьевной за первые четыре месяца жизни за границей, а общее их количество за год должно было значительно превзойти эту цифру.

К своим заграничным дневникам А. Г. Достоевская вернулась впервые через двадцать семь лет, в 1894 г., о чем она сама сделала надпись на первом листе первой тетради расшифровки<sup>14</sup>. Вся эта тетрадь однородна по чернилам и почерку; можно думать, что она не только начата, но и закончена в 1894 г.

Затем расшифровка дневника возобновилась в 1897 г.; расшифрованным текстом начала заполняться вторая тетрадь, на титульном листе которой также сделана запись об этом<sup>15</sup>. Но эта тетрадь (как и надпись), в отличие от первой, заполнялась не сразу, а частями, что заметно по перемене чернил и пера. В надписи: «Дневник записывался стенографически. Переведен и переписан чрез 30 лет, в конце 1897 г. *Затем переписывание было возобновлено летом 1909 г., зимою 1912 г.* Книга содержит „Дневник“, начиная с 10 июня (22 июня) 1867 г. до 24/12 августа 1867 года» — слова, выделенные нами курсивом, приписаны другими чернилами. Судя по внешнему виду текста, А. Г. Достоевская сперва прекратила расшифровку на записи от 3 июля, затем (в 1909 г.) расшифровала текст до записи 22/10 июля, и наконец, (зимой 1911/12 г.) внесла в эту тетрадь расшифровку текста до 24/12 августа. Таким образом, до 1911 г. вторая тетрадь расшифровки была заполнена лишь на две трети (первые 236 страниц в издании «Дневника»).

Это совпадает с данными, которые можно извлечь из тетради завещательных распоряжений, заведенной А. Г. Достоевской в 1902 г. и заполнявшейся ею в течение последующих десяти лет. В этой тетради, озаглавленной «En cas de ma mort ou d'une maladie grave»\*, содержится следующий текст (известный, но не воспроизводившийся до сих пор полностью; слова, выделенные нами курсивом, вписаны сверху карандашом)<sup>16</sup>: «О тетрадях, записанных мною стенографически. В числе оставшихся после меня тетрадей найдутся две-три-четыре, исписанные стенографическими знаками. В этих тетрадях заключается Дневник, который я вела с выезда нашего за границу в 1867 г. в течение полутора года. Часть Дневника была мною переписана года два тому назад (та тетрадь, которая находится в нестараемом ящике в Музее<sup>17</sup>). Остальные тетради я п р о ш у уничтожить, так как вряд ли найдется лицо, которое могло бы перевести с стенографического на обыкновенное письмо. Я делала большие сокращения, мною придуманные, а следовательно, лицо переписывающее всегда может ошибиться и писать неправильно. Это во-первых. Во-вторых, мне вовсе бы не хотелось, чтоб чужие люди проникали в нашу с Ф. М. семейную интимную жизнь. А потому н а с т о я т е л ь н о прошу уничтожить все стенографические тетради». К этому месту, соотнесенное звездочками, на чистом соседнем листе помещено добавление карандашом: «Первая стенографическая книга (за время 15 апреля 1867 по ... 1867 г.) мною переписана в ту книгу, которая находится в Моск<овском> нестараемом ящике<sup>18</sup>. Вторая стенографическая книжка переписывалась в 1911 и имеется толстая тетрадь, наполовину исписанная. Она находится в сундуке, увезенном мною в Сестрорецк».

Из этих записей вытекает ряд выводов. Первое распоряжение, внесенное в завещательную тетрадь при ее составлении в 1902 г., сообщает только о первой тетради расшифровки, к этому времени законченной. А. Г. Достоевская, делая эту запись, не помнила, очевидно, или не придавала значения начатой ею позже второй тетради расшифровки, и не упомянула о ней. Приписки карандашом были сделаны, вернее всего, зимой 1911/12 г., когда вторая тетрадь расшифровки сильно продвинулась, но не была еще окончена («наполовину исписанная»). Однако в этот момент А. Г. Достоевская — в разгаре этой работы, ей хорошо известно количество стенографических тетрадей и поэтому она вписывает над неопределенными словами «две-три» точное число: «четыре».

Можно с большой долей уверенности предположить, что после 1911/12 г. А. Г. Достоевская не возвращалась более к расшифровке «Дневника». Совпадение конца расшифровки «Дневника» и начала работы над «Воспоминаниями» не может быть случайным. Именно новое знакомство со своим дневником должно было привести

\* На случай моей смерти или тяжелой болезни (франц.).

А. Г. Достоевскую к мысли о невозможности и нежелательности его издания и к решению использовать его лишь как источник для мемуаров, в которых и Достоевский, и она сама предстали бы не в свете безыскусных записей неопытной девочки, а в рамках зрелых суждений вдовы великого писателя. Она сама позднее рассказывала о своих «Воспоминаниях» А. А. Измайлову: «Во многом это только переработка записей, в свое время сделанных в дневнике, куда в первое время я целиком записывала даже разговоры с Ф. М.»<sup>19</sup>.

Что же успела расшифровать А. Г. Достоевская, какую часть ее заграничного дневника составляет эта расшифровка? Расшифрованный и изданный «Дневник», как уже говорилось, охватывает 14 апреля — 24/12 августа 1867 г. Во второй тетради расшифровки А. Г. Достоевской отмечен переход от одной стенографической книжки к другой; на стр. 140 стоит: «Конец первой книжки», на стр. 141: «Начало второй тетради»<sup>20</sup>. И тут, к нашему немалому удивлению, выясняется, что за первые четыре месяца жизни за границей А. Г. Достоевская исписала не «множество» и даже не «7» записных книжек, а всего лишь две. Это делает очень вероятной цифру «четыре», указанную А. Г. Достоевской в завещательной тетради: если с апреля до августа, в период, наиболее насыщенный впечатлениями, хватило двух книжек, то вряд ли большее их количество было использовано в Женеве, в особенности зимой, накануне рождения ребенка.

Данные о количестве книжек, извлеченные из писем Достоевского, на первый взгляд противоречат этому рассуждению, относятся, несомненно, не только к записным книжкам дневника, но и к другим книжкам, куда А. Г. Достоевская заносила сведения о достопримечательностях и произведениях искусства.

Наличие в ее обиходе таких особых книжечек отмечено дважды в ее дневнике. 12/24 мая, рассказывая о посещении Дрезденской галереи, она записывает: «Со мною была моя книжечка, и я сделала некоторые замечания о годе рождения художников и о тех картинах, которые на меня произвели особенное впечатление». Проверка стенографического оригинала той части дневника, где находится эта запись, показала, что подобных «замечаний» в нем нет — ни в тексте дневника, ни на каких-либо пустых листах. Ясно, что имеется в виду другая, не дневниковая книжечка. В другой раз (6/18 июня) А. Г. Достоевская сообщает в дневнике о том, что она «вписывала в свою книжечку» конспект романа Гюго «Отверженные»<sup>21</sup>.

Следовательно, к концу жизни А. Г. Достоевской у нее должны были сохраниться четыре стенографические книжки «Дневника»: одна расшифрованная полностью, вторая тоже расшифрованная (но неизвестно, до конца ли), третья и четвертая, текст которых оставался неизвестным. Этот вывод не был сделан при издании «Дневника» в 1923 г.; Н. Ф. Бельчиков исходил из того, что указанные А. Г. Достоевской четыре стенографические тетради — это тетради, не подвергшиеся расшифровке; местонахождение же их, как и стенографических оригиналов расшифрованных тетрадей, было неизвестно. Развивая этот тезис, легко было предположить, что завещательное распоряжение А. Г. Достоевской выполнено и тетради уничтожены.

А. С. Долинин вскоре после издания «Дневника» указал на существование стенографических тетрадей в оставшемся после А. Г. Достоевской архиве; в своей статье «Достоевский и Суслова» он писал: «Быть может, удастся когда-нибудь расшифровать дальнейшие стенографические записи А. Г. ...»<sup>22</sup> В конце же 1920-х годов, когда часть архива Достоевского, хранившаяся в Историческом музее, была передана в Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, в ней оказались две стенографические записные книжки с некоторыми записями обычным письмом, доказывавшими, что это книжки 1867—1868 гг. Книжки были описаны как стенографические дневники<sup>23</sup>, но ни соотнести их с изданным дневником, ни даже установить их последовательность возможности не было: никто не мог прочесть стенограмму.

Так обстояло дело до середины 1950-х годов, когда было начато составление сводного каталога рукописей Достоевского и материалов его семейного архива, находящихся в разных хранилищах страны<sup>24</sup>. По инициативе акад. М. П. Алексеева в ходе этой работы была предпринята попытка расшифровать стенографические записи А. Г. Достоевской, хранившиеся в Пушкинском Доме. За эту работу взялась стенографистка Ц. М. Пошемамская, изучившая для этой цели учебник стенографии Ольхина,



## ДОСТОЕВСКИЙ

Фотография Н. Досса, 1876, Петербург, с дарственной надписью Достоевского жене:  
«Моей доброй Ане от меня. Ф. Достоевский й. 14 июня/80 г.»

Местонахождение оригинала неизвестно

по которому занималась А. Г. Достоевская. Этого оказалось недостаточно. А. Г. Достоевская применяла особые, ею самой придуманные сокращения и условные обозначения. Вероятно поставленная перед Ц. М. Пошеманской задача вообще не была бы выполнена с таким успехом, если бы В. С. Нецаева не подсказала ей мысль сравнить стенографические книжки с текстом опубликованного «Дневника».

Сличение сразу привело все в ясность: одна из книжек (значившаяся в описи как книжка № 2) представляла собой *первую* из двух изданных книжек дневника; вторая же (обозначенная как № 1)<sup>25</sup>, охватывавшая время с 5 сентября/24 августа по 31 декабря 1867 г., являлась не известным до тех пор продолжением изданного дневника.

Чтобы не возвращаться к этому более, прервем здесь рассказ о работе Ц. М. Пошеманской и сразу изложим те соображения, которые возникают на основе такого вывода. Между концом второй изданной книжки, стенографический оригинал которой, как теперь выяснилось, отсутствовал, и этой нерасшифрованной книжкой обнаруживалась лакуна в записях в течение 12 дней. Скорее всего, эти записи содержались в той же утраченной книжке, но не были расшифрованы, так как не помещались во второй, полностью исписанной тетради расшифровки. Если это так, то вторая из сохранив-

шихся стенографических книжек является *третьей* по счету из общего числа четырех. Возможен и другой вариант — что записи за эти 12 дней составляли особую небольшую книжечку; в этом случае вторая стенографическая книжка Библиотеки имени Ленина является *четвертой* по счету и, значит, последней. Этот вопрос останется открытым, если не обнаружатся впоследствии остальные стенографические книжки дневника.

Объем второй из изданных книжек дневника, в стенографическом виде до нас не дошедшей, легко устанавливается по расшифровке А. Г. Достоевской: на стр. 140 расшифровки, где указано: «Конец первой книжки», внизу, под текстом есть помета — «стр. 225»; на стр. 141, с которой начинается расшифровка этой утраченной книжки, внизу помечено «стр. 226», и этот счет страниц продолжается до самого конца тетради наряду с ее собственной пагинацией: на последней странице внизу помечена стр. 379. Так как первая стенографическая книжка как раз кончается страницей 225-й, то, очевидно, в следующей книжке дневника А. Г. Достоевская продолжала ту же пагинацию, и всего в ней было 153 страницы (379—225). Может быть страницей 379-й кончалась не вся книжка, а только большая часть ее, расшифрованная А. Г. Достоевской.

Установив соотношение издания «Дневника» со стенографическими записями, Ц. М. Пошманская получила в свое распоряжение ключ к стенографической системе А. Г. Достоевской и могла теперь, изучив ее, составив словарь применявшихся ею сокращений, прочесть стенографические тексты, хранившиеся в Пушкинском Доме<sup>28</sup>. Тогда же мы предложили Ц. М. Пошманской расшифровать и вторую стенографическую книжку дневника, что она и выполнила успешно в 1958—1959 гг.<sup>27</sup>

Подводя итоги истории рукописей дневника, можно сказать, что сохранилось, во всяком случае, не менее  $\frac{3}{4}$  его текста: ни в стенографическом, ни в расшифрованном виде нет четвертой — последней или промежуточной тетради. Но и дошедший до нас текст до сих пор исследователям известен не полностью и не в своем подлинном виде. Сличение расшифрованного и изданного «Дневника» с соответствующей частью стенографических записей, выборочно проведенное Ц. М. Пошманской, показало, прежде всего, что при расшифровке весь текст был подвергнут литературной редакции. Кроме этого, А. Г. Достоевская внесла в него ряд изменений, устраняя некоторые подробности или, напротив, развивая, по своим воспоминаниям, рассказы о событиях, кратко описанных в дневнике. Вот некоторые примеры:

Сокращения текста и позднейшие примечания, внесенные  
в текст

#### *В стенографической записи*

Отсюда мы пошли к Helbig. Здесь Федя дал мне прочесть письма Андрея Михайловича, письма Паши и Майкова, но ничего не сказал о других письмах. Как это гадко, что он меня так обманывает, ведь тем он и меня приучает поступать не так, как следует, тем он дает мне повод также от него скрывать, что мне хочется. Это уж очень нехорошо, особенно для него, которого я считаю за образец всего.

#### *В расшифрованном тексте*

(«Дневник А. Г. Достоевской», стр. 111)  
Отсюда мы пошли к Helbig. Здесь Федя дал мне прочесть письма Андрея Михайловича (Достоевского, брата Феди), письма Паши и Майкова, но ничего не сказал о других письмах. Меня очень огорчило, что он это сделал, что он не хочет быть откровенен со мной.

#### В с т а в к и

##### *В стенографической записи*

Меня сильно беспокоила моя ссора с Федей и я бог знает что вообразила себе, различные глупости, и потому раньше пришла домой. Мне сказали, что он еще не приходил. Это еще более меня поразило. Окна у нас были открыты и я стала высматривать в окно, не идет ли Федя.

##### *В расшифрованном тексте*

(«Дневник А. Г. Достоевской», стр. 12—13)  
Меня сильно беспокоила моя ссора с Федей и я бог знает что стала воображать. Я решила идти поскорее домой, думая, что Федя вернулся и я могу помириться с ним. Но каково было мое огорчение, когда придя в гостиницу, я узнала, что Федя заходил уже домой, побыл несколько минут в комнате и опять ушел. Боже мой, что я только перечувствовала! Мне представилось, что он меня разлюбил и, уверившись, что я такая дурная и капризная, нашел, что он слишком несчастлив, и бросился в Шпрее (и т. д.).

Очевидно, что новая расшифровка первой записной книжки А. Г. Достоевской и издание ее первоначального текста все еще остается невыполненной задачей. Второй книжке «Дневника», стенографическая запись которой до нас не дошла, суждено остаться в ее нынешнем виде, не можем мы и заполнить лакуны в 12 дней. Третья же книжка, предварительная публикация которой помещается ниже, печатается здесь тоже лишь в части, непосредственно относящейся к Достоевскому. Таким, образом издание полного текста сохранившихся частей «Дневника» еще впереди.

Публикуемая книжка «Дневника» относится к осени и зиме 1867 г., проведенным Достоевскими в Женеве. До сих пор источниками биографических сведений об этом периоде их жизни были письма Достоевского к Майкову (3), С. А. Ивановой (1), единичные письма к пасынку, теще и Э. Ф. Достоевской, четыре его письма к жене, написанные во время двух поездок на рулетку в Саксон ле Бен, и немногие страницы «Воспоминаний» А. Г. Достоевской. И воспоминания А. Г. Достоевской, где умело отобраны все наиболее существенные черты женеvской жизни (как в биографическом, так и в литературном плане)<sup>28</sup>, и особенно письма самого Достоевского, столь значительные для раскрытия и его напряженной, замкнутой и страстной внутренней жизни, и мелких подробностей их трудного быта, казалось бы, трудно существенно дополнить.

Знакомство с дневником А. Г. Достоевской за август — декабрь 1867 г. убеждает в обратном. Жизнь в Женеве была более одинокой и монотонной, чем предыдущие месяцы в Дрездене и Бадене. Здесь не было того обилия достопримечательностей, которое так захватило на первых порах А. Г. Достоевскую, впервые оказавшуюся в Европе; круг знакомств, и раньше крайне ограниченный, свелся теперь к одному почти Огареву; напряженная работа Достоевского над романом «Идиот» исключала возможность выйти за рамки жесткого ежедневного режима; изматывающее безденежье сковывало всякое стремление к новым впечатлениям и развлечениям.

Но, может быть, именно поэтому все мелкие события повседневной жизни, выступая в дневнике на первый план, дают очень многое для проникновения в эмоциональную жизнь, настроения, общественные реакции Достоевского в эти столь важные для его творчества месяцы, когда формировался замысел романа «Идиот» и создавалась его первая часть.

Дневник А. Г. Достоевской — двадцатилетней девушки, внезапно вошедшей в жизнь знаменитого писателя, далеко еще не готовой приобщиться к его умственной жизни, да и не допускавшей им за пределы доступного ей, — неожиданно оказывается не только детальным отчетом о биографически важных событиях этого времени, исключительным по своей подробности источником для летописи жизни писателя, но рупором, эхом суждений Достоевского, высказанных им походя, по частным поводам, не в той обобщенной и почти всегда заостренной, драматизированной форме, какая свойственна его письмам. Разумеется, умственное влияние Достоевского на его молоденькую жену было безгранично — естественно, что, записывая в дневник впечатления дня и даже споры и раздоры с мужем, она часто не в состоянии отличить собственное мнение от суждений Достоевского. Голос его всегда звучит в разбросанных по страницам дневника оценках окружающей действительности, общественных и литературных явлений.

Лейтмотив женеvского периода — отвращение Достоевского к «буржуазной жизни в этой подлой республике», к благополучному бюргерскому быту швейцарцев, к их патриотизму, который он не именует иначе, как тупым и глупым. Оно — оборотная сторона острой тоски по России, усугубляемой страхом оторваться от русской действительности, и происходившей в нем идейной ломкой, сводившей на нет возможность контактов с обитавшими в Женеве русскими и польскими политическими эмигрантами.

Безыскусные, часто наивные записи А. Г. Достоевской демонстрируют эти реакции Достоевского в эпизоде знакомства с живущей в Женеве русской девочкой (Достоевский заинтересовался ею только потому, что она брала свой швейцарский пансион, где ей не позволяли говорить по-русски); в рассказе его о русском крестьянине, ставшем английским матросом, процветавшим за границей, но вернувшемся все-таки в Россию, где его ждало наказание плетью; в гневе Достоевского на жену, не запротестовав-

шую, когда ей сказали, что она похожа на немку (запись 6 сентября/25 августа). Образ мыслей Достоевского отражен, несомненно, и в таких «собственных» суждениях А. Г. Достоевской, как: «Однако ведь этот город Женева славится свободой, а оказывается, что свобода-то своя вот в этом только и состоит, что люди все пьяные, горлачат песни...», или: «... когда Duc de Savoie хотел овладеть Женевой, то его бароны, воспользовавшись сном женевцев, уже перелезали стену, как те проснулись и сбросили их со стены и таким образом не допустили овладеть городом; вот их самое большое национальное предание, больше у них ничего и нет, и, конечно, они этим гордятся, просто даже сделано памятник на площади, «magnifique fontaine», как они его называют...» (запись 11 декабря/29 ноября). Невольно вспоминается фраза из письма Достоевского к Майкову: «И всё у них, каждая тumba своя — изящна и величественна»<sup>29</sup>.

Самым крупным общественным событием этих месяцев, свидетелями которого были Достоевские, явился Конгресс Лиги мира и свободы, состоявшийся в Женеве в сентябре.

Задуманный республиканской, пацифистски настроенной интеллигенцией в условиях нараставшей опасности новой войны, проводимой империей Наполеона III на Люксембург, Конгресс должен был явиться внушительной демонстрацией единения прогрессивных сил против милитаризма. Половинчатость и неопределенность его программы, однако, оттолкнула от него значительную часть активных общественных деятелей. В Конгрессе — по различным, конечно, мотивам — не приняли участие ни Маркс (пытавшийся, впрочем, через Генеральный совет I Интернационала повлиять на программу Конгресса), ни Герцен, презрительно называвший Конгресс «писовкой» (от английского rease — мир), ни Луи Блан, ни Гюго. Огарев, правда, считал нужным участвовать в Конгрессе и его руководящих органах. Именно под его влиянием, как явствует из дневника А. Г. Достоевской, Достоевский пошел все-таки на одно из заседаний Конгресса. Вот как пишет А. Г. Достоевская об этом посещении, выражая, несомненно, не только свое отношение к происходившему, но, главным образом, настроение Достоевского: «И к чему этот глупый конгресс, делать людям нечего, так они и собираются на разные конгрессы, на которых только и говорится, что громкие фразы, а дела никакого не выйдет».

Еще до этого Достоевские, вместе со всеми жителями Женевы, приняли участие в торжественной встрече Гарибальди. На заседание же Конгресса они отправились только на третий день, 11 сентября, после встречи с Огаревым, объяснившим Достоевскому, что вход свободен для всех желающих. Отчет об этом заседании, занесенный в дневник А. Г. Достоевской, служит прекрасным конкретным комментарием к известным письмам Достоевского по этому поводу. Он вносит ясность и в весьма существенный момент творческой биографии Достоевского, неопровержимо доказывая, что Достоевский не мог слышать речь Бакунина на Конгрессе и, таким образом, эта речь и условия ее произнесения перед возбужденными тысячами людей не послужили первым толчком для литературного воплощения личности Бакунина в образ Ставрогина, как это доказывал в свое время Л. П. Гроссман в дискуссии о Бакунине и Ставрогине<sup>30</sup>. Главным документальным источником этого заблуждения послужило как раз ошибочное утверждение А. Г. Достоевской в воспоминаниях о посещении ими *второго* заседания Конгресса<sup>31</sup>, тогда как они были на *третьем*.

Для собственно творческой биографии Достоевского этих месяцев «Дневник» дает не так много. Он освещает и детализирует, однако, ход работы над утерянной впоследствии статьей «Знакомство мое с Белинским» (особенно выпукло очерчено в дневнике раздражение Достоевского этой немисливо трудной для него в тот период работой, лихорадочное нетерпение кончить ее и как можно скорее отправить ее в Россию); вносит он и некоторые уточнения в хронологию возникновения и смены первых пластов романа «Идиот». Но зато фон этой творческой работы, душевное состояние Достоевского, темы его размышлений — в той степени, в какой он делился ими с женой, смена его настроений и намерений выясняются из дневника с такой полнотой, как ни из какого другого документа этих месяцев. Исследователь, занимающийся творческой историей «Идиота», получает в свое распоряжение источник, без учета которого эта история не

может быть достоверной. Здесь важны не только прямые свидетельства о работе над романом: «Он ужасно как тоскует, что роман у него не ладится, и он горюет, что не успеет послать его к январю месяцу» (запись 31/9 октября) или развернутая запись рассказа Достоевского жене о процессе Умецких, отчет о котором он только что прочитал в газете, — запись, передающая его непосредственное впечатление, столь значительно отразившееся потом в работе над романом. Еще важнее будет для исследователей возможность тщательного анализа каждого дня жизни Достоевского в сопоставлении с его записными тетрадями к «Идиоту», содержащими много точных дат.

Дневник дает немало сведений о чтении Достоевского осенью и зимой 1867 г.: в пересказе его жены на первый план выступают те из газетных корреспонденций, которые больше всего заинтересовали писателя — по личным ли причинам — например, предполагаемая отмена долговых тюрем, потому ли, что они поразили его творческое воображение — как дело Умецких, или, наконец, задевали его общественное сознание — например, интерес Достоевского к деятельности суда присяжных. Не менее важны, разумеется, и указания о литературе, которую читал Достоевский: от «Былого и дум» Герцена до протоколов процесса об убийстве герцогини Шуазель; быстрота его чтения; замечания его по поводу прочитанных книг.

Особое направление сведений, черпаемых из дневника, составляет литературное воспитание Достоевским своей юной жены: «К стыду моему, — пишет она на первой же странице, — я должна признаться, что я не читала ни одного романа Бальзака, да и вообще очень мало знакома с французской литературой. Вот теперь-то я и думаю на свободе, когда у меня нет никаких дел, приняться за чтение лучших французских писателей, особенно под руководством Феди, который, конечно (с у м е т) выбрать мне самое лучшее и именно то, что стоит читать, чтобы не терять времени на чтение совершенно пустых вещей» (запись 5 сентября/24 августа). Бальзак, Жорж Санд, Диккенс, Купер и Вальтер Скотт — вот круг авторов, избираемых последовательно Достоевским для приобщения жены к мировой литературе. Если уже в этой первой записи А. Г. Достоевской ясно проступает назидательный тон самого писателя, то еще более очевиден он в многочисленных заметках Анны Григорьевны об отдельных книгах — заметках, расширяющих представления прежде всего не об ее вкусах, а о литературных воззрениях Достоевского.

Огромное место в дневнике занимает семейная и бытовая сторона жизни Достоевских в Женеве, непрестанная нужда в деньгах, трудный характер Достоевского, к которому еще не вполне приспособилась его жена, тяжелые и сложные взаимоотношения А. Г. Достоевской с пасынком и с вдовой М. М. Достоевского. Эта часть записей, вносящая лишь некоторые новые штрихи в биографию Достоевского, дает необыкновенно много для понимания личности его жены, ее интересов, формирования ее характера и мышления. Читатели этого дневника узнают больше об А. Г. Достоевской, чем знал о ней в то время сам Достоевский. Мы видим, как стойко и жизнерадостно переносит она трудности, как глубоко предана мужу, как настойчиво строит она семейные отношения в соответствии со своими о них представлениями; но мы видим также, как далека еще она в этот период от духовной жизни мужа, как зыбки подчас ее нравственные понятия, какими недозволенными приемами она пользуется, чтобы изменить отношение мужа к его семье. Простодушно записывает она в дневник о том, что читает тайком письма и рукописи Достоевского: «Сказать же об этом, что я читаю, было бы ужасно как глупо, потому что тогда бы он стал непременно прятать от меня все написанное. Вообще он не любит, чтобы смотрели то, что он написал еще начерно, да, я думаю, никакой человек не любит, а поэтому говорить не для чего» (запись 13/1 октября).

Стенографическая форма дневника, исключавшая для Достоевского возможность без спроса или случайно прочесть дневник жены, наложила свой отпечаток на его характер: мало сохранилось интимных документов, где отношения супругов так раскрывались бы во всех своих сложных перипетиях, как в этом. Записи дневника как бы объективно уравнивают позднейшие оценки характера Достоевского в мемуарах его жены, своим чрезмерно восторженным, даже сусальным оттенком так противоречащие его мучительному, сложному, всегда напряженно-эмоциональному внутреннему облику и поведению<sup>32</sup>. Болезнь, обостренное раздражение женевскими нравами, пре-

увеличенно острая реакция на мелочи быта, вечная мысль о деньгах и навязчивая идея внезапного обогащения, приводящая его к игорному столу и в результате почти к ниществу, раскаяние и недовольство собой, а, с другой стороны,— творчество и совершенствующаяся в нем битва идей, лишь внешние проявления которой задевают А. Г. Достоевскую,— вот каким предстает Достоевский на страницах ее дневника. Достоверность в первую очередь и определяет большое значение дневника.

Есть у него, конечно, и еще один аспект: несмотря ни на что, общий тон дневника— счастливый и светлый; растущая привязанность друг к другу, подтрунивание над своей бедностью, веселые прозвища, шутки создают этот тон, крепнущий со временем. Страницы женевского дневника А. Г. Достоевской сохранили каламбуры Достоевского и даже часть сценки в стихах «Абракадабра».

Преимущество «Воспоминаний» А. Г. Достоевской и ее стенографического дневника первых лет замужества, ясная уже с момента их издания, совсем не могла быть очевидной в той части воспоминаний, которая посвящена знакомству А. Г. Сниткиной с Достоевским, его сватовству и свадьбе: ведь дневник был начат только с момента выезда за границу. При чтении этих частей «Воспоминаний» невозможно было, однако, отказать от мысли, что они основаны на каких-то записях, современных событиям,— то ли девичьем дневнике, то ли письмах: так подробно, до мелочей, описана квартира Достоевского, их диалоги, ежедневный ход событий. Даже отдавая себе отчет в том, как глубоко могло запечатлеться в памяти А. Г. Достоевской такое величайшее для нее событие, как знакомство с ее будущим мужем, трудно было поверить, что она в старости писала эти страницы, не опираясь на прежние записи. Теперь источник этой части «Воспоминаний» найден—это воспоминания о событиях 1866 г., записанные А. Г. Достоевской в своем дневнике под соответствующими днями октября и ноября 1867 г. Обнаруживается, что часть этих записей перенесена в «Воспоминания» почти дословно, с самой незначительной редакционной правкой, с некоторой лишь перестановкой последовательности фактов и диалогов. Но в ряде мест обобщение событий, естественное при переработке старых записей в позднейшие «Воспоминания», привело к тому, что опущенными оказались некоторые любопытные детали. Так, рассказывая в «Воспоминаниях» о своем первом знакомстве с друзьями и родными Достоевского, А. Г. Достоевская из друзей упоминает лишь А. Н. Майкова; в дневнике же появляются и А. П. Милоков и И. Г. Долгомостьев, по словам Достоевского, «человек чести удивительной, но несколько ленивый»; при этом выясняется, что «тот предлагает ему <Достоевскому> издавать религиозный журнал, но что они никак не могут согласиться в главных условиях».

Существенной смысловой правке подвергла А. Г. Достоевская записанные ею в дневнике и перенесенные впоследствии в «Воспоминания» беседы ее с Достоевским в период их знакомства: о разных писателях, о его семье и прежней жизни. Для уяснения характера правки достаточно сравнить отзывы о Тургеневе и Некрасове в дневнике и в «Воспоминаниях». О Тургеневе (по дневнику) Достоевский говорил, что «тот живет за границей и решительно забыл Россию и русскую жизнь». Отзыв в «Воспоминаниях» довольно близок к этому тексту: «О Тургеневе отзывался как о первостепенном таланте. Жалел лишь, что он, живя долго за границей, стал меньше понимать Россию и русских людей»<sup>33</sup>. Отзыв о Некрасове в дневнике звучит так: «Некрасова он прямо называл шулером, игроком страшным, человеком, который толкует о страданиях человечества, а сам катается в коляске на рысаках»; в «Воспоминаниях»: «Некрасова Федор Михайлович считал другом своей юности и высоко ставил его поэтический дар»<sup>34</sup>.

Трансформируя пространные записи 1867 г. в компактную форму позднейших воспоминаний, А. Г. Достоевская сократила рассказы Достоевского о своем прошлом, опуская то, что, с ее точки зрения, могло бы его компрометировать: подробности семейных огорчений, поездки на рулежку в Гомбург и т. п. Исчезли при этом такие, например, высказывания писателя: «... бранил он Петра Великого, которого просто считал своим врагом и теперь винил его в том, что он ввел иностранные обычаи и истребил народность» (запись 8 октября).

При переделке вкрались отдельные ошибки в деталях: так, в дневнике в рассказе Достоевского о казни петрашевцев правильно указано его место среди осужденных, во втором ряду; в воспоминаниях — в третьем<sup>35</sup>.

Chambésy, куда я и отправилась. Это, кажется, после станций Женевской железной дороги. Я спустилась вниз и вышла опять к озеру. Господи, что тут я увидела, это такое чудо, что просто и описать трудно. Озеро прекрасное, тихое, без волн, одно синее, прекрасного, чудного синего цвета, кругом горы, на горах деревушки, дачи, озеро большое, среди него 2 какие-то судна с парусами, которые придают вид двукрылых. Все это было удивительно как хорошо, как-то ярко, ясно и красиво, так что просто глаза не могли оторваться. Я подошла к самому берегу и села на камень, а вода прилиwała опять мне к ногам, так что иногда залиwała башмаки. Потом я стала бросать камни и смотрела, как они производили брызги. Потом увидела на земле 2 камня, которые были поразительно хороши. Я их взяла с собой, но потом, когда они обсохли, то оказались довольно обыкновенными камнями. Федя даже расхохотался, когда я ему сказала, что принесла подарок, и сказал, что, вероятно, принесла ему камни. Вода прозрачная, чистая, прекрасная и среди того прекрасного синего цвета были волны почти совершенно розовые <...>

Я пришла, так и повалилась, так я сильно устала. Федя сидел, писал и потому ничего не сказал при моем приходе, и я могла отдохнуть сколько было угодно. Так как он занимался, то ему показалось, что я проходила не больше часа, и он сказал, что мы непременно с ним отправимся для того, чтобы посмотреть на озеро, туда, куда я ходила. Когда я немного отдохнула, мы отправились обедать, переменили книги, отобедали и пришли домой. Федя принялся читать и он так скоро прочел, что решил, что ему на воскресенье решительно нечего будет читать, и потому мы решили сходить еще вечером и попросить у нее еще 2 книги на воскресенье. Весь мост Montblanc (я ужасно ошиблась, я считала мост, соединяющийся с островком Жан-Жака Руссо, мостом для машины, а оказалось, что это мост Берг (Bergues), а длинный другой мост, через который я не люблю проходить, оказывается мостом *Монблан* <sup>15</sup>. Это мне сказала старуха наша), весь этот мост украшен плакатами, потому что сначала сегодня ожидали Гарибальди, но по каким-то обстоятельствам он приедет не сегодня, а завтра в 5 часов. По сторонам то и дело появляются новые афиши, извещающие о приезде Гарибальди, говорящие о его заслугах и возвещающие также, что назначено открытие конгресса мира на 9 сентября, т. е. на понедельник. Он будет продолжаться 4 дня, а в четверг будет прогулка по озеру и затем обед на \* частный счет *Виктора Гюго*, мне бы очень хотелось его видеть <sup>16</sup>.

Потом мы отправились за покупками, сначала зашли и взяли эти две книжки, потом купили фрукты (по 15 с. <за фунт?>), кофе и решили купить и чаю. Нагрузившись, сколько было возможно, мы отправились за чаем в новооткрытый магазин, где продают также и шоколад. Мы спросили черного чаю; дама, которая здесь торгует, сейчас позвала к нам самого хозяина и тот принялся раскрывать новый ящик. Вероятно, чай здесь решительно не идет, потому что у него все цибикки были закупорены и, вероятно, мы у него одни покупатели. Он так много трудился над открыванием ящика и так управлялся с ножиком, что я просто боялась, как бы он не изрезал себе пальцев. Право, нам сделалось стыдно, что мы беспокоим человека из-за полфунта чаю, хотя они и этому были очень рады \* когда мы \*; право, в Петербурге очень стыдно купить половину фунта в чайном магазине, а здесь чай пьется как лекарство, а потому они были просто удивлены и даже обрадованы, когда мы вдруг взяли у них половину чаю <...> Мне хотелось шоколаду, и Федя купил мне четверть фунта по 1 франку 50 с. за фунт, здесь шоколад довольно дешев, т. е. сравнительно с петербургским. Наконец, пришли домой, и Федя отправился гулять один, но гулял очень недолго, видно, одному гулять-то очень скучно <...>

И, конечно, в воспоминаниях совершенно исчезла непосредственность записей дневника, так откровенно передающих и смутные, тяжелые чувства, которые вызвал у Анны Григорьевны Достоевский при первом знакомстве, и процесс их постепенного преодоления.

\* \* \*

Стенографический дневник за август — декабрь 1867 г. занимает небольшую записную книжку в коричневом коленкоровом переплете. На титульном листе надпись «Женева», повторенная дважды: стенографически и обычным письмом<sup>36</sup>. По современной фолиации в книжке 123 листа, но их было больше: между лл. 69 и 70 вырезано несколько листов. Текст на л. 69 густо зачеркнут теми же черными чернилами, какими написана часть расшифровки дневника и зачеркнуты отдельные места в письмах Достоевского (восстановить этот текст фотографическими методами пока не удалось).

Записи в дневнике сделаны карандашом (вероятно, из-за отсутствия второй чернильницы, — о чем сама А. Г. Достоевская пишет, собираясь ее купить, но, так и не купив, пожалев на нее денег). Даты, под которыми стоят записи, — скорее всего даты описываемых в дневнике дней: А. Г. Достоевская записывала часто гораздо позже, и за несколько дней сразу. Это улавливается в самих записях, где рядом с каким-то фактом сразу фиксируются его последствия (рассказано о покупке шляпы Достоевскому и сразу же о том, как он реагировал на новую шляпу в течение нескольких дней после ее покупки; высказаны предположения о содержании еще не полученного письма Э. Ф. Достоевской и сразу сообщается о том, что они подтвердились).

Дневниковые записи кончаются на л. 120 об., далее помещены: запись расходов, басня «Дым и Комок» с датой «12 июля 68, Vevey», «Абракадабра» (в более полной редакции, чем текст, помещенный в дневнике) и записи других стихов и шуток Достоевского, сделанные не ранее 1869 г. (это тоже подтверждает предположение, что публикуемая тетрадь — последняя, раз именно ею пользовались через год).

Расшифровка этой книжки дневника, сделанная Ц. М. Пошеманской (машинопись с ее подписью и правкой), также хранится в фонде Достоевского в Библиотеке СССР имени В. И. Ленина<sup>37</sup>.

Как уже было сказано, текст записной книжки воспроизводится неполностью. Сокращения коснулись преимущественно записей трех родов: впечатлений А. Г. Достоевской от осмотра Женева и окрестностей во время ее одиноких прогулок; хождений ее по магазинам и к акушеркам в связи с беременностью; воспоминаний о своей семье, жизни до замужества, знакомых, вечерах в доме ее родителей и родственников. Сокращения отмечены знаком <...>.

Все места текста, где отдельные слова и группы слов остались не расшифрованными (отчасти вследствие того, что ряд страниц книжки в нижней своей части залит клеем, удалить который пока не удалось, не повредив текст), отмечены звездочкой. Предложенные конъектуры заключены в угловые скобки с вопросительным знаком. Слова и части слов, расшифрованные предположительно, заключены в угловые скобки и выделены разрядкой. Окончания слов отмечены подобным образом лишь в случаях, когда возможны различные варианты чтения.

Фамилии «Огарев» и «Герцен», последовательно обозначенные в дневнике начальными буквами, раскрыты без оговорок, как и прочие сокращенные имена и названия.

#### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> С. В. Белов, В. А. Туниматов. А. Г. Достоевская и ее воспоминания. — В кн.: А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 15.

<sup>2</sup> Они в значительной мере указаны в примечаниях к названному изданию.

<sup>3</sup> ЛБ, ф. 93, III, 1.1.

<sup>4</sup> А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 411—413.

<sup>5</sup> «Дневник А. Г. Достоевской». М., 1923, стр. XI.

- <sup>6</sup> А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 198.
- <sup>7</sup> Там же, стр. 35.
- <sup>8</sup> ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 148, 149.
- <sup>9</sup> «Дневник А. Г. Достоевской». М., 1923.
- <sup>10</sup> А. Г. Достоевская еще раз позже назвала в печати «год», как срок ведения своего заграничного дневника (А. А. Измайлов. У А. Г. Достоевской (к 35-летию со дня кончины Ф. М. Достоевского). — «Биржевые ведомости», 1916, 28 января, № 15350). В другом месте она писала, что вела дневник «около полутора года». Этот срок маловероятен: вряд ли она могла систематически продолжать свой дневник после рождения ребенка, помогая при этом Достоевскому в его спешной работе над романом.
- <sup>11</sup> «Дневник А. Г. Достоевской», стр. XII.
- <sup>12</sup> Письмо к С. А. Ивановой 11 октября/29 сентября 1867 г. — «Письма», II, стр. 43.
- <sup>13</sup> Письмо к А. Н. Майкову 28/16 августа 1867 г. — «Письма», II, стр. 27.
- <sup>14</sup> ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 148, л. 1; воспроизведено в издании Дневника, стр. 5.
- <sup>15</sup> Там же, ед. хр. 149, л. 1; воспроизведено в издании Дневника, стр. 141.
- <sup>16</sup> Там же, ед. хр. 224.
- <sup>17</sup> Теперь находится в ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 148.
- <sup>18</sup> Т. е. в несоразмерном ящике в Московском Историческом музее.
- <sup>19</sup> А. А. Измайлов. Указ. ст.
- <sup>20</sup> «Дневник А. Г. Достоевской», стр. 192—193.
- <sup>21</sup> Там же, стр. 76, 127—128.
- <sup>22</sup> «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2. М. — Л., 1925, стр. 250.
- <sup>23</sup> ЛБ, ф. 93, III, 5.15 а и б.
- <sup>24</sup> «Описание рукописей Ф. М. Достоевского». Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957.
- <sup>25</sup> Теперь эта нумерация изменена в соответствии с последовательностью текста.
- <sup>26</sup> Главы из «Дневника писателя», биография Достоевского, личные и деловые письма А. Г. Достоевской. — «Литературный архив», 1961, № 6.
- <sup>27</sup> О работе Ц. М. Пошеманской над расшифровкой стенографических текстов А. Г. Достоевской см. также: «Подвиг стенографистки». — «Известия», 1959, 3 июня; «Для меня самая интересная!» — газ. «Смена», 1970, 27 декабря; послесловие Б. С. Мейлаха к публикации расшифрованной ею же статьи Д. И. Менделеева «Какая же Академия нужна в России». — «Новый мир», 1966, № 12, стр. 197—198.
- <sup>28</sup> А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 164—171.
- <sup>29</sup> Письмо 21/9 октября 1867 г. — «Ф. М. Достоевский. Письма», II, стр. 46.
- <sup>30</sup> Л. П. Гроссман и Вячеслав Полонский. Спор о Бакунине и Достоевском. Л., 1926; Н. Отверженный. Миф о Бакунине. М., 1925; Л. П. Гроссман. Собр. соч., т. II, вып. 2. М., 1928 (ст. «Бакунин и Достоевский»).
- <sup>31</sup> А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 168.
- <sup>32</sup> «Меня умиляет до слез трогательная доброта и снисходительность этого человека к такому неустановившемуся существу, каким была вошедшая в его дом 20-летняя девушка...» (А. А. Измайлов. Указ. ст.), «Я часто недоумевала — как могла создаться легенда об его будто бы угрюмом, мрачном характере...» (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 14).
- <sup>33</sup> А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 60.
- <sup>34</sup> Там же.
- <sup>35</sup> Там же, стр. 169.
- <sup>36</sup> ЛБ, ф. 93, III, 5.15 а.
- <sup>37</sup> Там же, 5.15 в, г.

## ЖЕНЕВСКИЙ ДНЕВНИК А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Четверг 5 <сентября> / 24 <августа> 1867. Сегодня я проснулась довольно рано и принялась читать роман Бальзака «История бедных родственников»<sup>1</sup>, который мы вчера взяли в нашей библиотеке. К стыду моему, я должна признаться, что я не читала ни одного романа Бальзака, да и вообще очень мало знакома с французской литературой. Вот теперь-то я и думаю на свободе, когда у меня нет никаких дел, приняться за чтение лучших французских писателей, особенно под руководством Феде, который, конечно, <с у м е т> выбрать мне самое лучшее, и именно то, что стоит читать, чтобы не терять времени на чтение совершенно пустых вещей.

Часу в 9-м я отправилась к нашим хозяйкам, чтобы поторопить их насчет кофею\*. Они мне начали говорить о близком приезде Гарибальди<sup>2</sup> и о том, что все государства решительно завидуют их свободной стране и непременно желают одолеть Швейцарию, потому что здесь уж так хорошо, что всех их берет зависть. Вообще наши старушки уверены, что лучше их Швейцарии ничего быть не может, и что забота всех только в том и состоит, чтобы взять себе прекрасную гористую страну.

Потом я села писать к маме письмо, в котором уговаривала ее приехать к нам; не знаю, возможно ли это будет, потому что у нас слишком мало средств. Такие расходы, хотя, впрочем, содержание <к в а р т и р ы> будет, я думаю, гораздо дороже, чем если бы мама приехала к нам.

Федя куда-то отправился, чтобы выкупить кольца и платье. Когда он уходил, я ему сказала, шутя: «Иди и не приходи больше домой». На это мне Федя ответил, что, может быть, мои слова оправдаются, что он упадет на улице и умрет. Я, разумеется, была уверена, что это не случится, но мне все-таки было досадно, зачем я это сказала. Право, я сделалась ужасно какая суеверная, начинаю верить предчувствиям, которые, разумеется, всегда меня обманывают.

Окончив письмо, я отправилась на почту и заодно хотела купить себе эту книжку для записывания. Вышла на улицу и увидела, что сегодня все магазины закрыты, хотя сегодня четверг. Тут я вспомнила, что хозяйка наша говорила, что сегодня кантональный пост <...> Я зашла в один открытый магазин, купила себе эту книжку за один франк 25 с <антимов>\*\*<sup>3</sup>, что вовсе не дорого. Пришла домой, а Феде все еще нет. Мне припомнились его слова, я даже начала бояться, чтобы они как-нибудь не сбылись. Я села у окна и стала читать роман, но решительно ничего не понимала, потому что строчку прочитаю, а там погляжу в окно, не идет ли Федя, так что все выскользнуло у меня из памяти. Наконец он пришел, и, как я и думала, оказалось, что он был в кофейной, читал русские газеты<sup>4</sup>. Потом он сел писать о Б <елинском?><sup>4</sup>, а я читала, но у меня сегодня невыносимо болела голова, т. е. только одна часть головы, лоб, висок и глаз, а также уже несколько дней болело горло. Федя мне, кажется, не верил, говорил, что у меня горло болит чрезвычайно давно, но потом ему вздумалось посмотреть и оказалось, что у меня в горле рана. Тут он начал бояться и даже предложил мне послать за доктором. Ну это уж положительно глупо, потому что доктор бы ничего не сделал, ничем не помог, а только бы взял деньги.

Пошли мы обедать, и сегодня нас угощали какими-то изысканными кушаньями, так что я даже боялась, чтобы нам не уйти голодными, но, впрочем, этого не случилось. Потом пошли домой, потому что ходить по пустому городу решительно скучно, все одно и то же, так что дома гораздо веселее. Федя лег спать, да и я раздумывала сделать то же самое, как приш-

\* Может быть: кофе; далее везде; принята форма кофею как соответствующая словупотреблению того времени.

\*\* В тексте сантими обозначены буквой «S», далее везде «с».

ла наша хозяйка и сказала, что у нее сидит m-лле Мари, дочь той ка-  
 < с т е л я > нши, которая меня хочет видеть. В прошлый раз я уже отка-  
 залась, теперь мне не хотелось сделать ту же невежливость, тем более, что  
 стоило выйти и поговорить с нею немного. Я пришла на кухню и разго-  
 ворилась с нею. Она оказалась очень милой девушкой, лет 16, необычай-  
 но здоровой, толстой и страшно веселой, кажется, хохотушкой. Она мне  
 сказала, что ей ужасно как скучно в ее пансионе, потому что там нет рус-  
 ских, кроме одной из Москвы < а для учителей? >, русский язык как дикий,  
 говорят, что русские совсем без образования \*. Я, разумеется, с ними спо-  
 рю, так что не проходит дня, в который мы бы не поругались, говорила  
 она; < учительница? > говорила, что действительно в русских нет никаких  
 достоинств, что если она приехала в Женеву, то должна уж забыть все рус-  
 ские привычки. В русскую церковь ее не пускают, не только одну, в пан-  
 сионе, но даже и дома, т. е. ее мать, от пансиона ее водят во французскую  
 церковь слушать проповеди. Ни в пансионе, ни дома ей не позволяют гово-  
 рить по-русски, а велят постоянно говорить по-французски, так что она  
 говорит, что она ждет не дождется, когда через 10 месяцев она поедет  
 в Россию, т. е. после окончания курса. Она < т о л к у е т >, что мало того,  
 что в пансионе оскорбляют ее родину и ее церковь, но даже бранят ее мать,  
 называют лгуньей и воровкой, и что она после таких оскорблений ни за  
 что не хочет оставаться здесь, а будет просить взять ее домой. Как оказы-  
 вается, женевский пансион образование < дает? > не отличное, ходят здесь  
 2 учителя да классная дама, а платят за нее, как она говорит, 1200 франков,  
 т. е. на это можно было бы достать хорошую гувернантку. Русский язык,  
 разумеется, совершенно сделали незаконным, так что она боится забыть  
 читать и писать. Мы долго толковали с нею, и она уверена, что нет на све-  
 те лучше страны, как Россия, и лучшего языка, как русский, так ей на-  
 доела Швейцария. Потом, когда она собиралась уходить, я пошла разбу-  
 дить Федю, рассказала ему наш разговор с этой девочкой. Мы пошли с Фе-  
 дей гулять, но когда проходили мимо кухни, то оказалось, что она еще  
 не ушла, а потому Федя и присил меня ей представить. Я, разумеется,  
 это сделала, и Федя начал с нею разговаривать. Тут она еще более вооду-  
 шевилась и начала рассказывать, как ее возмущают дурные толки о Рос-  
 сии, как ей это больно, а что сделать она прямо-таки ничего не может.  
 Меня несколько удивило то, что Федя начал ей советовать бросить пан-  
 сион, как будто она это может сделать, ведь ей только всего 16 лет < ... >  
 Девочка эта очень мила, мне она очень понравилась, такая горячая  
 < ш о л ь к а > вроде Алины < М и л ю к о в о й ><sup>5</sup>, но не такая восторжен-  
 ная. Федя так даже думает, что она очень глупа и что из нее хорошего не  
 будет, потому что ее только раздражают этими противоречиями и постоян-  
 ными ссорами, а влияния хорошего на нее никто не имеет. Она уверена,  
 что она никогда не забудет этих тупоголовых швейцарцев, и что постоянно  
 их будет ненавидеть. Федя сказал, что он рад, что это воспитание сделает  
 хотя одну из русских девушек хорошей русской, т. е. которые будут по-  
 нимать и дорожить Россией. Когда мы разговаривали и бранили швейцар-  
 цев, наши хозяйки помирали со смеху и, вероятно, не подозревали, что  
 мы их ругаем напрапалу. Потом мы вышли вместе и проводили ее за мост.  
 Она, прощаясь, объявила нам, что она непременно поругается сегодня, что  
 она не уснет, если не поссорится, не выругает этих швейцарцев. Прощаясь,  
 она обещала притти к нам, сказала, что очень рада, что может хотя с кем-  
 нибудь поговорить по-русски, а что ей так хочется говорить на своем род-  
 ном языке, а не с кем. Вообще она мне показалась очень милой девушкой,  
 я очень рада за нее, что она так не любит немцев и швейцарцев и так лю-  
 бит Россию.

Потом мы отправились гулять, прошли мимо почты и затем я нашла  
 носовой платок, но после рассмотрели, то оказалось, что он принадлежит



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ

Фотография Ш. Ришарда, Женева, 1868

На обороте надпись А. Г. Достоевской: «В начале 1868 г., незадолго до рождения дочери Софии»  
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

какой-то Эльзе Flower. Федя меня нарочно упрекал, зачем, дескать, не отдала <назад>. Потом мы перешли через мост большой и пошли назад через какую-то улицу, где много кофейных и где встретили ужасно много пьяных. Однако ведь этот город Женева славится свободой, а оказывается, что свобода-то своя вот в этом только и состоит, что люди все пьяные, горланят песни <sup>6</sup>.

6 <сентября> — 25 <августа>. Утром Федя сходил и наконец выкупил свое пальто и наши кольца, вчера он не мог этого сделать, потому что все было заперто. Он сегодня удивительно какой-то скучный, тосковал, говорил, что у него голова не на месте и очень боится, чтобы не случилось другого припадка. Сегодня толковал, что не миновать сумасшедшего дома, и просил, если бы с ним случилось это несчастье, то не оставить его за границей, а перевезти в Россию <sup>7</sup>. Я как могла утешала его, но я убеж-

дена, что это несчастье было бы слишком тяжело и что бог сохранит нас от него.

Потом Федя сел писать, а я, чтобы не мешать ему, пошла куда-нибудь бродить, сначала зашла за книгой, а потом отправилась к старому мосту и вышла куда-то за город в рю Delices за дорогу в Chatelaine<sup>8</sup>, шла я довольно долго, все между заборами и садами, все дома закрыты ставнями, скука страшная, так что я, не зная, далеко ли это Шателен, не решилась идти дальше, а воротилась домой и где-то под деревом на скамье сидела и читала книгу. Пришла домой еще очень рано. Постаралась не делать шума и не мешать Феде писать. Потом мы отправились с ним обедать туда, куда обыкновенно ходим, отлично пообедали, теперь у нас в Женеве есть только одно единственное утешение, это обед, который вознаграждает нас за наше бездействие, да вообще мы здесь сделались ужасно какими прожорами. Утром я жду не дождусь кофею, потом ждем обеда, а после обеда только и дела посматриваем на часы, нет ли 9 часов, чтобы выпить чаю. Вот такая жизнь изо дня в день. После обеда я пошла домой, а Федя пошел читать русские газеты в отель de la Couronne<sup>9</sup>. Я же воспользовалась случаем и пошла на здешний аукцион, посмотреть, если что попадется хорошее и дешевое, то купить <...> Потом я пришла домой, Федя долго еще не приходил; потом мы немного писали<sup>10</sup> и отправились погулять, сначала переменить книги, а потом по берегу, и дошли очень далеко, я думаю, даже больше полторы версты. На дороге нам пришлось поссориться, да ведь из-за каких-то глупостей. Я сказала Феде, что одна немка, думая мне польстить, сказала, что я похожа на немку; я, разумеется, отвечала, что я русская, но ничего не прибавила. Тогда Федя начал говорить, зачем я не сказала, что я на немку походить не желаю; мне вовсе ее не хотелось оскорбить, пусть себе она ценит немецкое, так зачем же навязывать <свои мнения?> и уверять, что немецкое все дрянь, да мне, по правде, решительно все равно. Вот на это-то Федя и напустился вдруг, назвал меня деревом, что для меня разницы не существует, а что я дерево. Я, разумеется, не желала с ним ссориться, ничего ему не отвечала, и так мы гуляли, не говоря ни слова. Но потом уж дома помирились. Право, какой-то он нынче стал, все бранится; я думаю, это от того, что ему здесь скучно, ну вот он и развлекается тем, что бранит меня.

Сегодня и вчера по всем углам висели прокламации, извещавшие о приезде Гарибальди, приглашавшие сделать ему отличный прием<sup>11</sup>. Потом извещалось о собрании конгресса мира в будущий понедельник и о ходе этого конгресса<sup>12</sup>. Народа у этих афиш очень много, все \* я думаю, восхищаются своей свободной страной.

<Суббота> 7 <сентября> /26 <августа>. Сегодня я встала довольно рано. Дочитала одну часть романа, который был взят вчера в библиотеке. День сегодня прекрасный, так что право будет жаль, если я просижу весь день дома. Я начала рассматривать путеводитель по Женеве и ее окрестностям и решилась сходить посмотреть столь хваленое место. Так как мне делать дома нечего, да к тому же я боюсь, что мое присутствие может помешать Феде писать, я и решилась отправиться в Pregny на берегу Женевского озера. Я спросила у нашей хозяйки, она указала мне как идти. Федя согласился на мою прогулку, но убеждал, чтобы я поскорей пришла домой, иначе он будет беспокоиться. Я отправилась в половине 11-го. Очень скоро вышла за город <...> Потом я пришла в деревушку Pregny, где жила Жозефина после своего развода с Наполеоном<sup>13</sup>. Деревушка эта вся застроена дачами. Между ними \* улицы находится прекрасный замок барона Ротшильда<sup>14</sup>. Оказывается, что этот прекрасный замок не что иное, как манеж. Право, я так подумала, ведь вот сумеют же так выстроить без вкуса, а вся постройка, я думаю, денег много стоила. Отсюда я хотела сойти опять к озеру, но мне сказали, что есть еще сход к озеру в деревушке

Chambésy, куда я и отправилась. Это, кажется, после станций Женевской железной дороги. Я спустилась вниз и вышла опять к озеру. Господи, что тут я увидела, это такое чудо, что просто и описать трудно. Озеро прекрасное, тихое, без волн, одно синее, прекрасного, чудного синего цвета, кругом горы, на горах деревушки, дачи, озеро большое, среди него 2 какие-то судна с парусами, которые придают вид двукрылых. Все это было удивительно как хорошо, как-то ярко, ясно и красиво, так что просто глаза не могли оторваться. Я подошла к самому берегу и села на камень, а вода прилиwała опять мне к ногам, так что иногда заливала башмаки. Потом я стала бросать камни и смотрела, как они производили брызги. Потом увидела на земле 2 камня, которые были поразительно хороши. Я их взяла с собой, но потом, когда они обсохли, то оказались довольно обыкновенными камнями. Федя даже расхохотался, когда я ему сказала, что принесла подарок, и сказал, что, вероятно, принесла ему камни. Вода прозрачная, чистая, прекрасная и среди того прекрасного синего цвета были волны почти совершенно розовые (...)

Я пришла, так и повалилась, так я сильно устала. Федя сидел, писал и потому ничего не сказал при моем приходе, и я могла отдохнуть сколько было угодно. Так как он занимался, то ему показалось, что я проходила не больше часа, и он сказал, что мы непременно с ним отправимся для того, чтобы посмотреть на озеро, туда, куда я ходила. Когда я немного отдохнула, мы отправились обедать, переменили книги, отобедали и пришли домой. Федя принялся читать и он так скоро прочел, что решил, что ему на воскресенье решительно нечего будет читать, и потому мы решили сходить еще вечером и попросить у нее еще 2 книги на воскресенье. Весь мост Montblanc (я ужасно ошиблась, я считала мост, соединяющийся с островком Жан-Жака Руссо, мостом для машины, а оказалось, что это мост Берг (Bergues), а длинный другой мост, через который я не люблю проходить, оказывается мостом Монблан<sup>15</sup>. Это мне сказала старуха наша), весь этот мост украшен плакатами, потому что сначала сегодня ожидали Гарибальди, но по каким-то обстоятельствам он приедет не сегодня, а завтра в 5 часов. По сторонам то и дело появляются новые афиши, извещающие о приезде Гарибальди, говорящие о его заслугах и возвещающие также, что назначено открытие конгресса мира на 9 сентября, т. е. на понедельник. Он будет продолжаться 4 дня, а в четверг будет прогулка по озеру и затем обед на \* частный счет Виктора Гюго, мне бы очень хотелось его видеть<sup>16</sup>.

Потом мы отправились за покупками, сначала зашли и взяли эти две книжки, потом купили фрукты (по 15 с. <за фунт?>), кофе и решили купить и чаю. Нагрузившись, сколько было возможно, мы отправились за чаем в новооткрытый магазин, где продают также и шоколад. Мы спросили черного чаю; дама, которая здесь торгует, сейчас позвала к нам самого хозяина и тот принялся раскрывать новый ящик. Вероятно, чай здесь решительно не идет, потому что у него все цибрики были закупорены и, вероятно, мы у него одни покупатели. Он так много трудился над открыванием ящика и так управлялся с ножиком, что я просто боялась, как бы он не изрезал себе пальцев. Право, нам сделалось стыдно, что мы беспокоим человека из-за полфунта чаю, хотя они и этому были очень рады \* когда мы \*; право, в Петербурге очень стыдно купить половину фунта в чайном магазине, а здесь чай пьется как лекарство, а потому они были просто удивлены и даже обрадованы, когда мы вдруг взяли у них половину чаю (...). Мне хотелось шоколаду, и Федя купил мне четверть фунта по 1 франку 50 с. за фунт, здесь шоколад довольно дешев, т. е. сравнительно с петербургским. Наконец, пришли домой, и Федя отправился гулять один, но гулял очень недолго, видно, одному гулять-то очень скучно (...)

*Воскресенье 8 <сентября>/27 <августа>*. День сегодня прекрасный, не слишком жаркий, я проснулась очень рано и читала книгу в постели. Сегодня день приезда Гарибальди и, следовательно, президента<sup>17</sup>; он начался тем, что палили из пушек, потом начался барабанный бой и по городу прошлась пожарная команда, вероятно, из граждан. Все они шли очень важно, с полным достоинством, и несколько человек тоже очень важн<ых> тащили за собой 2 машины или лестницу; они ходят по городу в полном параде. Решительно не понимаю эти их ленточки с золотыми эполетами, разве только для парада, а мне кажется, что для дела они решительно не годятся и, вероятно, они тоже <такими?> важными шагами идут и на пожар, и пока идут на место, там успеет выгореть вся улица. Эти процессии пожарных я видела уже раза 2 и решительно не понимаю, что у них за польза пройтись важно по всему городу при звуке барабана и перебудить всех добрых обитателей свободной Женевы.

Обедать пошли несколько раньше и думали найти библиотеку открытой, чтобы переменить книги, потому что Федя успел уже все прочитать, но библиотека заперта. Пошли искать другую, но решили сначала пообедать, а потом вместо прогулки поискать, нет ли где-нибудь другой библиотеки. Все улицы и дома украшены разными флагами, из которых большею частью попадаются флаги из других цветов, красного и желтого и красного и белого. Но есть флаги и иных цветов. Отправились на поиски и вспомнили, что когда искали квартиру, то по дороге, тоже в воскресенье, попалась библиотека, где мы хотели записаться, и пошли ее искать, прошли мы, кажется, до самого Каружа<sup>18</sup>, но так как все магазины были заперты, то мы нашей библиотеки не нашли, вероятно, и она заперта, а так как вывески нет, то найти невозможно.

Народ попадался толпами, все спешили смотреть на разные депутации, которые отправляются встречать Гарибальди на железную дорогу. Собраться назначено было ровно в 5 часов. Когда мы проходили по Коратери<sup>19</sup>, то нам навстречу попало несколько депутатий со знаменами в руках, очень довольно тупых лиц. Ведь охота же людям тешить себя всеми этими процессиями. Я думаю, куда как приятно покрасоваться где-нибудь в процессии, неся какой-нибудь значок.

Я пошла домой, а Федя читать газеты. Сговорились, что он скоро придет. На лестнице\* встретились мне старушки, которые, одевшись очень парадно, в шляпах, шли тоже смотреть, но шли по обыкновению старуш<ечье>му очень рано, т. е. за полтора часа до начала церемонии. Они мне дали ключ от двери, потому что дома оставалась только их одна знакомая, ну а мне было совестно беспокоить ее, уходя и выходя. Я сидела дома все время, пока на мосту Монблан не показалась депутация. Тогда я тоже пошла и вышла на улицу Монблан, но так как мне не хотелось толкаться, то я тоже прошла довольно далеко, вдруг оказалось, они повернули куда-то в боковую улицу, так что мне не пришлось их увидеть, ну, да, ведь очень мало ви<де>ть. Я стала прогуливаться по улице и ждать. Ждать пришлось довольно долго. Жара страшная, пить хотелось тоже ужасно. Я зашла в какой-то магазин и мне предложили выпить сиропу с водой, заплатила за нее 3 су.

Улица Монблан очень широкая, но она была решительно наполнена народом до невозможности, особенно много было ребятишек и, как я заметила, они-то больше всех и суетились, когда началась процессия. Окна здешних 5- и 6-этажных домов были заняты дамами в нарядах и мужчинами. Мне было ужасно скучно ходить по улице одной, и я, право, жалела, что не было со мной Феде. Наконец раздалась пушка, и я увидела, как подъехал поезд. Публику особенно занимало то, когда локомотив начинал свистеть. Тут начался ужасный смех и разные глупые шутки. Однако Гарибальди довольно долго после приезда поезда не по-

казывался, вероятно депутации говорили ему речи, ну, а он отвечал, следовательно, время-то и шло, а мы тут стой и жди его. Наконец проехала карета с багажом Гарибальди. Тут решительно нет полиции, а потому, несколько минут до приезда Гарибальди, по этой улице, занятой народом, проехали, кажется, возов 5 огромных, может быть, у них не было другой дороги или они не могли подождать. Наконец показались знамена, но они долго не двигались. Наконец едва могли тронуться, так много занимал народ, который стоял перед ними, не пропуская. Наконец шествие кое-как пошло, и за депутациями ехал в открытой коляске в 4 лошади и с жокеем впереди Гарибальди. Издали, когда я увидела его лоб, мне показалось, что это Федя, так у него был похож на лоб Гарибальди. Наконец показался и он, одетый в красный камзол и в полосатом плаще, с серой шляпой, которою он махал во все стороны. Какое у него доброе, прекрасное лицо, лет ему 55, мне кажется, он с лысиной \*. Но что за доброе, милое, простое лицо, должно быть, он удивительно добрый и умный человек. При его проезде все начали махать платками. Право, даже было трогательно видеть, как все эти 5—6-е этажи, полные дам, колыхались, он был, видимо, тронут этим и очень раскланивался шляпой во все стороны. С ним сидел какой-то господин, который тоже раскланивался, должно быть, это его сын. Впрочем, не знаю. Все махали платками, а он раскланивался шляпой. Когда народ несколько отхлынул, я отправилась домой и пришла гораздо раньше Феде и всех наших хозяек, которые, как потом говорили, отправились слушать речь, которую говорил Гарибальди с балкона дома президента <sup>20</sup>. Когда воротился Федя, я начала бранить, зачем он за мной не зашел, но он меня уверял, что если бы я даже и пошла, то ничего не видела, то и лучше, что сидела дома, вот я и видела, действительно, я его видела очень близко, так что отлично могла рассмотреть это благородное лицо.

Потом вечером мы ходили искать, нет ли где открытой библиотеки, потому что у Феде не было книг, но эта библиотека, которую мы видели в улице Монблан, была уже заперта, так без книг и воротились домой. Весь этот вечер по городу ходила музыка и эти отдельные части этих депутатий расходились по улицам и кричали ура. Я думаю, Гарибальди не дали уснуть, все, вероятно, стояли под его окнами и пели какие-нибудь гимны или играли. Весь город изукрашен флагами, что довольно красиво.

*Понедельник 9 <сентября>/28 <августа>*. Сегодня я вздумала написать письмо к Ольхину <sup>21</sup>, теперь на свободе я могу заняться письмами и думаю написать всем, которым еще не писала, а то решительно даже совестно, что так ленюсь, никому не пишу, ну, а Ольхину-то и подавно нужно было уже давно написать, потому что это самый благородный человек, он так много мне помогал, когда я училась стенографии, и жена, и все его семейство было ко мне так любезно, что, право, забывать их вовсе не следует, да и бог знает, я даже вполне уверена, что мне придется непременно заниматься стенографией, потому что <это?> только и есть мой хлеб, а Ольхин мне может достать работу, словом, следует его держаться. Вот я сегодня и написала ему письмо и просила у его жены ответ, если возможно скорей, и просила ее сообщить мне обо всем, что там есть нового.

Федя сегодня хотя писал, но у него голова что-то болит, а потому мы решили сегодня пораньше идти, чтобы до обеда прогуляться по городу. Зашли мы в библиотеку и хотели взять 9-й том «Истории бедных родственников», именно «Cousin Pons», но не было времени поискать этой девушке, которая лицом страшно похожа на Ивана Александровича <sup>22</sup>. Она 9-й том не нашла, и нам пришлось записаться именно для этого тома в другой библиотеке. Мы, пообедав, пошли искать библиотеку

и по дороге встретили Гарибальди, который ехал вместе с президентом в коляске из конгресса. За ним и перед ним бежала толпа мальчишек, а он предобродушно раскланивался. Мы были в нескольких библиотеках, но одна была заперта, а в других не было именно этих книг, которые мы спрашивали. Я хотела идти на почту, чтобы принести письма, и так как у меня денег не было, то я и спросила у Феде, тогда он сказал, что ведь у меня есть, и что теперь, если я возьму, то опять скажу, что отдала хозяйкам за 6 дней. Разумеется, это он шутил, но мне были досадны даже и такие шутки, потому что должен же поверить, что я не беру его денег на ненужное, а трачу именно только на то, что нам необходимо. Я, не отвечая ему, отправилась на почту, но там было так много народу, что решительно добиться было нельзя. Я стояла уже несколько минут, как вдруг ко мне подошел Федя, я даже и не узнала его, он отвечал, что и ему необходимо за письмами, хотя здесь он еще ни от кого не получал. Федя стоял в стороне, а я подавала записку. Я увидела, что он отложил какое-то письмо в сторону и думаю, что это ко мне, но, не желая получить при Феде, я, не дождавшись, пока он выдал, сказала Феде, что письма нет, и мы отправились домой. По дороге взяли 9-й том в другой библиотеке, но как назло оказалось, именно отсюда-то роман делается таким скучным, что читать его нет никакой возможности. Потом Федя пошел читать газеты, а я отправилась домой, поскорее написала записку с моим именем и пошла опять на почту. Здесь мне встретился тот самый почтмейстер, который отыскал мое письмо, он спросил, отчего я ушла, и дал мне письмо. Оно было от мамы, в нем мама поздравила меня с полугодием<sup>23</sup> и говорила, что в этот день была в церкви, говорила, что желала бы так и полететь к нам, посылала портрет и извещала еще о том, что Паше<sup>24</sup> представляется какое-то место, а он не хочет его брать, а говорит, что Федей обещано его содержать до 21 года, а там уж другое дело, что будто бы Федя будет сердиться, когда узнает, что он принял место. Когда я прочитала письмо Феде, то он рассердился на Пашу и начал говорить, что вовсе не обещано его содержать; я желала этим воспользоваться и начала уверять, что, напротив, Паша совершенно прав, что он должен его содержать, что это его обязанность. Федя ужасно как рассердился, говорил, что у него у самого нечем жить, что если он содержит, то только как благодетель, а вовсе не из обязанности, начал бранить Пашу, я же все его защищала, и когда Федя назвал его подлецом, и негодяем, и дураком, говорила, что Федя решительно несправедлив, что Паша умный мальчик, а что, вероятно, он на что-нибудь да надеется, если не хочет служить, а что это мама такой смешной человек, который хлопочет, чтобы он непременно служил, что это нелепо, а что я напишу, чтобы она вовсе оставила эти хлопоты о Паше. Потом мы ходили несколько гулять, и Федя сделался ужасно грустный, он говорил, что его ужас как беспокоит участь Паши, что дела наши так плохи, что все это его мучает, убивает. Бедный Федя, как мне его жаль, ведь навязалась же эта проклятая обуза ему на шею, мало ему своей, так нужно еще кормить разных чужих щенят<sup>25</sup>.

*Вторник 10<сентября>/29 <августа>*. Сегодня в 10 <минут> 6-го с Федей сделался припадок, который был, по-моему, очень сильный, сильнее прежних, т. е. гораздо сильнее были судороги в лице, так что голова качалась, потом он довольно долго не приходил в себя, а потом, если спал, то просыпался через каждые 5 минут. Это припадок ровно через неделю, это уж слишком часто; мне кажется, не виновата ли тут погода, которая теперь переменилась, т. е. сегодня поутру был дождь; бедный Федя, как он всегда бледен, расстроен после припадка, но я вот что заметила, он вовсе не такой мрачный после припадка, не такой раздражительный, как был прежде дома, когда я не была еще его женой и как было в первое

*Ане от меня  
в память о том, как мы  
вместе сочиняли и до чего  
досочинились.*

## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ

# Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.

Новое, дополненное издание



Издание в собственности

О. СТЕЛЛОВСКОГО,

Пасташкина Его Императорского Высочества. Комиссионера Придворной Певческой Капеллы и Директора Императорских театров, и владельца известного торгового дома И. Пана, существующего с 1786 года.

Во Большой Морской, за двором Лауберга, № 27, в С. Петербурге.

---

САММТ ПЕТЕРБУРГЪ.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: НОВОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ. ИЗД. И СОБСТВЕННОСТЬ Ф. СТЕЛЛОВСКОГО (СПб., 1866) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПИСАТЕЛЯ А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ:

«Ане от меня в память о том, как мы вместе сочиняли и до чего досочинились»

Титульный лист. Книга не сохранилась

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

время нашего брака. Сегодня он хотел работать, но писал очень немного, вот опять 4 дня пропало для работы, потому что теперь у него сильное бывает умопомрачение после припадка, дня 4 или 5 он решительно не может прийти в себя; бедный Федя, как мне его бывает жалко, просто ужас, что бы я только не дала, чтобы с ним не было припадка, господи, кажется все бы отдала, лишь бы этого не было.

Сегодня пошли раньше обедать, но сегодня нам прислуживал не наш обыкновенный слуга, который куда-то ушел, а мальчик, лет, казалось, шести, такого он был небольшого роста, белокурый, с ужасно озабоченной физиономией, я его это спросила, он мне отвечал: «Oui, monsieur», вероятно, принимая меня за мужчину. Решительно меня никто дамой считать не хочет, все решительно называют мадемуазель, а этот так вздумал даже назвать мсье. Так и в продолжение всего обеда, когда он подавал какое-нибудь кушанье, то он непременно, обращаясь ко мне, говорил мне: «Voici \*, мсье». Меня это ужас как смешило. Потом Федя отправился читать газеты, а я пошла домой и здесь читала роман Бальзака «Eugénie Grandet», превосходнейший роман, который мне очень понравился. Вечером мы отправились немного погулять, но очень немного, заходили на почту, писем не получили (...). Сегодня Федя встретил Огарева, и тот спросил, был ли Федя на конгрессе, Федя отвечал, что он ведь не член, тот отвечал, туда пускают за 25 с. Ну, Федя сказал: «Тогда я, конечно, пойду»<sup>26</sup>. Оба эти вечера вчера и сегодня я чувствовала себя не совсем хорошо, мне что-то жгло в груди и я очень стонала, Федя ко мне часто подходил и говорил, что меня очень жалеет (...).

*Среда 30 <августа>/11 <сентября>*. Сегодня 30 число, день моего рождения. Вот думала ли я в прошлом году в этот же день, что через год буду замужем уже 6 с половиной месяцев, что буду беременна, и что буду в это время жить в Женеве, ведь это мне и в голову не могло прийти, и я помню в этот день в октябре 66-го я рано утром отправилась к Сниткиным<sup>27</sup>, чтобы отправить к ним шляпу, которую я взялась было доставить им на дачу, да так и не доставила (...). Я ушла от них часу в 3-м\* на дороге купила у Иванова сладких пирожков и пришла домой грустная. У окна увидела милую мамочку, которая сидела и все ждала меня (...). ведь милая мамочка, она даже не садилась за стол, поджидая меня, я принесла ей обед и тоже пообедала с нею, а также просила сделать кофей, что мамочка исполнила с большой охотой. Бедная голубушка мамочка, думала ли я, что это будет в последний раз, когда мы с нею будем жить, что в другой раз того не будет, а что я через несколько времени выйду замуж. Как бы желала я ее теперь видеть, право, вот тогда только то и ценишь, чего теперь нет, так и я ценю милую мамочку, потому что она от меня очень далеко. Господи, как бы я желала, чтобы исполнилось наше желание и мамочка могла приехать к нам к тому времени, когда мне кончится срок<sup>28</sup>, право, это была бы для меня такая огромная радость, что я больше бы, кажется, ничего и не хотела (...).

Сегодня я встала с больной головой, потому что пере(п и с ы в а)ла уж слишком много, потом я решила прогуляться и хотела сначала ехать в Карруж, но потом отдумала, потому что Федя предложил идти нам послушать на конгресс мира. Но сначала мне захотелось погулять, чтобы несколько освежиться. Наши хозяйки, у которых я спросила о часе, в который начинается заседание, дали мне би(ле)т и потом сказали, что Гарибальди уже уехал сегодня утром; мне пришло на мысль, что, вероятно, они здесь что-нибудь не поладили, что он уехал, не дождавшись окончания конгресса. Я пошла и увидела на всех стенах прокламации, в которых объявлял-

\* В тексте слово Voici написано стенографически.

ся протест против слов, произнесенных Гарибальди, говорилось, что его слова это оскорбление, сильнейшее оскорбление, которое нанесено было им католической церкви и папству, и что этим он оскорбил половину жителей кантона, а поэтому-то они и протестуют против него. Вот тебе и раз, то встретили бог знает с какими радостями, то вдруг протест, что, дескать, убирайся-ка, братец, туда, откуда приехал; как это все смешно, право; с этим конгрессом мира, ничего разумеется, путного не выйдет, а они-то все толкуют <sup>29</sup>. Я пошлялась по городу, потом воротилась за Федей, мы отправились в Palais Electoral \*, большое здание на place Neuve. Здесь мы купили билеты, но заплатили не по 25 с., а по 50. Наконец, вошли в это место \*\*, это огромное серое, вроде конюшни, высокое светлое здание, испещренное гербами кантона. Наверху хоры, посередине стоит большой цветок с <б у к е т а м и> цветов, который решительно загораживал всем вид на ораторов. Тут были отдельные места для дам, где я и села, а Федя сел 3 скамьями сзади меня. Шум был страшный, а потом, когда оратор какой-то взошел на кафедру, народ долго не мог успокоиться. Ораторы говорили очень тихо, так что наполовину нельзя было расслышать, говорили несколько ораторов, но все больше громкие фразы, вроде следующих: «нужна свобода», «для злодейства свобода», «стыдно воевать», вообще все громкие фразы, которые решительно невыполнимы, и на все это были ответом страшные рукоплескания, так что просто зал дрожал от шума. Какой-то оратор прочел 10 пунктов по поводу войны, написанных какой-то немкой, ничего особенно не представляющих, вообще рассуждение о неприемлемости войны. Но все эти 10 пунктов были встречены страшными рукоплесканиями, как будто они говорили о чем-нибудь действительно новым. Потом говорил какой-то видно <и т а л ь я н ц е> почти \*, «прочь папство», на что одни хлопали, а другие не одобряли. Президент, видно, был недоволен этим <и т а л ь я н ц е м> и несколько раз замечал ему, чтобы тот перестал говорить. Наконец, кое-как ему удалось уговорить этого глупого оратора, который так сильно жестикулировал, что он свалил стакан с водой на голову какому-то господину. Вообще речи нельзя было расслышать, потому что шумели страшно и с половины заседания стали уходить вон, да к тому же, когда только оратор начинал оканчивать фразу, его прерывали рукоплесканиями и решительно не давали дослушать, что такое он сказал. Около меня сидела одна дама, очень толстая и жирная, и я решительно не знала, почему она пошла на конгресс. Когда стали очень шуметь, одни рукоплескать, другие унимать оратора, то она обратилась ко мне и спросила, нет ли опасности, я уверила, что все спокойно. Она, вероятно, думала, что нет-нет, да и доберутся и до ее кошелька и, вероятно, уж хотела убежать по-добру, по-здорову. Мы не подождали до конца заседания, да и не для чего было, потому что все было до такой степени глупо, что и сказать досадно. И к чему этот глупый конгресс, делать людям нечего, так они и собираются на разные конгрессы, на которых только и говорится, что громкие фразы, а дела никакого не выйдет. Право, я пожалела о том, что мы потратили силы там <sup>30</sup>.

С конгресса пошли обедать, читали газеты. Что я заметила нынче, нас в нашей гостинице ужасно эксплуатируют, именно, теперь вместо 7 кушаний стали подавать сначала 6, а сегодня уже всего 5, этак когда-нибудь дойдет до того, что нам подадут один только суп и фрукты. Я хотела заметить нашему слуге, но Федя объявил, что положительно сыт, а потом <у> не хочет говорить и просить, говорит, что \* не замечать. Делать было нечего, я не сказала, но вышла от обеда совершенно голодная, так что потом ночью не могла спать от голода и должна была встать, чтобы что-нибудь съесть.

\* Избирательный дворец (франц.).

\*\* Переправлено из святилище.

Я думала, что мой день окончится мирно, как вдруг под вечер случилась у нас ссора, и вот каким образом: мы пошли немного погулять, хотели зайти на почту. Когда мы проходили мимо дома почты, я вспомнила, что я не взяла своей записки с нашими именами, а без записей спрашивать письма было неловко, потому что он не может запомнить имена и тогда требуют визитную карточку. Я сказала Феде, что у меня записей своих нет, тогда он посмотрел в своем кармане, вынул какую-то маленькую бумажку, на которой было что-то написано карандашом. Мне захотелось знать, что это было именно, и я схватила записку; вдруг Федя зарычал, стиснул зубы и ужасно больно схватил меня за руки; мне не хотелось выпустить записки, и мы так ее дергали, что разорвали на половинки, и я свою половину бросила на землю, Федя со своей сделал то же; это нас и поссорило, он начал бранить, зачем я вырвала записку, меня это еще больше рассердило, и я назвала его дураком, потом повернулась и пошла домой. Это я сделала для того, чтобы поднять остатки бума(ж)ки и знать, что такое она содержала. Я ужасно дрянной человек! У меня раздражение, подозрительность и ревность, мне сейчас представилось, что это очень новая записка, а главное, что эта записка одной особы с которой я ни за что на свете не желала бы, чтобы сошелся снова Федя <sup>31</sup>.

Когда Феде не стало видно, я подбежала к тому месту, где была брошена бумажка, подняла 3 или 4 клочка, с которыми и побежала домой, чтобы прочитать. В каком я шла домой волнении, так это и описать трудно. Мне представилось, что эта особа приехала сюда в Женеву, что Федя видел ее, что она не желает со мной видиться, а видятся они тайно, ничего мне не говоря, а разве я могу быть уверена, что Федя мне не изменяет? Чем я в этом могу увериться? Ведь изменил же он этой женщине, так отчего же ему не изменить и мне? Но вот этого-то я решительно не могла к себе допустить. Мне нужно было знать это непременно, я не хотела, чтобы меня обманывали. Они думали, что я ничего не знаю, смеялись бы надо мной, нет, этого никогда не будет, я слишком горда, чтобы позволить над собой смеяться, да смеяться, должно быть, особа \*, которая меня и не стоит, потому-то я дала себе слово всегда наблюдать за ним и никогда не доверяться слишком его словам. Положим, что это должно быть и очень дурно, но что делать, если у меня такой характер, что я не могу быть спокойной, если я так люблю Федею, что ревную его. Да простит меня бог за такой, должно быть, низкий поступок, что я хочу шпионить моего мужа, к которому я по-настоящему не должна была бы иметь недоверия. Но дело в том, что Федя сам не хочет мне много доверить, ведь, например, он не сказал мне ни слова о известном дрезденском письме и вообще сохраняет на этот счет полнейшее молчание <sup>32</sup>. Так разве я могу быть спокойна. Нет, пусть даже это будет нечестно, но я постоянно буду наблюдать, чтобы не быть обманутой. Я просто бежала и плакала дорогой, так я боялась, чтобы мне не узнать чего-нибудь дурного из этой записки. Я прибежала домой раньше Феде, я желала поскорее прочитать разорванную записку, а тут как назло наша хозяйка начала мне <надоедать?> с вопросами, и я ее выпроводила из комнаты. Начала старательно складывать записку, кое-как сложила, прочитала rue Rive, Mr Blanchard dessous \*\*, записочка мне показалась написанной рукой этой особы, совершенно ее почерком, положим, что это может быть и неправда, потому что таких почерков может быть бездна, да вот, например, у Андреевой <sup>33</sup> решительно такой почерк, но это меня еще больше взволновало. Мне представилось, что он вместо того, чтобы ходить в кофейню читать газеты, ходит к ней,

\* Исправлено из человек.

\*\* внизу (франц.).

что вот она дала ему свой адрес, а он, по своему обыкновению, по неосторожности, вынул и таким образом чуть-чуть не выдал свою тайну мне. Особенно меня поразило то обстоятельство: зачем ему было так вырывать от меня записку, если он не боялся мне показать эту записку. Значит, ему не хотелось показать записки, значит, ее не следовало мне показать. Меня это до такой степени поразило, что я начала плакать, да так сильно плакала очень редко, я кусала себе руки, сжимала шею, плакала и просто не знала, боялась, что сойду с ума. Мне было до такой степени больно подумать, что вот человек, которого я так сильно люблю, и этот человек вдруг изменяет мне. Я решила непременно завтра идти, идти по адресу и узнать, кто живет именно там, и если бы я узнала, что там живет известная особа, то я непременно бы сказала об этом Феде, тогда, может быть, мне бы пришлось уехать от него. Но до завтра еще оставалось довольно много времени, я ужасно как мучилась. Я плакала бог знает как и страдала невыносимо. Одна мысль об этой подлой особе, которая меня, вероятно, не любит, что она способна нарочно ему отдаться для того, чтобы только насолить мне, зная, что это будет для меня горько, и вот теперь, должно быть, это действительно и случилось, и вот они оба считают, что могут обманывать меня, как прежде обманывал Марию Дмитриевну<sup>34</sup>.

Пришел Федя и ужасно удивился, увидя, что я плачу, сначала он спрашивал причину, но я была так огорчена, что очень грубо ему отвечала, просила оставить его\* в покое и продолжала плакать. Успокоиться я не могла, так мне было горько. Федя начал браниться и как-то сказал, что он был просто фразирован, когда я бросилась к нему, чтобы вырвать от него записку, что это была записка, данная ему закладчиком, т. е. адрес другого закладчика и проч. Вообще он ужасно как на меня рассердился. Это меня еще больше <рассердило?>, потому что нет ничего хуже, когда человек раздражен или расстроен, и вдруг ему начинают говорить колкости и смеются над ним.

Я стала писать письмо к Ване, хочу его поскорее отправить и просить его узнать, там ли известная госпожа<sup>35</sup>, узнать наверное, может быть, она уж оттуда уехала. Потом, когда я заснула, Федя не пришел ко мне прощаться. Вот это так было очень дурно с его стороны, неужели он не может быть снисходителен ко мне, когда он знает, что я в таком положении, право, должен бы был быть ко мне гораздо милостивее. Потом, когда мы на другой день помирились, то Федя мне объяснил, что мы поссорились оттого, что ходили на конгресс мира. Да и вообще на этом мирном конгрессе гораздо больше было ссор, и провозглашали все ораторы не мир, а войну. Ночь я спала дурно, ночью проснулась и думала: что-то решит завтрашний день, неужели завтра будет для меня несчастье, неужели она здесь, неужели все мое счастье рушилось? Господи, я, кажется, умру, если это так будет.

*Четверг 12 <сентября>/31 <августа>*. Сегодня утром я отправилась сначала к почте, и думала как бы поднять целые лоскуточки, чтобы узнать номер дома, в котором живет Blanchard, а оттуда думала идти искать и разыскать непременно, кто именно там живет. Зашла я на почту, получила здесь письмо от Маши<sup>36</sup> <...> Прочитав на почте письмо, я отправилась искать дом на rue de Rive, это у того самого места, где мы постоянно обедаем. Я спросила у какой-то магазинщицы, и она мне сказала, что на углу улицы есть дом, в котором живет Blanchard, портниха. Я отправилась и действительно нашла и портниху и ее мужа\*. Я вошла

\* Так в тексте.

в подезд, потому что зайти на квартиру я не могла, так как дама имеет довольно представительную наружность, а, следовательно, очень могло случиться, что они там оставались, и потом я была бы в очень ложном положении, попавшись Феде. Я нашла, где живет консьержка, но квартира ее была не заперта, а самой ее не было. Мне сказали, что она бывает дома около 12 часов. Я отправилась гулять по улице и пришла снова в 12 часов. Но и на этот раз не нашла ее, я спросила в магазине, и мне сказали, что ее если можно застать, так это вечером. Такая досада, просто ужас, пришлось идти домой, но я все-таки, пока не узнала человека, решила примириться с Федей, потому что уж очень грустно сегодня. Когда он стал одеваться к обеду, я к нему подошла, расхохоталась, и, как он ни хотел удержаться и представиться серьезным и холодным, но улыбка потом невольно явилась на его лице и он расхохотался. Я села к нему на колени, начала ему говорить, чтобы он на меня не сердился. Так мы совершенно помирились и пошли обедать. После обеда он читать не пошел, а пришли домой и лег спать. Я воспользовалась тем временем, когда он спал, чтобы снова сходить туда, но и на этот раз тоже unsuccessfully, потому что опять ее дома не застала. Такая была мне досада, понапрасну хожу, а я было хотела дать ей полфранка, разузнать хорошенько. Потом вечером мы отправились гулять и вышли к католическому кладбищу, в котором в это время звонили к выходу, потому что было уже 7 часов и совершенная темь, как ночью. Потом мы обошли вокруг Plain-palais<sup>37</sup> и вышли на улицу Coraterie. Здесь на улице встретили Огарева. <...> В последний раз <...> Федя с ним встретился на пароходе и Огарев оставался с ним на несколько минут<sup>38</sup>. Тут Федя спросил его, не знает ли он где-нибудь хорошего доктора. Тот указал нам на доктора *Mayor*, живет на площади Molard № 4 и просил, если мы адресуемся к нему, то сказать от имени Огарева, говорил, что тот принимает к себе на дом, и тогда следует ему заплатить 2 франка, а если звать на дом, то надо дать больше, т. е. франка 3 или 4. Удивительно, как они мало получают, ну разве возможно дать хотя бы самому плохому доктору в Петербурге 1 рубль <с е р е б р о м>, ведь это положительно невозможно, а тут 4 франка, так и за глаза довольно. Воротились домой и говорили довольно дружелюбно между собой, хотя сердце у меня так и <п р ы г а л о>. Мне все казалось, что он меня обманывает, что я не могу узнать, а между тем хотелось как можно дальше отложить время, когда я узнаю эту ужасную для меня новость <...>

*Пятница 13/1 <сентября>*. День сегодня отличный. Встала я довольно рано и опять отправилась, чтобы застать эту подлую консьержку, наконец, сегодня застала. Она мне сказала, что она не знает, чтобы кто-либо приехал туда, и очень удивлена, если это действительно случилось, потому что у него очень маленькая квартира, что несколько месяцев тому назад к ней приехала ее тетка, старуха, так и то едва досталось место, а уж отдать кому-нибудь, так и положительно нет никакой возможности. Так что этим она меня несколько успокоила, а то я была в таком волнении. Сегодня я была целый день почти больна, но вовсе не физически, а морально, так было тяжело, все казалось грустно и мертво, так что, должно быть, я окончила бы физической болезнью, если бы вдруг не решила успокоиться. Я положила, что это все сочинила сама, что вовсе не следует печалиться, ничего не узнав, но все-таки я решила следить за Федей, чтобы знать, неужели он мне изменяет. Когда он после обеда пошел в читальню, я высмотрела, как он действительно туда вошел. Потом я отнесла домой книги и поспешила через другой мост в <Английский?> парк, из которого было очень хорошо видно, если бы он вышел, но дожидаться там, пока он прочитает все газеты, было бы, право, глупо,



мама должна нам теперь помочь. Положим, что у нее нет, но ведь не умирать же нам с голоду. Вот ведь всегда так, когда у нас денег нет, таким образом и говорит, что мама должна нам помочь, отчего же он не требует от тех лиц, которым сам помогает, пусть бы и требовал, чтобы доставала ему Эмилия Федоровна <sup>41</sup>, которой он помогает. Вечером мы пошли на почту и получили письмо от Аполлона Николаевича. Что за прекрасный, чудный человек, он пишет, что получил наше письмо, говорит, что хотя у него самого нет денег, но он непременно постарается нам достать. Господи, как я ему благодарна, тем более еще, что меня спасает это, не придется писать к маме и просить ее опять достать нам денег, бедная мамочка, вечно-то мы ее мучаем, а вот не придет же ему в голову мысль послать ей что-нибудь в подарок. Это ужасно несправедливый человек, как я теперь вижу, на этот счет, он думает, что мама непременно обязана для него хлопотать и решительно не ценит ее хлопот. С почты мы пошли гулять и гуляли по Plainpalais, а потом довольно уж поздно воротились домой. Вечером опять писали, и я была этому очень рада, потому что по крайней мере время поскорее идет, а то когда не пишет, так время так долго тянется. Вечером Федя опять ужасно как боялся припадка, но, слава богу, ничего не случилось. Господи, если бы нам удалось отодвинуть припадок подальше, как бы я была этому рада.

*Воскресенье 15/3 <сентября>*. Сегодня 15 число. Федеральный пост, т. е. пост во всей Швейцарии. Оказывается, что сегодня ни одного магазина не открыто, все решительно заперто, и мы отправились гулять за город. Сегодня сделался сильнейший дождь, но что странно, несмотря на такой сильный дождь, в воздухе довольно тепло, хотя это-то хорошо, а то просто такая досада, если бы к дождю да присоединился бы еще холод. Мы отправились обедать, сегодня нам вздумали подать еще меньше кушаний, всего, кажется, 3, это у него идет диминуэндо, т. е. каждый день уменьшают число кушаний, наконец, Федя заметил ему об этом, и тогда нам принесли еще курицу. От обеда мы отправились домой, но по дороге я вздумала идти на почту, и хотя Федя мне и отсоветовал, но я не послушалась и отправилась; за непослушание я была очень наказана, ибо дождь меня вымочил ужасно, до костей, и когда я пришла на почту, то, оказалось, и почта сегодня заперта. Ну, это ведь просто курам на смех. Даже почта, самое необходимое место, и то заперта, и все из-за каких-то их дурацких праздников. Мало того, что все магазины заперты, но закрыты даже и кофейни, мы <даже?> очень боялись, чтобы не остаться без обеда, потому что думали, что эти дураки швейцарцы, пожалуй, запрут и гостиницы. Потом я долго сидела у окна, читала книгу и смотрела, как шел дождь. Я иногда люблю, когда идет дождь, мне тогда вспоминается жизнь моя у мамы в моем *гнезде*, какая, право, это хорошая была жизнь, несмотря на все невзгоды и разные денежные неприятности; а теперь разве не то же самое, то же самое безденежье, а к тому же еще и другие неприятности. Вечером Федя опять мне диктовал, а продиктованное вчера я переписала еще утром; потом, так как мне нечего было делать, то я вздумала переписать вечером сегодня, что он мне только что продиктовал.

*Понедельник 16/4 <сентября>*. Записываю я нынче очень мало, а это потому, что решительно нечего записывать <...> Утром переписала продиктованное Федей и этим несколько убила время, потом мы ходили обедать, ели отлично. Вообще день у нас проходит таким образом, что просто и описывать нечего, все, как всегда, по обыкновению скучно. Ходили на почту, получили от мамы письмо, но не франкованное. Пришлось заплатить 90 с., Федя не мог не заметить мне это, что письмо было

нефранкованное, я очень удивилась этому и сказала, что обыкновенно письма она франкует; он несколько раз повторил, что ему пришлось заплатить 1 франк, как будто бы это так много значит, что следует мне говорить об этом. Мне это было, право, больно, так я молчала. Письмо пришло в субботу, но вчера взять нельзя было, так что оно пролежало все воскресенье там.

*Вторник 17/5<сентября>*. Решительно эти 3 дня только и делает, что идет дождь, да такой сильный, что выйти нельзя. Голова у меня болит невыносимо, а пройти нет никакой возможности, потому что дождь идет из ручья; решительно не знаем как мы пойдём обедать. Хотели было сходить обедать в кофейную Роланд, что напротив нас, где мы раз пообедали, но решили, что это уж слишком гадко, так лучше, хотя и по дождю, но идти в отель д'Ор.

Утром Федя немного писал, а я все валялась на постели, так у меня сильно болела голова. В 2 часа пошли обедать, взяв от хозяйек зонтик, который сделался причиной ссоры между нами, именно, так как под одним зонтиком под руку идти было гораздо удобней, то Федя и взял меня под руку и, очень весело распевая, мы пошли через мост. Но тут мне случилось поскользнуться, но так сильно, что я было чуть не упала; вдруг Федя раскричался на меня, зачем я поскользнулась, как будто я это сделала нарочно, я ему отвечала, зонтик не панцирь, и что он дурак. Так мы дошли до библиотеки, где Федя отдал книги, но потом мне сделалось так досадно, да и было неприятно идти под руку с человеком, который на меня сердит. Я и пошла без зонтика, а он под зонтиком. Потом ему показалось, что какие-то торговки смеялись, видя, что он идет покрытый, а я нет, и он перешел на другую сторону улицы, я решительно не знала, к чему это и отнести; и когда он вздумал пройти нашу гостиницу, то напомнила ему, что у меня денег нет и обедать я одна не могу. Он перешел на мою сторону и, идя по улице, ругался <...> Мне ругаться не хотелось, я молчала, потом только мы, не разговаривая, отобедали, Федя пошел за книгами, а я домой. Вечером мне не хотелось с ним ссориться, я расхохоталась, заставила его тоже расхохотаться и не сердиться на меня. Потом он лег спать и спал часа 2. Когда он проснулся, то попросил папироску и я ему поспешила подать ее, но так как я в папиросах толку не знаю, то и подала такую, какая не курится, он просил положить ее на стол и подать другую. Я так и сделала, но пока я вынимала из портсигара другую папиросу, он мне закричал, чтобы я несла поскорее, тогда я почти бросила к нему на постель и портсигар и спички. Вдруг Федя начал кричать, как, бывало, он кричал у себя дома <...> Я молчала, но потом сказала ему, что не хочу терпеть, чтобы он меня так ругал, что я к этому не привыкла, что если он не мог <до сих пор?> отвыкнуть от брани, то я все-таки не намерена его слушать. Так мы довольно сильно побранились, но потом мне не хотелось браниться, я постаралась примириться с ним, что мне совершенно удалось. Но Федя очень злопамятный нынче стал, он меня долго упрекал и потом обидел, сказав, что считал меня 10 из 1000, а я оказалась 100 из 100. Но полно об этом говорить, ведь известно, что никакой муж не считает своей жены и умной, и доброй, и развитой, ведь это так уж известно, что, право, и говорить-то не следует. Вечером он диктовал, а я писала и плакала, так мне было грустно, просто ужас, от одной только мысли, что он, тот человек, которого больше всего на свете люблю, тот-то и не понимает меня, тот-то и находит во мне такие недостатки, которых во мне решительно нет. Потом Федя просил меня объяснить, почему я плачу, но так как говорить было долго, да и что говорить, ведь его не убедишь, то я кое-как отделилась от разговоров<...>

*Среда 18/6 <сентября>*. Сегодня утром встала опять с больной головой, право, не знаю, когда это у меня кончится. Потом писала несколько времени и в 9 часов разбудила Федю к кофею. Он каждый вечер боится припадка, но вот, слава богу, все проходит благополучно. Потом в 12 часов он отправился заложить наши обручальные кольца, потому что у нас сегодня нечем обедать. Но потом он через час воротился, сказал, что не застал закладчика, да и очень рад этому, потому что получил деньги от Майкова. Майков прислал деньги, 125 рублей русскими деньгами, это было, пожалуй что, и неудобно, потому что <х о д и л и> разменять у одного банкира за 100 рублей 330 франков, но Федя пошел по другим банкирам и ему разменяли за 335, так что он получил 418 франков. Вместе он получил письмо от мамы и принес мне, но тут он никак не мог удержаться, чтобы мне не заметить, что письмо было нефранкованное, что он опять заплатил франк. Как это скверно, право; он, разумеется, нисколько не понимает, что мама для нас делает, сколько она для нас хлопочет, это он решительно не ценит, а тут ценит какой-нибудь маленький франк, считает, что вот, дескать, пришлось мне заплатить за письмо. Как это низко, право, такая подлая скупость; разумеется, если бы у нас франк был последний, ведь нет же, ведь у нас теперь 420 франков, следовательно, один жалеть нечего. Да, наконец, если бы даже действительно было жалко, то ведь это меня оскорбляет, его замечание, неужели он не может удержаться, чтобы мне так не заметить. Он ответил, что, может быть, у мамы денег нет, чтобы послать, а послать хочется; мне так досадно. Неужели мне, чтобы избавиться от упреков, придется написать бедной мамочке, чтобы не присылала мне нефранкованных писем, мне написать это будет так тяжело, как один бог только знает.

Федя сел писать, а меня послал за сахаром и чаем, который у нас весь вышел <...> Потом ходили обедать. Вечером, когда Федя лег немного отдохнуть, я села писать дневник. Он спал часа 2 с половиной. Наконец, ко времени чаю я его разбудила и, дав ему папироску, села молотить кофе. Как будто он совершенно проснулся, но когда начал курить, то опять заснул, папироса выпала у него из рук, и если бы я не заметила скоро, то, вероятно, бы произошел пожар. Мне почему-то вздумалось спросить его, я подбежала и отняла папироску. Но было уже поздно, он успел уже прожечь простыню и небольшую дырочку на их синем тюфяке. Мне опять было до такой степени смешно это происшествие, но я удержалась смеяться, чтобы его не рассердить. Мы решили, что как-нибудь надо поправить дело, сделать или заплату или как-нибудь, а так, чтобы наши старухи не заметили и не рассердились на нас. Потом мы стали писать, и когда пришла старуха поправить постель, я ужасно боялась, как бы она чего не заметила. Федя опять боялся очень, чтобы не случилось припадка, но его, слава богу, не было. Сегодня, когда рассчитали наши деньги, то Федя сказал, откладывая 100 франков в стол: «А вот на эти я отправлюсь в Саксон ле Бен»<sup>42</sup>. У него есть решительно намерение отправиться туда, ведь вот странный человек; кажется, судьба так сильно наказывает, так много раз показала ему, что ему не разбогатеть на рулетке, нет, этот человек неисправим, он все-таки убежден, и я уверена, что всегда убежден, что непременно разбогатеет, непременно выиграет, и тогда может помочь своим <п о д л е ц а м>.

*Четверг 19/7 <сентября>*. Сегодня день превосходный, я постаралась пораньше окончить мое писание и так как у меня довольно сильно болела голова, то я и решилась куда-нибудь пойти погулять. Федя остался писать, а я отправилась. Дал он мне денег 20 франков, чтобы я могла купить себе вуаль, потому что он все меня бранит за неровности кожи. Пошла я сначала на почту, где ничего не получила, оттуда хотела идти

в здешний музей, но раздумала и решила прогуляться в Каруж, куда мне давно хотелось съездить <...> На дороге я нашла несколько каштанов на земле, совершенно спелых, мне вздумалось их собрать и отнести в подарок Феде. У меня только и есть подарки, что камни или еловые шишки. Я набрала штуки 4, хотела, придя домой, попросить спечь их и попробовать, потому что мне никогда не случилось их есть <...> От станции длижанса отправилась я по магазинам попытаться купить <ву а л ь?>, но оказалось, что он стоит 4 1/2 франка, синий, вовсе не такого сти<л я>, как бы я желала. Так я и отложила намерение купить, потому что не знаю, могу ли я так много истратить <...>

Пришла домой. Федя еще продолжал писать. Он говорит, что эта статья ему не даром досталась, что она ему так трудна, что писать ему не хочется ее, так что он ужас как теперь мучается<sup>43</sup>. Пошли обедать, а после обеда я убедила Федю купить себе шляпу. Правда, у него шляпа не слишком чтобы уж такая дурная, но он все толковал, что ему нужна шляпа, а потому и я решилась настоять на том, чтобы он приобрел себе новую. Зашли мы в один магазин, и здесь Федя начал примерять разные шляпы, но все они оказались ему узкие <...> Федя выбрал шляпу черную, не особенно чтобы уж хорошую, но ничего. Она даже к нему не идет, и в ней он очень похож на те пирожки, которые продают, такие славные пирожки, в Гостином дворе. Заплатили за нее 10 франков, но я стала уверять Федю, что шляпа удивительно как хороша и как идет к нему, а он несколько даже кокет<ливо> потом целые 3—4 дня после покупки поглядывал на себя в зеркало <...> Он пошел читать, а я зашла за бумагой (по 15 с. за 6 листов) и здесь спросила, что стоят резные коробочки с живописью, самая маленькая стоит 2 франка, игольник тоже, набор ложек для салата стоит 10 франков и т. д. Тоже я заходила спросить, что стоит 1 веер из коричневого дерева, резной, с изображением разных костюмов Швейцарии на каждом листочке веера. Коричневый стоит 30 франков, и, судя по работе, это право недорого, а белый 22. Жаль, что у меня денег нет, а то бы я непременно купила себе такой веер. Потом зашла я за галстуком и купила себе синий, очень хорошего цвета, за полтора франка, так что даже и Федя остался им доволен, да это гораздо и лучше, потому что галстучки так скоро мараются, а все-таки полтора франка вовсе не так жаль, как если бы пришлось заплатить 6 франков.

Вечером мы опять ходили гулять несколько времени очень дружно. Я забыла сказать, что по дороге я набрала несколько каштанов, которые отнесла домой и вечером предложила нашим старухам их испечь, чтобы попробовать, что это такое. Старухи ужасно как расхохотались и объявили мне, что это дикие каштаны, что настоящие каштаны будут готовы только через месяц, а этими только кормят свиней, и убедительно просили меня не есть их. Я тоже расхохоталась над своим незнанием и, смеясь, рассказала это Феде. Я и забыла сказать, что мы отлично сплутовали насчет простыни. Если бы мы сказали нашим старухам, то они, вероятно бы, рассердились, а я сделала так: так как на простыне было несколько дырочек, то я эту прожженную дырочку вырезала побольше, сделала вроде обыкновенно как бывает от вырванного и таким образом беда была поправлена. Вечером мы диктовали и я вечером немного переписывала.

*Пятница 20/8 <сентября>*. Сегодня утром несколько времени переписывала, а потом, чтобы несколько успокоить голову, отправилась погулять; сначала пошла на железную дорогу, но ничего там не узнала, да и ждать тоже особенно не хотелось. Отсюда почти в 2-х шагах находится церковь Notre Dame de Senève <...> Я стояла там минут 15, все слушала музыку органа <...> Наконец я вышла и отправилась на почту. Сегодня ничего нет опять и мне вздумалось идти на кладбище, оно находится на

Plainpalais. В середине его находится отличный костел \*<sup>44</sup>. Мне здешнее кладбище понравилось и, право, если бы уж умереть за границей, то я бы желала быть похороненной здесь, на этом кладбище, чем где-нибудь в другом. Здесь мне казалось до крайней степени спокойно, просто чудно, посидела я несколько времени на скамейке, потом ходила, рассматривала памятники. Хороших здесь нет, все простые, но большею частью убрано плющом и цветами. Проходила я там с полчаса, потом воротилась домой; Федя еще продолжал писать, но потом мы отправились обедать, зашли в библиотеку, взяли книги. Теперь я читаю роман Диккенса «La petite Dorrit», самый превосходный роман, который я только знаю. Федя тоже читает это самое. Вечером ходили опять на железную дорогу узнавать, что стоит туда билет <sup>45</sup>, узнали, что езда туда 6 часов, а стоит во 2-м классе 10 франков. Следовательно, нужно взять непременно с собой, по крайней мере, 140 франков. Нам это рассказал один очень услужливый кондуктор, который даже для этого влез на стену, чтобы рассмотреть хорошенько, когда именно идет поезд. Отсюда мы пошли за фруктами к нашей неизменной старушке, с которой Федя постоянно ссорится. У нее купили фрукты и яблоки. Здесь фунт яблок стоит 20 с., а на фунт идет 4 яблока, и я так много наелась, что после почти была больна. Дорогой мы разговаривали с Федей о возможности или невозможности ехать ему туда, и когда я, не желая его обидеть, сказала, что это <н е> возможно, то он ужасно как обиделся и начал шуметь, но как-то уж слишком развязно, например, уверял, что вот это такой вид, какой обыкновенно рисуют на подносах, т. е. это он повторил именно то, что мы как-то решили \* на днях. Потом толковал про какой-то герб, вообще был очень развязен. Потом мы воротились домой, Федя несколько диктовал, я писала. Я нынче взяла привычку каждый вечер ложиться очень рано спать, часов в 9, спать до 2, когда Федя меня разбудит, чтобы проститься, от 2-х никак не могу уж заснуть, и потом не сплю часов до 4, если не более. Это очень дурная привычка, но я так привыкла, что просто не знаю, что мне делать, никак не могу отстать. Сегодня, когда Федя пришел проститься, я продолжала еще бредить и сказала ему: «Un gant qui valait» \*, потом он несколько раз повторил эту фразу, о<дн о>вр<ем ен но>ужасно удивившись, что я ему на какой-то вопрос отвечала этим выражением. Оказывается, что я только что видела его во сне и видела, что он мне изменил; тут gant qui valait было решительно в связи; но вот когда я проснулась, то, начав с ним разговаривать, я решила его в чем-то упрекнуть и потому и сказала эту фразу. Потом мы с ним много смеялись и я окончательно проснулась.

Суббота 21/9 <сентября> <...> Утром я переписала то, что он мне диктовал, потом ходили на почту, но ничего не получили, вероятно, получим завтра. За обедом прочитали, что в Петербурге собирается комиссия, которая будет рас<с у ж>дать о том, чтобы не сажать должников за долги в отделение. Право, как бы это было хорошо, если бы это вошло в употребление. Я была бы так рада за маму, по крайней мере, она могла бы не трепетать, что вот-вот ее посадит какой-нибудь подлец в долговое отделение. Надо ей будет написать об этом, порадовать ее <sup>46</sup>. После обеда Федя пошел читать, а я воротилась домой, здесь меня ожидала прачка, и мне было так досадно, что у меня не было денег ей отдать <...>

Вечером мы пошли гулять и ходили по Ботаническому саду, который находится у Palais Electoral. Прошлись \* по саду и по дороге Федя мне рассказал о том, что прочитал сегодня в газетах, именно про жизнь одно-

\* Перчатка, которая дорого обошлась (франц.).

го крестьянина Архангельской губернии, который много странствовал, много видел и, попав в Россию, был наказан плетью, потому <что> он будто бы бежал из России, между тем как он сам пожелал воротиться домой, несмотря на очень выгодные условия, которые ему предлагали, чтобы остаться на мысе Доброй Надежды<sup>47</sup>. Вот это и всегда так. Гуляли мы очень дружно, и мне было приятно: днем сад этот нехорош, но вечером довольно темный и прохладный. Дорогой Федя мне говорил, что я стыжусь, вероятно, его, а потому никогда с ним не хожу под руку. Я уверила его, что это решительно несправедливо, потому что если я так и не делала, то только потому, что боялась, что надоем ему, что, по моему мнению, мне кажется, что для мужа ничего нет скучнее, как гулять с своей женой под руку. Он был с этим не согласен, и я, чтобы не рассердить его, предложила ему вести меня. Вот уже 2 или 3 дня как Федя постоянно мне толкует, что я очень дурно одета, что я одета как кухарка, что на кого на улице ни поглядишь, все одеты, туалеты, только одна я одета, как бог знает кто. Право, мне это было так больно слушать, тем более, что я и сама вполне хорошо понимаю, что я одеваюсь ужасно, из рук вон плохо. Но что же мне делать, разве я могу что-нибудь сделать: ведь если бы он мне давал хотя бы 20 франков в месяц для одежды, то и тогда бы я была хорошо одета, но ведь с самого нашего приезда за границу он мне не сделал еще ни одного платья, так как же тут еще можно упрекать меня за то, что я дурно одеваюсь. Мне кажется, что надо бы было это ценить, что я еще не требую себе наряды, а вовсе не браниться, потому что тут уж я действительно не виновата.

*Воскресенье 22/10 <сентября>*. Утро сегодня прекрасное, мне сидеть дома не хотелось, я часу во 2-м отправилась куда-нибудь побродить <...> На почте мне подали мамино письмо, и я так была рада, что со мной не было Феде. Он бы был опять недоволен, что письмо не было франковано <...> С почты я отправилась погулять по городу и зашла на *плас Нова*. Здесь я вышла на террасу, которая выходит над дорогой, и много ходила по разным улицам. Между прочим, я вышла к собору *Святого Петра*, здесь *Cathedrale*, очень старинный собор, окруженный высокими домами <...> Я довольно долго здесь бродила, но когда вышла к часам, то увидела, что не было еще и 2-х часов. Воротиться домой, вероятно, потому не хотелось, что Федя занимается и я боялась ему помешать, хотя он мне всегда говорит, что я ему никогда не мешаю <...> Пришла я домой часа в 3, показала Феде присланную маме корреспонденцию с Майковым, какие они, право, подлые, эти люди, нужно оскорбить такого прекрасного, превосходного человека<sup>48</sup>. Потом мы отправились обедать, и когда шли, то дорогой Федя считал, сколько нам нужно денег, чтобы несколько получше жить. Оказалось, что если бы мы вздумали теперь проехать во Флоренцию и прожить там месяц, а оттуда проехать в Париж и там прожить 2, еще нужно на сотню франков сделать одежду, тысячу франков послать домой родным и 400 франков разделить между должниками, т. е. ни больше ни меньше нам нужно иметь, по крайней мере, 10 тысяч франков, да и то это решительно пустяки и мы бы все-таки не стали хорошо жить. Федя рассудил, что тогда бы (именя тоже 10 тысяч франков и послав тысячу родным) могли бы там сделать мне 2 платья: одно расхоее, а другое получше. Меня и насмешило и оскорбило, право, такое предположение. Положим, что этих 10 тысяч у нас нет, что их у нас и не будет, что даже при простом предположении богатства, так себя обольщать, право, даже слушать досадно. Как будто бы я для него решительно не так дорога, как эти подлые твари.

Пообедали, Федя сходил почитать, а я сидела дома. Потом вечером, эдак часу в 7-м, мы отправились погулять. Но куда? Все-таки так скучно,

ходить решительно некуда, мы и пошли наудачу по дороге в Chêne<sup>49</sup>. Там сегодня какой-то праздник, раздача наград, бал и пр. и пр. Мы прошли, я думаю, с полверсты и вышли уж решительно за город, где начинались дачи, шли довольно долго, но, наконец, стало вечереть, и мы воротились домой. По улицам, право, идти было довольно скучно. На пути мы зашли в один парк по виду, но он оказался небольшим садом, а в нем кто-то живет, так что мы, чтобы не разговаривать, ушли из сада. Пришли домой усталые и недовольные. Федя всю дорогу мне рассказывал о Венеции и Флоренции, и мне ужасно было больно и досадно, что я, должно быть, так ничего не увижу. Господи! Как бы я желала что-нибудь увидеть побольше, чем я до сих пор видела. Вечером, когда мы стали ложиться спать, я стала молиться, молилась, не думаю чтобы уж слишком долго. Но Феде это не понравилось, впрочем, его нынче все раздражает, и он мне это заметил. Я тотчас встала и, не желая с ним ссориться, простилась поскорее и легла спать. Но я не могла удержаться, чтобы не возмутиться. Федя сейчас заметил, что он меня обидел: он встал и пришел проститься со мной. Потом еще раза 2 подходил ко мне и просил, чтобы я его простила, что он очень грубый, что ему вовсе не следовало бы мне так замечать и пр. и пр., так что мы решительно помирились. Сегодня мы не диктовали, потому что у Феде не было ничего готово.

*Понедельник 23/11 <сентября>*. Сегодня утром мне было ужасно грустно: со мной это нынче часто бывает, мне кажется, что причина этому мне понятна, он заставляет меня сильно все принимать к сердцу. Мне сегодня припомнились его постоянные замечания о том, что у меня дурное платье, подумал он, кто из нас тут виноват, ведь уж, конечно, не я. Я с самого утра принялась чистить свое платье, потом попросила у наших хозяек дать мне утюги, чтобы отгладить его. Они были так любезны, что мне тотчас дали, и я выгладила свое платье, но все-таки оно вовсе не имело нового вида, это правда, да и какой может быть вид, ведь я его уж так давно ношу, что, право, и пора ему состариться. Как я уже сказала, мне было очень грустно. Федя меня несколько раз спрашивал, что это со мной. Я отвечала, что у меня голова болит и просила его не приставать и не замечать, что я грустна. Так день прошел у нас грустно. Грустно сходили мы обедать, но я старалась понемногу развеселиться, и это к вечеру мне удалось. Но потом Федя рассердился на меня. Ему представилось, что я разыгрываю боль, что мне вовсе не грустно, а что я это только желаю к нему показать презрение. Поэтому он, как мне потом сказал, целый день мучился, раздражался и страдал. Станный, право, человек! Ведь я же уверяла его, что я нисколько и не думаю сердиться, что это он <сердится?>.

Вечером мы пошли на почту, потом купили фрукты и пошли немного прогуляться. Я шла с ним под руку, чтобы он не мог опять мне сказать, что я его стыжусь. Пошли мы по дороге в Каруж, но потом повернули мимо укреплений, которые теперь <огорожены?>\*<sup>50</sup> и воротились назад к Ботаническому саду. Мы подошли к театру, и тут Федя сказал, что нам нужно будет когда-нибудь туда сходить, потому что, вероятно, билеты здесь очень дешевы, а мы здесь решительно без всяких удовольствий. Смотрели на афиши, что такие дают завтра, но билетов, разумеется, не взяли. Я вполне убеждена, что во все пребывание наше в Женеве нам ни одного разу не придется здесь быть. Ведь мы всё так, на всё собираемся, всё хотим видеть, и всё это оканчивается пустяками. Вечером мы опять немного поссорились, потому что, как я ни старалась с Федей разговаривать, он все утверждал, что я злая, что я нарочно его мучила и пр. и пр. Так мы и расстались довольно холодно.



## ДРЕЗДЕН. ОБЩИЙ ВИД

Фотография, подаренная Достоевскому в 1867 г. А. Н. Сниткиной  
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

*Вторник 24/12 <сентября>*. Так как я легла вчера довольно рано, то несколько раз в ночь <просыпалась> и нисколько и не спала. Так без 25 минут 5 часов я проснулась и еще не совсем могла прийти хорошенько в себя, как вдруг услышала, что с Федей припадок. Право, бог, вероятно, услышал мои молитвы о том, чтобы Сонечка или Миша могли родиться здоровыми; потому что я несколько раз уже замечала, что я или не сплю, или только что проснулась, или не испугалась, когда с ним бывает припадок, так что ребенку моему через это ничего не будет дурного. Я тотчас вскочила, зажгла свечу и села к нему на постель. Припадок, по моему мнению, был не слишком сильный, потому что Федя даже не очень кричал, и довольно скоро пришел в себя, но потом у него лицо было до такой степени в эти мгновенья страшное, что я просто его испугалась (или я, может быть, сделалась такая, что на меня нападает страх). Право, мне до сих пор ни разу не случилось пугаться его, когда с ним это делается, но сегодня до крайней степени страшное, такое страдающее лицо, что я побоялась за него. К тому же вдруг у него похолодело совершенно лицо, и главное, нос. Мне вдруг представилось, что он умрет. Как мне это было больно и как я молилась, чтобы припадок поскорее кончился! Федя довольно скоро очнулся и узнал меня. Он назвал мое имя, но я не расслышала, и чтобы знать, может ли он назвать имя мое, спросила, как меня зовут, и он, еще хорошенько не придя в себя, сказал мне, что меня зовут Анна. Потом он как будто бы пришел в себя <...> Он все говорил, что боится так страшно умереть, и просил, чтобы я посматривала за ним, я уверена, что с ним ничего не будет, да к тому же я не буду и спать, буду все слушать, если с ним что-нибудь случится. Он называл меня множеством хороших имен, называл ангелом своим, что он меня очень любит и благодарит, что я за ним хожу и сказал: «Да благословит тебя бог за

это». Я была очень тронута его словами. Мне казалось, что он меня действительно любит. Потом он лег спать. Я дала ему заснуть до половины 10-го, потому что он очень мало спал ночью.

Мне ужасно как хотелось есть, но я так и прождала от 6 до 10 часов, когда нам хозяйка принесла кофей. Наша соседка (довольная немка с очень веселеньким звонким голоском) слышала, что с Федей был припадок, и рассказала старухе. Наша младшая старуха Луиза, придя в комнату за чашками, даже старалась не глядеть на Федю, вероятно, его боялась. Но вот что я нынче замечаю: что Федя утром после припадка всегда бывает в хорошем расположении духа, т. е. смеется, хотя зато потом ему бывает грустно. У него этот раз болит очень плечо, вероятно, не очень ловко лежал. Да, вот еще, у него больше чем неделю болит левое плечо, но он говорит, что болит так сильно, что ужас, и он не перестает жаловаться. Сегодня как назло страшно скверная погода, идет дождь, довольно холодно. Мы просто не знали, как нам выйти обедать, такой сильный был дождь. Я утром написала все, что было продиктовано вечером, а Федя сел поправить, хотя голова у него положительно несвежая сегодня и заниматься вовсе не следует.

На завтра наш срок, но мы хотим отдать сегодня деньги. Я спросила старшую старуху, сколько ей следует. Она отвечала, что ей нужно за услуги 5 франков. По моему мнению, это довольно дорого, но что же делать. Потом она намекнула, что следует также дать ее сестре за услуги. Когда она принесла потом нам в комнату сдачи с 40 франков, то Федя, начав с нею говорить, сказал, что мы тогда дадим ее сестре, когда станем уезжать, потому что денег теперь у нас довольно мало, и старуха отвечала, что это пусть так и будет (...). Когда мы, наконец, решились идти обедать, то нам они дали зонтик, и мы, хотя и вымочились, но все-таки кое-как дошли до гостиницы. (Федя меня вздумал уверять, что он думает, что главным образом его болезнь произошла от того, что вчера он целый день мучился и страдал, думая, что я на него сержусь.) Потом Федя ходил читать, а я одна воротилась домой и читала что-то (...). После обеда Федя лег спать, я очень было хотела этим заняться, но потом мне вздумалось, несмотря на дождь, идти на почту, хотя я и не рассчитывала от кого-нибудь получить письмо. Я отправилась и действительно получила от Вани. Правда, особенно интересного он мне ничего не писал, так что, право, могла бы я обойтись и без его письма, но все-таки была рада этому (...). Ветер все становился сильнее и сильнее. Право, ужасно грустная погода, как-то даже тяжело действует на душу. Я уж как-то сказала, что я здесь очень рано ложусь спать, так что это даже сердит Федю. Вправду, это очень досадно, я думаю, видеть, как человек заваливается спать с 9 часов вечера. Затем я обыкновенно часто просыпаюсь ночью и несколько времени, иногда даже очень долго, не сплю.

*Среда 25/13 (сентября).* Сегодня я проснулась часов в 9, оглянулась на Федю, и вдруг мне показалось, что он слишком уж бледен и слишком неподвижен. Я тотчас сошла с постели, подошла к нему, и чтобы удостовериться, взяла его за нос, который оказался холодным. Это меня несколько испугало, но он тотчас открыл глаза и этим меня убедил, что жив. Он был очень удивлен, когда увидел, что я его взяла за нос, и спросил, что мне такое нужно. Потом немного поспал и встал, чтобы пить кофей. Но сегодня только два дня после припадка, следовательно, он в дурном расположении духа. Когда он сидел за кофеем, то сказал: «Как я прежде пил». Мне показалось, что это он сказал с тоном сожаления; я спросила его: «Что же, разве кофей не хорош», и спросила это совершенно обыкновенным тоном. Ему показалось, что я на него закричала, вот он и сам раскричался на меня, сказал, что я постоянно ссорюсь с ним (а, между тем,

кто постоянно-то начинает ссоры, как не он). Я просила его не кричать, он назло мне закричал так громко, как обыкновенно дома кричал на Федосью<sup>51</sup>. Меня это ужасно как обидело, я пила кофей и плакала. Феде, видно, было жалко меня, и он начал оправдываться, говорил, что не он закричал, что у него и в голове не было ссориться, а что я все тут одна виновата. Я просила его со мной теперь не говорить, пока я не успокоюсь. Я читала книгу, вдруг Федя спросил меня: «Что же ты не ешь масло?» Вопрос этот был сделан для того, чтобы как-нибудь примириться, чтобы с чего-нибудь начать примирение. Я, разумеется, вовсе не стала представляться, что сержусь, и когда он меня привлек к себе и сказал, что ему так бывает тяжело после сильной ссоры со мной, то я подошла к нему и мы помирились. Я очень рада, что у него такое доброе сердце, он хотя и посердится, но сейчас сознается и постарается примириться. Я заметила, что в последнее время он как будто бы стал на этот счет лучше, т. е. он прежде непременно дожидался, когда я подойду попросить прощения, а теперь он это и сам делает. Право, какая бы тут была жизнь, если бы мы постоянно только и делали, что сердились и ждали, кто из нас первый подойдет примириться и толковали бы, что я ни за что не подойду первый, пусть она это сделает, а я уж только снизойду примириться. Право, это так уж по-детски, даже, мне кажется, только портит жизнь, ничего больше.

Сегодня я дописала письмо, которое хочу послать Маше, и снесла его на почту, но там никакого письма не получила, а я так надеялась, потому что мама обыкновенно присылает письма в субботу и в среду. На почту я едва дошла, до такой степени был сильный ветер. Они называют это *la bise*, т. е. северный ветер <...> Река сов<ершено> из прекрасного синего цвета обратилась в какую-то сер<ую> мутного цвета, с огромными волнами, деревья на островке Жан-Жака так и качаются, грустно, страшно, да к тому же у нас в комнате страх как холодно, так что я сидела в пальто. Я решительно не знаю, что мы тут будем делать зимой, если уж и теперь так страшно холодно, просто хоть умри.

Пошли обедать, на дороге все время хохотали. Федя вел меня под руку, потому что одной идти было решительно невозможно. Там так сильно сдувало ветром, что я решила, что в эту минуту к нам более, чем когда-нибудь подходят стихи:

Вихрем бедствия гонимы  
Без кормила и весла<sup>52</sup>.

Право, эти стихи сочинены точно для нас. Уж именно без кормила, подразумеваемая под словом *кормило* деньги. Денег немного, надежды нет откуда-нибудь получить. Сходили обедать, а потом пошли в библиотеку выбирать книги. Здесь Федя выбирал ужасно как долго, точно какая разборчивая невеста: то нос широк, то ноги тонки, т. е. или небольшого формата книга, или слишком велика, или мелкая печать, просто перебрал несколько книг, так что меня просто вывел из терпения. Терпеть я не могу хозяйку нашей библиотеки M<sup>lle</sup> Odier. Эта девица лет 36, если не больше, очень плотная, толстая, но, как мне кажется, очень злая. Она всегда ужасно притворно улыбается и насмешливо на меня и на Федю поглядывает. Федя даже уверен, что она терпеть его не может, да это очень может быть, потому что он так разборчив и постоянно с нею бранится, т. е. всегда упрекает ее, что у нее ни спросит, ничего нет. Потому я терпеть не могу сидеть в библиотеке в это время, когда Федя выбирает книги, потому что она тогда с таким вниманием рассматривает мой костюм, а он, как известно, у меня уж в таком скверном виде, что, право, совестно и глядеть.

Потом Федя пошел читать, а я отправилась покупать кофей. Но ветер был до такой степени сильный, а уж у меня силы стало мало, не только меня постоянно сносило, волосы растрепало, шляпу хотело сорвать, так что я едва-едва дошла до лавки, где мы обыкновенно берем кофей и потом оттуда едва могла прийти домой, всю дорогу страшно руга(л а л а)сь. Затем пришел и Федя, и так как я купила кофей, то он начал молоть его. Это сделалось нынче его обязанностью: он постоянно мелет, ему это даже очень приятно. Мне бывает всегда смешно на него смотреть, когда он с самым серьезным видом мелет кофей, точно какое важное дело делает. Весь день он был удивительно как весел, все хохотал и меня смешил, особенно хохотали мы, когда он пришел со мной прощаться вечером. Он объявил мне, что он ни за что не допустит, чтобы я его *водила за нос*, как это было утром, а непременно хочет остаться с *носом* и т. п. глупости, но хохотали мы как безумные. Я была так этому рада, потому что думала, что после припадка у него будет страшно скверное, по обыкновению, расположение духа. Но на этот раз, слава богу, все обошлось благополучно.

*Четверг 26/14 <сентября>*. Сегодня ветер продолжается, хотя с несколько меньшей силой, но все-таки до такой степени несносный, что едва можно ходить. Старуха уверяет, что он окончится завтра, это просто ужас, просто нельзя жить в этой стране, так холодно и такой страшный ветер, что двинуться из комнаты нельзя. Пошли обедать, а после обеда ходили за разными покупками, так, между прочим, Федя мне купил шоколаду 2 плитки, т. е. полфунта,  $\frac{1}{4}$  фунта, который стоит 2 франка, и  $\frac{1}{4}$  фунта в 35 с. Взял он сегодня читать «*Corricolo*» Александра Дюма и уже когда читал, то ужасно как хохотал, т. е. я, кажется, еще ни разу не видела, чтобы он мог так сильно хохотать. После каждого хохота он обыкновенно рассказывал мне, что именно тут было смешного, и даже несколько раз читал мне. Вообще я начала замечать, что Федя нынче очень часто рассказывает мне, что такое он прочитал в книге ли, или в газетах, особенно в газетах, потому что я не читала сама, ну так он мне почти всегда рассказывает, что такое он там вычитал. Меня это ужасно как радует. После обеда я ходила опять на почту, но ничего не нашла; право, была такая досада, что ужас. <Теперь?> меня очень мучает одна вещь: мама просит дать ей доверенность на перезалог двух займовых билетов, но не написала № квитанции, а срок билетам будет 20 сентября. Так что, так как я не послала доверенность, то очень может быть, что билеты эти пропадут. Право, это меня до такой степени мучает, что я решительно не знаю, что мне и делать. Постоянно \* мысль об этом, только и дело, приходит ко мне, а помочь решительно никак не могу, потому что, как я сегодня узнала на почте, консула здесь русского нет, а следует послать доверенность для засвидетельствования в Берлин.

Сегодня Федя занимался пересмотром своей статьи и очень много что вычеркнул или переменял, так что после обеда он предложил мне переписать по крайней мере 20 страниц. Просил, чтобы это было готово к завтра, потому что он думает завтра послать статью в Москву. Уж, право, давно пора это сделать. Ведь деньги были взяты в январе, а теперь уж сентябрь месяц, может быть, этот человек не может без этой статьи издать свой сборник, может быть, он терпит убытки, так что мне, право, ужасно как перед ним совестно. Я переписала несколько страниц, но остальное оставила до завтра, а сама весь вечер читала «*Corricolo*». Вообще Федя нынче со мной очень нежен и добр, у нас всегда так мирно: иногда мы ругаемся, особенно я называю его дураком, но сейчас расхохочусь, так что и он, понимая, что я его не желаю обидеть, тоже рассмеется, и в ответ тоже как-нибудь обругает. У Феди страшно болит левая рука, так что

\* Исправлено из просто.

он решительно не знает, что с нею и делать. Сегодня 5 месяцев как мы уехали из России.

*Пятница 27/15 <сентября>*. Погода несколько переменилась и хотя совершенно не тепло, но все-таки не такая дурная, как вчера. Сегодня утром я опять пошла на почту, но по обыкновению ничего не получила. Отсюда я решила идти и добиться от кого-нибудь пасчет доверенности, которая меня мучает ужасно, пошла я мимо Palais Episcopal \* и нашла какой-то Hôtel de Ville \*\*. Здесь я спросила у одного жандарма в наполеоновской шляпе, нет ли консула русского здесь, он сходил куда-то узнать, но потом предложил мне пойти в Chancellerie \*\*\* и узнать, говоря, что, вероятно, там мне могут рассказать. Я пошла в Hôtel, это очень старинное здание, с различными каменными лестницами. Сначала я блуждала, но потом кое-как нашла Chancellerie. Зашла туда и нашла какого-то пьяного человека, который меня проводил к другому. Другой, по счастью, не был пьян. Он мне сказал, что доверенность должна быть, во-первых, засвидетельствована им, непременно им, а потом она пойдет на засвидетельствование в консульство в Берлин, что одна их подписей русского подданства не будет действительна, потому что оно их не знает, следовательно, подписи консула необходима. Он мне предложил, если я сама не желаю послать в Берлин, то принести бумагу к нему и он это сделает не больше как в 3 дня. Вообще он был очень любезен, если мне уж непременно придется послать доверенность, то я непременно обращусь к нему, поговорив с ним, я вышла из Hôtel и пошла по какой-то улице, по которой еще никогда не ходила, улица прекрасная, с хорошими магазинами, но не слишком широкая. Заходила я сегодня в один магазин кружев <...> Потом заходила еще в один магазин, где висело серое, довольно светлое платье, как нынче носят. Я хотела спросить только цену, но она заставила меня примерить, и хотя на мне было в это время мое синее простое платье, но оно наделось сверху, и так удобно, что совершенно закрыло синее. Стоит оно 38 франков, но если бы поторговаться, то, вероятно, отдали бы дешевле, это наверно. Но у меня ведь денег этих нет, чтобы купить, так что я очень досадовала, что не имею такой возможности, чтобы приобрести себе платье, мое синее совершенно вышло из моды. Носят такие только одни кухарки, а вот и я принуждена за неимением денег носить такую же дрянь. Когда я воротилась домой, то стала переписывать то, что меня Федя просил переписать вчера, но оказалось, что надо было даже переписать и больше. Федя ужасно спешил, уверяя, что вот из-за меня не придется послать, что мы так давно не посылаем и решительно свалил беду на меня, как будто я была виновата в том, что он больше, чем полгода, не мог написать статью, а тут один день для него стал такой важный, что непременно нужно было окончить сегодня. Я ужасно как торопилась и дописала, но зато мы пошли часом позже обедать и нам подали кушанья почти совершенно холодные. Отсюда мы пошли за конвертами, заходили в несколько магазинов, но такой величины конвертов достать не могли; наконец, после долгих исканий, нашли в каком-то магазине желаемой величины конверты, но зато такие тонкие, что пришлось положить в 2 конверта, адресованные на имя мамы, прося ее передать Аполлону Николаевичу, а он уж перешлет в Москву <sup>53</sup>. Отнесли на почту и там пришлось нам заплатить 6 франков 75 с. Это ужасно как много, да, я думаю, и бедной мамочке придется еще приплатить <...> Потом Федя проводил меня домой, а сам отправился читать. Я все время поджидала его и ужасно жалела, что отпустила читать, потому что сегодня мне го-

\* Епископский дворец (франц.).

\*\* Ратуша (франц.).

\*\*\* Канцелярия (франц.).

ворили, что у него даже днем чуть было не случился припадок. Но он довольно скоро воротился. Он сегодня такой веселый, как и вчера, и я этому очень рада. Вечером он был очень добр ко мне и весел, так заботлив, все укрывал меня одеялами. Милый Федя, право, я его ужасно как люблю.

*Суббота 28/16 <сентября>*. Сегодня утром Федя принялся писать письмо к Эмилии Федоровне<sup>54</sup>. Мне очень хотелось узнать, в чем оно заключается, и потому я предложила, что не оставит ли он мне несколько места, чтобы я могла тоже что-нибудь ей приписать. Он мне сказал, что оставит. Я же сама отправилась на почту, боясь, что может ко мне прийти письмо в это время, когда мы понесем это письмо на почту, и если письмо мамино будет опять нефранкованное, то Федя опять мне заметит, что у нас только на ее письма выходят деньги. По дороге купила сахару и, спеша, воротилась домой. Он все еще продолжал писать, и когда кончил, то я тоже приписала еще целую страницу. Мы сегодня с Федей поспорили. Я его уверяла, что он очень дурно делает, что не напишет ничего Паше, тем более, что он должен знать, что Паше будет очень приятно получить от него письмо, следовательно, его упреки, может быть, совершенно и несправедливы. Но Федя отвечал, что это все пустяки, а что он тогда-то и напишет, когда получит от него письмо. Все мы на этот счет спорили. Потом отправились обедать. Сегодня после 2-х или 3-хнедельного промежутка опять спросили вина. Но я думаю, что это будет иметь дурное влияние на Федю. Потом снесли на почту письмо и заходили в библиотеку, где Федя опять ужасно как долго выбирал книги. Меня это ужасно как рассердило, я это ему заметила, но он отвечал, что нарочно будет как можно дольше выбирать книги сегодня. Я, разумеется, не могла ссориться с ним в библиотеке, но когда мы, наконец, вышли на улицу, то я ему сказала, что ни за что больше не пойду с ним в библиотеку, если он не хотел согласиться на мою просьбу и непременно хотел рассердить меня. Когда мы шли по улице, Федя все подсмеивался надо мной и потом сказал, уходя в читальню: «До свидания», я в шутку отвечала: «Хоть не приходи совсем». Я видела, что это слово на него очень дурно подействовало, он отвернулся и пошел, не оглядываясь. Мне самой было больно, что я это сказала, но делать было нечего. Через час он пришел домой, и так как я лежала на диване, потому что болел у меня сильно бок, то он подошел и с самым веселым видом предложил мне гулять. Я, разумеется, ссориться не стала, и мы собрались, опять заключили мир очень весело. Тут Федя предложил мне переменить «Крошку Доррит», которую я еще не дочитала, и взять какую-нибудь другую книгу. Я, чтобы ему угодить, сказала, что согласна <на это?>, но с тем, чтобы переменить он сам, так как мне вовсе не хотелось заходить опять к этой отвратительной *м-lle Odier*. Он так и сделал. Потом мы долго бродили, ходили по Ботаническому саду, где было очень хорошо, свежо, чисто, никого не было. Когда мы шли назад, то опять остановились у театра, и Федя решил, что нам непременно следует когда-нибудь сходить туда, потому что он мне никаких удовольствий не делает. Я отвечала ему, что это все пустяки, что никаких удовольствий мне не надо, что я уверена, будь у него деньги, то бы сделал, чтобы мне было весело. Сегодня мы все высматривали мне туфли. Федя несколько раз предлагал зайти, но я не хотела, потому что знала, что туфли непременно будут стоить франков 10, если не больше, а ужасно гадких мне брать не хотелось; потому я отговорила его. Долго он все вздыхал и говорил, что даже туфли мне не может купить, видно было, что это его огорчало (но, право, я вполне уверена, что получись у нас деньги, напротив, разговоры были бы не о одежде нам, а о том, чтобы послать деньги в Петербург тунеядцам). Потом мы зашли опять

ЖЕНЕВА. ДОМ, В КОТОРОМ  
ДОСТОЕВСКИЕ ЖИЛИ  
С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ 1867 г.  
(УГОЛ УЛ. ВИЛЬГЕЛЬМА  
ТЕЛЛЯ И УЛ. БЕРТЕЛЬЕ)

Фотография из коллекции  
А. Г. Достоевской

Музей-квартира Ф. М. Достоевского,  
Москва



в другую кондитерскую, и Федя купил мне пирожок (оказался дурной) и какой-то пряник с орехами, но такой черствый, что просто я боялась переломать все зубы.

Вечер опять провели весело, мы нынче очень дружно живем, дружно, как нельзя лучше, и, господи, как бы я была счастлива, если бы это у нас продолжалось долго. Мне кажется, что он действительно меня любит, особенно в последнее время, и что, может быть, я могу и не опасаться теперь, что он полюбит кого-нибудь другого. Вечером мы разговаривали о прежних днях, т. е. о том, как я пришла к нему, как я его полюбила, как была счастлива, что он приехал<sup>55</sup>, и о разных разностях. Вообще очень дружно, мирно разговаривали. Потом, когда у меня заболел бок или начало ноги, то Федя с беспокойством расспрашивал меня, что со мной, и потом укрывал меня одеялом и даже мне принес сам стакан воды, чтобы я не простудила ноги без башмаков или туфель.

*Воскресенье 29/17 <сентября>*. День сегодня хороший, хотя несколько холодный, ходили утром на почту, думали что-нибудь получить, но ошиблись, писем нет как нет. Такая досада. Сегодня по старому стилю 17-е число, и я весь день припоминала день прошлого года, во всех его подробностях <...>

Сегодня и здесь день прошел довольно скучно, ходили обедать, ходили несколько гулять, читали и под конец я залегла рано спать, так что проспала часов, я думаю, не меньше 10, если не больше. Потом вечером, после нашего с Федей прощания, я не могла заснуть, потому что у меня болел живот. Федя был удивительно как ласков со мной сегодня, да вообще и в эти дни, так что я просто не знала, как мне и бога благодарить. Он очень жалел обо мне, просил меня вертеться, сколько мне угодно, если мне от того хоть несколько легче, беспокоился, одним словом, показывал, что он меня очень и очень любит. Господи, как нынче я счастлива, право, я никогда не ожидала и не мечтала, чтобы я могла так тихо и спокойно жить бы с ним. У нас такое согласие, или Федя соглашается, или я, спо-

ров нет, а если случится кому-нибудь рассердиться (большею частью мне), то я обругаю его дураком, но сейчас расхожусь, и он вполне уверен, что я это его назвала вовсе не по злобе, а просто так вырвалось, и что я решительно не сержусь на него. Сегодня написала и отправила к маме письмо с просьбой о деньгах. Вечные просьбы. Господи, когда-то я не буду ее беспокоить.

*Понедельник 30/18 <сентября>*. Сегодня утром я как-то особенно беспокоилась, так мне хотелось получить письмо. Вот я часов эдак в 11 пошла на почту и действительно получила от мамы записку. В ней она мне пишет, что Паша явился в нашу лавку и спрашивает, нет ли на имя Сниткиной из-за границы письма и сказать адрес. Я пожалуй что и уверена, что он, пожалуй, и не посовестится решительно взять себе письмо. Это такой уж человек. Мне это было до такой степени неприятно, что ужас; но я решительно не так поступила, как мне было бы нужно поступить. Именно, идя домой, я расплакалась и сказала об этом Феде. Он по духу противоречия, разумеется, начал заступаться за Пашу. Мне следовало бы сначала похвалить Пашу, тогда бы, конечно, другое было бы дело. Это уж Федя когда-то бы начал бранить его. Мне было досадно на Федею, и так как дома сидеть не хотелось, то я объявила ему, что пойду куда-нибудь гулять в окрестности, взяла с собой книжку по обыкновению \* и отправилась по набережной leх Eaux vives по правому берегу Женевского озера <...> Прошла я деревушку Cologny, которая на половине, и продолжала все идти по берегу, желая дойти до конца мыса, который уже виделся недалеко. Но я вздумала спросить у кого-то, который теперь час, и мне вдруг сказали, что теперь уже 3 часа. Ну, разумеется, я вспомнила, что ведь Федя один не пойдет обедать, следовательно, он теперь сидит и, может быть, очень голодает. Я поворотила назад и через час пришла домой. На наших часах (которые отстают) было  $\frac{3}{4}$  4-го. Федя, давно уже готовый, сидел и ждал меня. Но несколько мне не заметил, только ласково рассмеялся при моем приходе и расспрашивал, где я была. Вообще у него теперь всегда для меня очень ласковая улыбка, он меня ужасно как радует. Потом пошли обедать, а вечером, несмотря на мою усталость, опять гуляли, кажется, в Ботаническом саду.

*Вторник 1 октября/19 <сентября>*. Сегодня у меня страх как была налита голова кровью, просто я решительно не знала, что мне и делать. Начала чинить Феде его сюртук, но должна была несколько раз остановиться, так у меня сильно болела голова. Потом пошли обедать и у меня от воздуха несколько голова <прошла>. Сегодня Федя дал мне 2 полфранка, чтобы я могла себе купить очень мне нужное. Я забыла сказать, что вчера я купила себе кольдкрем на 20 сантимов <...> Сегодня я зашла опять в аптеку и купила себе на 50 с. пудры <...> Вечером, когда Федя воротился из кофейни, он предложил мне пойти с ним на железную дорогу. Я отвечала, что, пожалуй, пойдем. Тогда Федя заметил: «Коли ты согласна». — «На все согласна», — я отвечала. Он вот это согласие мое должен очень ценить, что я никогда ни о чем не спорю, а всегда стараюсь как можно скорее согласиться, чтобы не было ссоры. Федя отвечал, что во мне надо ценить не одно только согласие, а то во мне очень много, что следует ценить и дорожить, что я такая славная. На железной дороге мы узнали опять то самое, что и прежде, и когда шли дорогой, то все разговаривали о том, ехать ли или нет. У нас теперь денег 225 франков, ему следует взять с собой на все 150, остается 75, а счет с кольцами 100 франков; больше же ничего в виду не предвидится, решительно ничего, кроме тех денег 50 рублей, которые может прислать мама, но ведь и это совершенно ненадежно, я ее просила отыскать мне деньги к 1-му ноябрю

или к 15 октябрю, т. е. их стилия, но не раньше, а что будет 27 октября нашего стилия, а теперь только 1-е, следовательно, чем же мы проживем эти все дни, я решительно, право, не знаю. Что же до моих золотых вещей, которые заложены в Бадене, то об этом теперь и говорить нельзя, потому что нечем послать. Я и теперь предлагала Феде, чтобы послать туда деньги, вещи оттуда пришлют, и тогда их здесь заложить, уж если не 120, то по крайней мере 100-то франков дадут. Но он не согласился; что же делать, надо покориться, хотя мне очень и очень жаль, если придется потерять эти вещи, а что придется, так это уж наверно, про это и говорить нечего; я даже предлагала, чтобы Федя теперь выкупил, а что тогда я попрошу маму прислать мне деньги на выкуп и выслать ей эти вещи, чтобы она могла мне их заложить. Но Федя все не хотел, а теперь они и пропали. Ведь я права, и у меня также нет решительно никаких украшений, были только одни эти серьги и брошь, но теперь и их нет. Вот они что значит, подарки-то; а когда я дождусь новых серег, ведь этого уж решительно никогда не будет<sup>56</sup>. Прежде надо будет одеть всю эту поганую орду, а потом уже надеяться себе что-нибудь завести. Надо прежде долги все отдать и этих подлецов успокоить, а тогда только покупать себе вещи. Ах, боже мой, как это все скверно \*, ну да что же делать, разве я думала прежде, что это так будет, ведь должен был сам очень хорошо это знать, следовательно, мне и печалиться об этом теперь решительно нечего. Федя все еще думает отправиться; но так как, когда мы разговаривали, то он заявил даже, что должен выиграть несколько тысяч, то это меня решительно убеждает, что он ни гроша не выиграет, мы опять будет бедствовать. Я не старалась его особенно уговорить ехать, у меня даже есть какое-то предчувствие, что поездка окончится худо, т. е. проигранием. Но что тут делать, ведь его не разубедишь.

Сегодня он начал программу своего нового романа; записывает он его в тетради, где было записано «Преступление и наказание»<sup>57</sup>. После обеда, когда Феда нет дома, я всегда прочитываю, что он такое записал, но, разумеется, ни слова не говорю ему об этом, потому что иначе он бы на меня ужасно как рассердился. Зачем его сердить, право, мне не хочется, чтобы он прятал от меня свои тетради, лучше пусть он думает, что я решительно ничего не знаю, что такое он делает. Понятно, что человеку очень неприятно, если читать то, что он написал нагрязно. Когда мы пришли домой, то Федя сказал, что мы довольно хорошо живем друг с другом, что он даже не ожидал такой спокойной жизни, как здесь, что мы очень редко ссоримся, что он счастлив. Вечером, когда он прощался, то сказал, что если он умрет, то чтобы я его вспоминала хорошим и думала о нем. Я просила его не говорить так, потому что это меня всегда ужасно как беспокоит. Тогда он сказал: «Нет, зачем умирать, разве можно оставить такую жену, нет, для нее нужно жить непременно». Он нынче меня называет «М-ше Достоевская», и я очень люблю это слушать, когда он это говорит. Потом вечером у нас обыкновенно идут разговоры; так, вчера мы говорили о Евангелии, о Христе, говорили очень долго. Меня всегда радует, когда он со мной говорит не об одних обыкновенных предметах, о кофее, да о сахаре, а также, когда он находит меня способной слушать его и говорить с ним и о других, более важных и отвлеченных предметах. Сегодня мы говорили о его прежней жизни и Марии Дмитриевне и толковал, что ей непременно следует поставить памятник. Не знаю, за что только? Федя толковал, что его похоронят в Москве, но так решительно не будет.

*Среда 2 <октября>/20 <сентября>*. Сегодня я хватилась и увидела, что у нас нет чаю, Федя еще спал, а я отправилась покупать чаю, купила по 3 франка за полфунта. Мы брали постоянно по 4 франка, но вот я уж

раз брала по 3, и он оказался такой же, какой и в 4. Потому я решила брать по 3. По дороге я зашла и спросила в магазине себе иголок. Мне показали маленькую коробочку с 4-мя бумажками иголок, 5, 6, 7 и 10 номеров, т. е. иголок должно быть 100, если не больше, и вся эта коробочка стоит 60 с. Это очень недорого. Я купила себе. Теперь у меня иголок будет, право, на целый год, если не больше. Потом купила себе пуговиц белых 2 дюжины по 20 с. за дюжину и наконец купила себе воротничков французских, вместо 60 с. за 50, но они оказались короче прежних. Вообще я очень рада, что могла себе завести, все-таки у меня уж давно не было иголок, и пуговиц, и я все не могла собраться купить себе их. Сегодня отличная погода, и я вздумала отправиться опять гулять, как прежде; Федя меня отпустил, убеждал беречься. Когда я вышла, то он долго стоял у окна и смотрел, как я иду, и кланялся мне <...> У всех прохожих я расспрашивала дорогу, и наконец дошла, решительно несколько не устав, до местечка Chêne. Так как было уже довольно поздно, и я знала, что Федя ждет меня обедать, то я, не осматривая Chêne, пошла к станции здешней конной железной дороги. Села в дилижанс. Взяли до города 20 с. Это очень мало, взяв во внимание длинное расстояние от города. В дилижанс, кроме меня, села еще одна дама, которая мне рассказала, как проехать на гору Grand Salève — огромную каменную гору, которую мы постоянно видим перед глазами. Выйдя из дилижанса, я поскорее пошла домой, и пришла, кажется, в половине 4-го, страшно запыленная и голодная, Федя уж меня дожидал давно и несколько не выбранил, что я его так долго заставила ждать обедать. Пошли обедать, потом Федя пошел в кофейню, а я воротилась домой и отдыхала. Федя принес мне книгу «Последний из могилок», великолепную вещь Купера, которого я еще совершенно ни одного романа не читала. Вечером мы ходили немного гулять, потом пришли, и так как я была несколько сегодня нездорова, то Федя был еще внимательнее ко мне, чем всегда.

У меня сильно налились груди, Мама писала, что на 5-м месяце появляется молоко, должно быть теперь оно и появилось. Но груди сделались очень велики и как-то болят, т. е. зудят, чешутся и горят. Федя был очень, очень мил ко мне, и когда я как-то подошла к нему, то поцеловал меня в живот и сказал: «Вот тут Сонечка или Миша, мои милые». Он очень меня любит, это видно, он говорит, что очень любит Сонечку и так желает, чтобы все это кончилось благополучно. Вечером, когда он пришел прощаться, то, увидев груди, ужасно начал беспокоиться, говорил, что они ужасно как налились, непременно требовал, чтобы я пошла завтра к доктору. Милый Федя, как он заботится обо мне. Право, я так ценю это, так этому рада. Он как-то мне говорил, когда мы легли спать, что он ценит, что я его *единственный* друг, что он ценит, что я его люблю, что я всегда буду его, что это так приятно и хорошо знать, что вот имеешь такого человека, который тебя очень и очень любит.

*Четверг 3 <октября>/21 <сентября>*. Сегодня утром Федя меня убеждал, чтобы я пошла с ним к доктору, но я сказала, что я лучше пойду к М-не Renard, повивальной бабке здешней, чем к доктору, что это решительно ничего и все пройдет. Но сегодня у меня груди опять ужасно как болели, и мне было очень тяжело их носить, так что я должна была надеть корсет, который меня ужасно как стеснял. Утром я решила выйти погулять, сначала пошла на почту, но писем не получила, а потом отсюда пошла в здешний музей Rath какого-то <русского?> генерала Лалетина<sup>58</sup>, женева уроженца, который выстроил этот музей <...> Федя лежал на постели, когда я пришла, и расспрашивал меня, что такое я видела в музее, потом мы пошли обедать, и сегодня нам подали яишницу с тухлыми яйцами, так что мы и не ели и сказали об этом девушке, которая

нам сегодня прислуживала. Потом пошли на рынок; здесь Федя купил фруктов и яблоков (забыла, Федя вчера был так любезен, что принес мне яблоков, зная, что я их люблю, сам же он их не ест). Я до сих пор никогда не едала фиги, и так глупо, что вчера только узнала от Федя, что фиги в высушенном виде есть винные ягоды, которые так хороши. Федя мне предложил как-то одну фигу, я взяла, заплатили 5 с., но когда начала ее есть, то она мне до того не понравилась, что я другую половину и не доела. Читала книгу и сидела у окна, ждала Федю, когда он придет, и от нечего делать пела песни, т. е. укачивала Соню или Мишу различными колыбельными песнями. Я нынче о них только и думаю, и все представляю их в разных видах, то очень маленькими, то подрастающими, то даже большими, и так, право, счастлива, что и сказать трудно. Пришел Федя, и мы пошли опять гулять. Дорогой Федя мне все рассказывал о том, что он прочитал в газетах, как это он мне всегда делает, так что и я все знаю, что такое случается в России. Мы много ходили, но было довольно холодно и я просила воротиться домой. Потом, так как у меня груди продолжали болеть, то я легла спать, потом Федя меня разбудил прощаться, говорил что он меня ужасно как любит, что он будет тогда очень счастлив, если я такая буду всегда, что тогда он будет награжден не по заслугам. Я сказала ему, что он теперь по утрам стал гораздо ласковее, чем прежде, он отвечал, что разве с тобою можно быть не ласковым, ведь ты всех побеждаешь, всех покоряешь своим обращением. Потом ночью, когда уже лежали в постели, *сказал, что он никогда еще никого так сильно не любил*, как меня и Соню. Вот того-то я всегда и дожидалась, вот этих-то слов, потому что мне всегда хотелось, чтобы он сам сознался, что я доставляю ему счастье, что он никогда не был так счастлив, как со мною, и чтобы это убеждение, что он любит меня больше, чем всех, вошло ему в кровь и плоть, чтобы он был сам совершенно в этом уверен. Вот тогда я буду довольна и счастлива. (Я все забывала записать, что так как Феде нынче кажется холодно, то мы купили дрова, целую корзину небольших полешек за 2 франка 35 с. и теперь каждый вечер топим понемногу.) Но вот какое неудобство, у нас постоянно дым в комнате, так что приходится растворять окна, чтобы выпустить дым. Нынче главное занятие Федя состоит в том, чтобы подходить к термометру и смотреть, сколько теперь градусов, он бывает очень утешен, если градусы хоть немного повысились. Смешной, право, этот Федя, так его это занимает. Тепла все-таки я не замечаю, но угар каждый день бывает и голова моя от него очень болит. Сегодня спала очень хорошо, кажется часов 10, если не больше, и все видела какие-то несообразные сны, просто из рук вон какие смешные.

*Пятница 4 <октября>/22 <сентября>*. День сегодня очень хорош, но довольно холодно; у меня с утра болела голова, так что я никуда сегодня не ходила, а сидела дома и шила что-то, Федя каждый раз, когда я прилягу, непременно подходил ко мне, и спрашивал с беспокойством, что со мной, видно, его очень заботит мое положение. Пошли обедать, а оттуда он отправился читать, а я сходила на почту, но по обыкновению ничего не получила и воротилась домой, где стала читать опять «Le dernier des Mohicans». Потом, после кофейни, Федя пришел и предложил мне идти гулять, и хотя было довольно холодно, и я почти дрожала, но мы отправились. Дорогой мы начали говорить о том, ехать ли ему или не ехать. Я особенно сильно не советовала, и когда мы гуляли по Ботаническому саду, то мое молчание даже рассердило Федю и он сказал: «Ведь вот молчит, неужели нечего сказать, или ты \* очень осторожна». Я ему отвечала, что если мы раз решили, чтобы ехать, то пусть он уж едет. Он был в ужасном волнении и очень колебался. Действительно, имею 200 франков денег всего-навсего и не видя ничего больше в будущем, отдать 150 франков,

на которые мы бы могли все-таки прожить несколько времени, к тому же пропадут серьги и моя брошь. Но что же делать, ведь если Федя взял эту мысль в голову, то ему будет уж слишком трудно расстаться с нею. Поэтому отговорить его не ехать почти невозможно; пошли мы разменять 100 франков, купив один фунт кофею за 2 франка и потом воротились домой. Федя сделался необыкновенно ласковый, он уверял меня, что если он и поедет, то будет ужасно как беспокоиться, что такое со мной, что я делаю, уж не случилось ли какого со мной несчастья. Я стала собирать ему чемодан, но он был все еще в нерешительности, ехать или нет. Когда я легла немного полежать и почти уснула, он подошел, чтобы тихо посмотреть на меня и, увидев, что разбудил, ужасно жалел об этом и толковал, что меня очень любит.

Сегодня у нас зашел разговор о том, что если бы у него было 200 тысяч, я сказала, что тогда бы, должно быть, мы очень дурно бы жили, и что я, вероятно, украдала бы эти деньги у него. Он отвечал, что счел бы за счастье дать мне эти деньги, был бы счастлив, если бы я только их взяла. Потом он жалел, зачем ему не 30 лет и нет у него 40 тысяч. Я начала стирать шелковые полоски от юбки и гладить платки, тогда он сказал, что вот тебе бы следовало на креслах сидеть, а я отвечала: «Есть фрукты и пить пиво, вот бы была жизнь-то, а то что теперь». Он говорит, что никогда не забудет, что я теперь стираю и глажу для него, и это в первом же году нашей жизни. Потом, когда я легла спать, то спросила, любит ли он меня. Он отвечал, что любит. — «Так ли как всех?» — «Я не отвечу. Нет, я люблю тебя больше всех, почти так, как любил и люблю покойного брата, а к этому ревновать уж нельзя; нет, даже больше, чем брата; умри ты, мне кажется, я ужасно бы тосковал, все припоминал твое личишко, как ты тут сидела, говорила; нет, мне кажется, что я бы просто не мог даже жить, просто бы умер, так мне было бы тяжело». И эти слова он говорил с видимым волнением. Я видела, что это, должно быть, так и было бы, если бы я умерла. Меня это даже тронуло. «Ты бы, пожалуй, женился бы, и у моей Сони была бы злая мачеха. Пожалуй, и не злая, но к Соне будет злая». «Нет, ты можешь быть спокойна, у твоей дочери не будет мачехи, у нее будет Сонечка \* и то под моим близким присмотром<sup>59</sup>. Но зачем мы говорим об этом, этого и случиться не может. Я сказала, что тогда мама присмотрит за Соней. Он отвечал: «Да, твоя мама, вот кто будет за нею смотреть». Но потом прибавил: «Зачем же мы говорим об этом, какие мы дураки».

Я заснула, и он старательно меня закутал. Это он делает с большим удовольствием, как я вижу; вообще прислуживает мне очень. Как я его люблю, право, еще больше, когда вижу, что он меня так любит. Когда он пришел прощаться, то много и нежно меня целовал, говорил, что рещил, если ехать, то непременно приехать в воскресенье, потому что долго без меня пробыть не может.

«Я жить без тебя не могу, — говорил он, — как мы срослись, Аня, и ножом не разрежешь, а еще мы расходиться иногда хотим, ну, где тут расходиться, когда друг без друга жить не можем». Потом уже в постели он говорил: «Вот для таких, как ты, и приходил Христос. Я говорю это не потому, чтобы любил тебя, а потому что знаю тебя. Вот будет еще Соня, вот будет 2 ангела, я себе представляю, как с нею будешь, как это будет хорошо». Потом он много меня просил, чтобы я берегла его Соню, его дочку, называл меня мамашей. Я теперь знаю, что Федя чем дальше, тем больше начинает меня любить, и вполне уверена, что при ребенке его любовь будет ко мне еще больше. Господи, как я счастлива! Я так счастлива, так счастлива, как никогда и не надеялась быть. Право, у других всегда бывает, что после года супружества муж и жена становятся холодней и холодней друг к другу. Авось бог поможет, что у нас не будет



ЖЕНЕВА. ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛИ ДОСТОЕВСКИЕ

Фотография с надписью А. Г. Достоевской: «Дом в Женеве, rue de Mont-Blanc. В 1868 г. здесь жили Ф. М. Достоевский и здесь же родилась его старшая дочь София»  
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

так, авось у нас любовь будет укрепляться, и чем дальше, тем больше, как я бы была счастлива, если бы мне удалось хоть бы сколько-нибудь украсить его жизнь. У него так было мало радостного в жизни, что хоть под конец-то ему было бы хорошо. А я уверена, что если он будет меня любить, то я несколько не изменюсь к нему, да даже если он меня и разлюбит, то врядли я переменюсь. Федя просил меня разбудить его в 7 часов завтра утром.

*Суббота 5 <октября>|23 <сентября>*. По Федькиной просьбе я разбудила его в 7 часов, и первое слово, которое он мне сказал, это было: «Кажется, это нелепость», т. е. говорил это он про поездку. Но однако встал, хозяйка сварила нам кофею. Он начал собираться. Я тоже решила проводить его на машину. Рассказал он мне свой сон, видел какую-то отроковицу, знакомую Соловьева<sup>60</sup>, и видел еще брата. А это очень дурной знак, потому что всегда, когда Федя видел брата, то непременно бывала какая-нибудь неудача, ну, а на этот раз неудача о(че)ви(дна). В половине 9-го мы уже вышли из дому и пришли туда задолго до прихода поезда. Федя взял билет 2-го класса, стоит 10 франков 40 с., а взял он с собою 148 франков, оставив у меня 55 франков. Какой здесь смешной обычай: например, в залу, где ждут, пускают только тех, у которых есть билеты, а провожающих не пускают. Зала вся разгорожена, точно конюшня, и билетами означено, где место 1-го, а где 2-го и 3-го классов. Что это за пустяки, точно провожат(ые) <не найти?> могли залу или перепутать. Федя, разумеется, и не пошел в залу почти до самого звонка, но потом, желая занять себе хорошее место у окна, пошел в залу, а я оставалась дожидаться у двери. Уйти мне не хотелось, хотела ждать, пока не уйдет поезд. Но положение мое было преглупое. Стоять у двери и не знать, уйти или нет. К тому же, я очень боялась, чтобы Федя на меня не

рассердился, зачем я дожидаюсь. Наконец, он подошел к двери и сказал, что теперь я могу уйти домой. Я простилась с ним и отправилась, но все-таки еще не домой. На дебаркадер выходить не позволяют. Здесь уж такой обычай. Я обошла двором, но и здесь попался какой-то человек, который сказал, что дальше идти нельзя, а если я хочу остаться, то пусть посижу у будки и увижу, как пойдет поезд. Я села на скамейку и ждала минут 10. Когда поезд тронулся, я встала и тут увидела Федю. Он видел меня тоже, начал мне раскланиваться, снимает шляпу и машет рукой. Он, кажется, был очень доволен, что я не ушла. Он раскланивался до тех пор, пока поезд не скрылся из виду. Шел небольшой дождик и было страшно холодно, решительно как зимой.

Я пришла домой, думая согреться чаем, но оказалось, что наша предупредительная хозяйка уже убрала чай. Делать было нечего, спрашивать стыдно, и я решила как-нибудь так согреться. Потом начала шить свою юбку и все старалась как-нибудь продолжить время. Наконец, часу эдак в первом я вышла из дому, сказав нашим хозяйкам, что пойду обедать, потому что сегодня очень рано встала. Пошла сначала я на почту, но писем нет, оттуда, несмотря на холод, решилась пройтись несколько раз по улицам, чтобы выгадать время и не подать повода старухам думать, что я не обедала сегодня. Зашла в Palais Electoral на выставку цветов и плодов <...> Потом отправилась покупать себе что-нибудь съест(н о е). Зашла в колбасную и там спросила про пирог с говядиной. Оказалось, что стоит 1 франк за фунт. Мне она свесила один и вышло 1 франк 30 с. Я взяла. Потом решила, так как этот пирог мне на два дня, то следует купить еще чего-нибудь. Купила сыру на 25 с., больше чем полфунта, довольно порядочного, 3 яблока за 10 с. Следовательно, весь мой обед за 2 дня обошелся мне 1 франк 65 с. и самое многое обойдется 2 франка. Это все-таки выгодней, чем платить по 2 франка в день. Пришла домой и начала обедать и, право, так хорошо пообедала, просто чудно, одно было жаль, нечем было записать. Потом я сходила к хозяйке и забыла, что она спит в 4 часа, просила сделать мне кофею. Она мне и сделала, и я пила черный кофею, потому что сливки все вышли утром. Выпила с горя я 3 чашки и несколько согрелась, потому что холод был ужаснейший. Потом принялась читать, оканчивать 4-ю часть «Могикан». Сегодня непременно надо отнести и взять что-нибудь другое, потому что завтра воскресенье, следовательно, все будет заперто. Но как я ни спешила, а едва могла дочитать до сумерек, так что последние страницы читала почти невнимательно, позже же боялась идти, потому что, очень может быть, мог кто-нибудь пристать, а так как Федя теперь дома нет, то, следовательно, и заступиться некому. Взяла я в библиотеке 2 части романа Бальзака «César Birotteau». Хозяйка говорит, что это хорошая вещь, не знаю, очень может быть. По дороге купила себе катушку черных ниток за 18 с., дали 2 с. сдачи, я еще никогда не видела этой монеты, нужно ее будет сохранить. Пришла домой и просила затопить печку, а то было уж слишком холодно. Мадам это сделала и очень мне надоела, и весь вечер приходила то за тем, то за другим, и все уверяла, что Федя придет сегодня и что, следовательно, следует сделать постель. Чтобы скорее прошло время, я начала опять шить, но все-таки было так скучно, право, до крайней степени грустно все, что не знала, за что мне и приняться, даже от скуки принялась гадать, но сколько раз ни гадала, все выходило, что будет <неудача?>. Да это и без гадания видно: я вполне спокойна именно потому, что заранее уже уверилась, что из этого ничего не выйдет, что это будет пустая попытка, что мы вовсе не так счастливы, чтобы что-нибудь выиграть, а главное, если и выиграем, то выигранное удержать здесь, а потому заранее уверившись, что проиграем, я так и спокойно смотрю на все это. Что он проиграет, то это так вероятно, что я готова просто

голову отдать на отсечение, до такой степени это вероятно. Завтра утром надо будет послать ему письмо, но, пожалуй, оно его и не застанет, потому что, вероятно, он сегодня уж успеет все проиграть (да и проиграть-то ведь немного, всего-навсего 100 франков, самое большое), а следовательно, он и отправится завтра утром в 11 часов и будет уже дома в 6 часов вечера. Но на всякий случай отправлю ему письмо, чтобы самой успокоиться. Он тоже обещал написать мне сегодня. Напишу записочку, чтобы я могла послать ее завтра. Но чтобы моя записка пошла завтра утром, следует ее очень рано принести на почту, а потому я и думаю отправиться на почту эдак часов в 8, если не раньше, чтобы если надо, принести ее на железную дорогу.

*Воскресенье 6 <октября>/24 <сентября> <...>* Получила письмо от Феди. В нем он пишет, что с ним случилась история, именно, что он пропустил сойти Саксон, а вышел в Sion, так что еще сам не знает, что из этого выйдет, а написал мне в 6 часов вечера <sup>61</sup>. Впрочем, он мне писал, что, вероятно, придет сегодня, и я думаю идти его встречать на железную дорогу в 6 часов. В письме он меня просит очень беречь Соню, целует меня, и мне кажется, что действительно он ее очень любит, дай-то бог, как я буду рада, когда она у меня будет, просто и сказать трудно. Потом гуляла несколько времени и прошлась на железную дорогу узнать, в котором часу приходит поезд; по дороге купила себе винных ягод. Здесь фунт стоит 50 с., это довольно дешево, купила полфунта за 25. Пришла домой, но часы ужас как тихо идут, до кофею дожидаться долго, я решила пойти посмотреть, как будут пускать шар, отправилась, но потом как прочитала, то оказалось, что шар полетит ровно в 4 часа, а это было всего только половина 3-го, я ходила несколько времени по католическому кладбищу, но все-таки мне ужас как надоело <...> Так я и не дождалась, когда пустят шар, пришла домой, напилась кофею. Немного спустя я видела из окна, что на небо смотрели, следовательно, шар полетит; вдруг множество народа побежало ужаснейшим образом; и я, чтобы убить время, тоже пошла, думая, что, может быть, для моего удовольствия и шар упал где-нибудь на улице, я поспешно вышла, прошла 2—3 улицы, но шара нет, а народ все бежит и бежит, да идет все за город. Ну, уж туда я и не пошла, что мне там делать. Написала я письмо к Сонечке <И в а н о в о й>, надо будет послать. В 6-м часу пойду на железную дорогу встречать Федю, хотя он мне и не велел, но я знаю, что он будет мне рад, если я приду <...> Федя, вероятно, сегодня придет и уж, разумеется, проигравшись как только возможно, иначе и быть не может. Я буду очень рада, когда он вернется, одной тоска страшная, когда вспоминаю, что денег-то у нас решительно нет. Ходила на железную дорогу. Пришла чуть ли не за полчаса. Поезд приехал, но Феди нет. Тогда мне пришло на ум, не вздумал ли он мне прислать письмо, и вот я тихим шагом отправилась на почту, чтобы дать возможность письму прийти раньше меня. Шла я очень тихо и осторожно, чтобы как-нибудь не ушибиться. Но на почте письма нет. Пришла домой, у нас было очень тепло. Но мне сделалось до такой степени грустно, что Феди нет, что просто ужасно. Делать мне ничего не хотелось, все было скучно, и я решительно не знала, как и быть. Я думаю, он поехал на вечернем 5-часовом поезде, но должен бы был ночевать в Лозанне, потому что оттуда последний поезд идет только в 6 часов, следовательно, должен ждаться до 8 часов утра. Если это так, то, как я думаю, ему досадно остаться ночевать в Лозанне; должно быть даже у него и денег нет, вот это хорошо будет, денег нет, а ночевать где-нибудь да надо. Бедный Федя, как мне его жаль <...> В 11 часов я легла, но не могла заснуть до половины 12-го. Ночью проснулась в половине 6-го и уж спать больше не могла. Так пролежала в постели до 7 часов. Потом встала, попросила мне сде-

лать кофею, потому что сидеть так, ничего не пивши, тоже нехорошо. Не знаю, придет ли Федя сегодня утром. Я пойду его встречать и встречаю непременно.

*Понедельник 7 <октября> / 25 <сентября>*. Утро сегодня тревожное, я решительно никак не могла дожидаться, когда, наконец, придет 10 часов, чтобы я могла идти его встречать <...> Ровно в 10 часов вышла из дому, но пришла на машину все-таки рано. Пришлось ждать с полчаса. Наконец, поезд пришел. Я стояла у двери и смотрела, не идет ли Федя. Давно народ уже прошел, так что я почти была уверена, что Федя сегодня не приехал, как вдруг он показался у двери с страшным расстроенным лицом. Я сейчас поняла, что это значит полнейшая неудача. Он был чрезвычайно бледен, как-то измучен и расстроен, сначала он меня не видел, но потом приметил и с радостью подал мне руку. Мы вышли, и я начала его утешать. Он мне говорил: «Вот беда-то какая, вот беда. Видишь, что у меня даже пальто нет, там оставил, хорошо, что еще теперь тепло, а я бы мог простудиться». Мы вышли из вокзала и пошли, он держал меня за руку. Я стала его утешать, но он говорил: «Нет, ведь у меня было 1300 франков, в руках было 3-го дня, я велел себя разбудить в 9 часов, чтобы ехать на утреннем поезде, подлец лакей недумал меня будить, и я проспал до половины 12-го. Потом пошел в вокзал и в три ставки все проиграл. Потом заложил свое кольцо, чтобы расплатиться в отеле. Потом на остальные тоже проиграл. Потом узнал на железной дороге, в котором часу пойдет поезд, сказали в 5, нужно остановиться ночевать в Лозанне, а у меня всего было 12 франков, разве возможно было ехать, я отыскал какой-то пансион. Там заложил свое пальто за 13 франков, мне предложили у них остаться, дали мне маленькую скверную комнату, где я всю ночь не мог уснуть, потому что в соседней комнате какая-то собака визжала и выла все время, и ее били; потом в 4 часа меня разбудили и я отправился в Женеву». Он сказал, что даже во 2-й раз, когда он пошел с деньгами, полученными от заложенного пальто, и тогда он отыграл даже 70 франков, но потом опять стал ставить по 5 франков и в несколько ударов все кончилось. Он был в страшном отчаянии, мне было тоже горько, и хотя я его и утешала, но мне было так тяжело, что я просто не знаю готова была что сделать. Я даже почти не слушала его, не могла понять, что он такое говорит, так меня это поразило. Ведь вот, подумала я, давалось счастье в руки, сам виноват, если не мог привезти домой выигранного. (Я про себя вполне уверена, что лакей его разбудил во время, что ему самому не захотелось приехать. Тут явилась мысль, что вот, дескать, я непременно выиграю не только что одну какую-нибудь тысячу, а уж наверно 10 тысяч, чтобы благодетельствовать всех, ну, разумеется, дикие мысли пошли, вдруг разбогатеть, вот и пошел и в 3 удара все проиграл<sup>62</sup>. Я спросила его: «Я ведь писала тебе, чтобы ты прислал мне 200 франков, а там на остальное мог бы рисковать, сколько угодно, почему ты этого не сделал?» Федя и тут нашелся сказать, будто бы там почта заперта утром, потому он не мог отправить). Но это тоже неправда. Я этому ни капельки не придаю веры, больше ничего, пошел, чтобы было с чем большим играть. Нет, я этого решительно не понимаю. Как! Знать, что дома всего-навсего 40 франков, что следует неизвестно откуда достать деньги, что достать решительно нельзя, и вдруг, выиграв так много денег, не послать 200, 300 франков, зная, что это меня сильно как успокоит, и вообще даже в случае проигрыша может нам очень помочь. Мне нисколько, право, не досадно и проигрыш 1000 франков, но ужасно больно за те 300 или 200 франков, которые я просила прислать. Господи! Как я много на них надеялась. Во-первых, что для меня главное, не следовало бы посылать мне письмо к маме, опять ее бедную, несчастную беспокоить и тревожить, прося, чтобы она нам непременно отослала хоть

сколько-нибудь денег, 125 рублей. Боже мой, что бы только я не дала, чтобы не просить ее, не беспокоить моего бедного ангела, мою бедную старушку. Как мне это больно, как я и представить себе не могу, так мне это тяжело. Во-вторых, надо опять будет писать и кланяться у Каткова, человека, который нас так много обязал и просить которого теперь от меня, несмотря на то, что я его решительно не знаю, очень грустно и тяжело<sup>63</sup>. Таким образом, как я уже сказала, я ушла домой с ним под руку и решительно ничего почти не слушала, что такое он говорил. Я была так сильно поражена, что только и думала, как бы нам дойти домой и мне сестре в постель, уткнуться головой в подушки, чтобы как-нибудь да забыться.

Старухи наши встретили Федю радостно. Я просила, чтобы они сделали опять чаю и кофею, и пока они это приготовили, я сидела и разговаривала с Федей, все утешала его, но самой было так тяжело, так сильно тяжело, как никогда. Правда, мне еще никогда не случалось так тосковать, даже в Бадене при наших огромных проигрышах я вовсе не так сильно тосковала, как тут<sup>64</sup>; раз у меня слезы были на глазах, Федя начал меня просить не плакать, и я постаралась, конечно, успокоиться. Старуха принесла чаю и кофею, который оказался нехорош. За кофеем мы с Федей все говорили, и он мне рассказывал о своей поездке и уверял, что он поедет непременно еще раз. Тут мы рассудили с ним, что теперь делать и у кого просить денег. Решили просить опять у Каткова 500 рублей и просить его высылать эти деньги каждый месяц по 100 рублей, а кроме этого просить выслать 60 рублей в Петербург Майкову, чтобы он их выдавал Паше. Тут Федя решился еще написать письмо к Яновскому<sup>65</sup> и просить у него 75 рублей, а я между тем попрошу у мамы 50 или по крайней мере 25. Вот этими-то деньгами и жить. У нас же наличными было всего 49 франков, но так как Федя заложил в Саксон пальто за 13, а кольцо за 18, то это следовало выслать и непременно сегодня для того, чтобы вещи не могли пропасть. Мне хотелось чем-нибудь непременно развлечься, и я предложила Феде сейчас написать письма и я сейчас отнесу на почту письма, он это сделал, сам лег полежать и боялся припадка, приближение которого он чувствовал, просил меня поскорее отнести на почту. Кольцо было заложено у M-me Dubuc, а пальто в пансионе Orsat. Я отправила mandat \* и, получив на почте письмо, которое вчера Федя адресовал мне, с горечью прочитала его. Господи, как мне жизнь была скучна сегодня, как мне все это надоело. Я не знаю: ведь я, кажется, предчувствовала, что Федя ничего не выиграет, что эти 150 франков пропадут, даже ведь они бы для нас особенно не помогли, довольно было бы только на 2 недели, а там все равно пришлось бы просить у мамы, но я почему-то надеялась, что Федя выиграет те 150 франков, это было бы 200 рублей, и, следовательно, хоть на несколько времени, а мы были бы спокойны. С горечью шла я домой, но пришла и нашла, что Федя лежал на постели, думая заснуть, потому что всю эту ночь он не спал (собака спать не давала) и ужасно как мучился мыслью, что все проиграно, и что теперь следует делать. У нас всего-навсего 17 франков, больше ничего нет, придется опять вещи закладывать, опять эта подлая необходимость.

Пошли обедать, день ужасно грустный, ничего не могу делать, все меня давит мысль, зачем он мне не прислал 300 франков. Ну уж пусть бы эта 1000 пропала, что за важность, я на них и не рассчитывала, но вот эти-то, эти-то 300, как бы я была теперь счастлива, могла бы что-нибудь себе приобрести из одежды, а то у меня ничего нет, так много нужно, а нет денег, чтобы купить. От обеда Федя пришел домой и лег спать, а я предложила ему, что я пойду и заложу свои рубашки (собственно говоря, рубашки я не закладывала, а у меня были скоплены деньги, 12 франков, вот я и

\* почтовый перевод (франц.).

решилась их выдать за деньги, полученные за рубашки, чтобы потом, когда у нас будут деньги, получить их назад. В случае нужды опять их дать Феде или дать в виде полученных от залога платьев, потому что мне так больно закладывать мои платья, просто ужас). Пока он спал, я сходила на почту и отнесла маме письмо, в котором умоляла ее непременно прислать мне 25 рублей, откуда она хочет их взять, да прислать. Когда Федя проснулся, я отдала ему деньги, 12 франков, и сказала, что взяла на месяц. Вечер прошел ужасно грустно, до невыносимости грустно, тоска страшная, и одна мысль терзает меня, все постоянно одна только мысль о проигрыше приходит мне на ум, от нее я решительно не могу отвязаться, вот опять, думаю, надо написать и умолять Каткова, опять унижаться, опять злоупотреблять его к нам добротой; ведь он нас хорошенько не знает, он может о нас подумать, как о людях, которые неблагодарны и злоупотребляют его доверенностью к нам.

*Вторник 8 <октября> / 26 <сентября>*. Ночью в 10 минут 3-го я почему-то проснулась и вдруг услышала, что с Федей сделался припадок. Мне показалось, что он был мал, но Федя говорил мне после, что он себя очень дурно чувствовал и, следовательно, припадок был из сильных. Через 10 минут Федя уже пришел в себя и говорил со мной, но очень долго не мог припомнить, что это такое за Саксон ле Бен и где он там был. Это его очень мучило, что припомнить он того не может, наконец, кажется через полчаса, кое-как насилу припомнил. Потом мы заснули, он предложил, не хочу ли я заснуть у него на постели, я легла, но он спит ужасно как скорчившись и все ударял меня коленями в живот. Я очень боялась, что засну, а он во сне толкнет меня и я могу слететь с постели. Я только что капельку заснула, как действительно он меня довольно сильно толкнул, тогда я перешла на свою постель<...> Господи! какой опять сегодня день был грустный, я только о том и молила бога, чтобы как-нибудь день поскорее прошел, такой он был мрачный и скучный, и все одни только печальные мысли приходили на ум.

День был дождливый, тоскливый, Федя от обеда пошел в кофейню читать газеты, а я, несмотря на дождь, отправилась на почту и получила там письмо от мамы. На этот раз оно было франкованное, мама извинялась, что писала, не франкуя, сказав, что Маша сказала, будто бы эдак скорее доходит. Милая мамочка писала, что она стала очень старая и очень поседела, бедная моя старушка, как мне ее стало жалко. Я была очень рада письму и, придя домой, опять прочитала его. Тут только я заметила ее выражение насчет доверенности, меня это так сильно поразило, что я ужасно как расплакалась и очень долго плакала. Вообще как вчера, так и сегодня я ужасно как раздражена и расстроена, все меня волнует, все меня мучит, так что я весь день вчера и сегодня плакала; особенно на меня письмо это подействовало, так что я плакала, кажется, с час. Пришел Федя, я ему сказала про письмо и сказала, что оно для меня живой упрек; потому что я должна была пожертвовать собой, что я обязана была жить с нею, а я ее бросила и за то мне и счастья не будет. Федею это несколько обидело, хотя я вовсе не хотела его ничем обижать. Потом я прочитала ему письмо, в котором мама говорит, что она так была рада получить его драгоценное письмо<sup>66</sup>. Это его польстило. Вечером он меня бранил, зачем я не иду к бабке, говорил, что этого он понять не может, что ребенок через это может умереть, что это вовсе я его не люблю, и ужасно настаивал на том, чтобы я пошла к доктору. Я ему отвечала, что потому только не иду, что у нас денег нет, а что я бы и сама желала успокоиться и увериться, что все идет благополучно. Вечером я несколько спала, потом после чаю, когда я лежала в постели, Федя мне рассказывал про свою прежнюю жизнь, про Марию Дмитриевну, про ее смерть. Она умерла в 6 часов вечера, он



из комнаты, для этого велела отворить окна и двери и стала выгонять чертей. Послала за Александром Павловичем<sup>69</sup>, который уговорил ее улечься в постель. Она послушалась, потому что обыкновенно его чрезвычайно как слушалась во всем. Говорил мне, что она ужасно не любила свою сестру Варвару, говорила, что она была в связи с ее первым мужем, чего вовсе никогда не было<sup>70</sup>. Говорил, что она ужасно дурно жила с своим первым мужем, что тот ее выносить не мог. Рассказывал о Варваре Дмитриевне, как она умерла, она была любовницей какого-то начальника парада Комарова<sup>71</sup>, которого ужасно любила, но который стыдился ее; ей нужно было ехать в Самару, чтобы лечиться. Она по совету Феи отправилась, но он ее дурно принял, а она была горда и тотчас приехала назад в Петербург, а здесь через 3 недели и умерла. Третья сестра, Софья, живет с каким-то генералом Яковлевым, тоже не замужем<sup>72</sup>. Четвертая, Лидия, где-то в Астрахани. Вообще он мне очень много рассказывал о них. Сегодня весь вечер Федя просидел за письмом к Каткову<sup>73</sup> и просил меня выслушать письмо и сказать, как я его нахожу. Федя обыкновенно мне показывает письма к Каткову, т. е. деловые письма. Я сказала, что по-моему письмо хорошее, что ничего не следует ни переписывать, ни уменьшать.

*Среда 9 <октября> / 27 <сентября>*. Утром Федя, несмотря на то что был несколько нездоров, отправился часов в 12 закладывать мое кольцо, но не застал того дома и скоро воротился. Так мы дождались до 3-х часов, и когда пошли обедать, то я подождала его на площади, а он отправился к закладчику. Я все время ходила по площади и это продолжалось довольно долго, так что мне под конец даже надоело. Пришел Федя, сказал, что за кольцо дали 10 франков, но в мантилье отказали, сказали, что они не принимают таких вещей, а рекомендовали, если хотим, то принести к какому-то Clère \*.

В гостинице, где мы обыкновенно обедаем, спросили сегодня, что такое значит пансион в 50 франков, как у них означено на стене. Он отвечал, что это 2 раза в день <еда?> по 4 кушанья, но сказал, что если мы здесь останемся, то можем поговорить с его хозяйкой и она, вероятно, уступит. После обеда оба отправились на почту, чтобы отнести письмо к Каткову. Федя сегодня его несколько переменял, и когда окончательно написал, то предложил мне прочесть его, что я, разумеется, и сделала с радостью. Сегодня же он начал писать и к Яновскому. Отдав письмо, я предложила идти узнать у какого-нибудь сержанта, не знает ли он о жительстве какого-нибудь закладчика. Федя согласился, отправился домой, а я пошла в Grande rue, потому что там видела сержантов <...> нашелся привратник, который указал мне, что следует идти в отделение полиции. Пришла быстро туда, нашла несколько расстрепанных чиновников, которым рассказала, что мне нужно, но один отсылал к другому. Наконец привели к начальнику полиции, порядочной физиономии человеку; он очень вежливо предложил мне стул и начал рыться в книгах, но никак не мог найти; потом объявил, что если мне угодно, то ко мне пришлют закладчика, только бы я сказала свой адрес. Я имела глупость сказать, потому что рассудила, что лучше пусть придет на дом и посмотрит, чем ходить по городу с узлом и носить самой мои платья. Обещал прислать сегодня или завтра. Я поспешила домой, чтобы сказать об этом Феде, так он спрашивал, это у меня, да, может, забыл. Но когда сказала Феде, что придет он к нам, Федя вдруг вздумал объявить, что это ужасно, что это значит себя афишировать, что значит объявить всему городу, рассказать всем, что теперь это известно полиции и пр. и пр., вообще говорил разные пустяки. Я ему сказала, что если это ему так неприятно, то я схожу опять туда и скажу, чтобы не присылали. Федя еще сильнее рассердился и сказал, что это я говорю со злости. Я говорила очень тихо, но он уверял, что я на него кричу, тогда я дей-

ствительно раскричалась. Положим, я тут была сильно виновата, что кричала, но что же мне было тут делать: я так сильно раздражена в этот день, мне так тяжело от всего этого, что мне, право, можно было простить мой гнев. Тут я его обругала дураком и болваном. Он сначала лег в постель, но потом у него стали сильные боли в сердце и он встал, потому что боялся лежать. Я сейчас же опомнилась и пришла, начала просить у него прощения. Но он ни за что не хотел простить. Право, это было очень жестоко <ко мне?>, ведь нужно же взять и то во внимание, что я теперь очень нездорова и что, наконец, такие вещи и меня могут теперь расстраивать, как будто мне не тяжело <идти?> закладывать свои вещи, которые так дорого стоили маме и которые так легко могут пропасть. Федя ужасно как обиделся, что я его назвала дураком, до того обиделся, что даже заплакал и плакал несколько времени. Это уж было для меня слишком больно, видеть его слезы. Но я постаралась с ним примириться.

Когда он лег спать, я села писать письмо к маме, опять прося у нее денег; хотела я отнести письмо сегодня на почту, но не могла этого сделать, потому что боялась, что придет наш закладчик и не застанет меня дома, а Федя будет спать. Так он проспал от 6 до 9 часов, когда, наконец, я его разбудила. После чаю я тоже легла заснуть и спала часа 2. Федя все время ходил по комнате, и когда я, наконец, проснулась, то он начал меня бранить, зачем я его оставила, зачем не говорю, объявил, что я и сплю-то просто от злости. Все это было ужасно несправедливо: легла спать я вовсе не от злости, а потому что была нездорова, а говорить с ним боялась, потому что все ему не нравилось и на все он сердился. Но под конец мы все-таки с ним примирились <...>

*Четверг 10<октября>/28 <сентября>*. Сегодня я проснулась, взглянула на часы и увидела, что мы проспали сегодня до половины 11-го, чего с нами почти никогда не случалось. Я поспешила разбудить Федю, потому что мы ждали закладчика, потом пошли сказать старухам, чтобы они сделали кофей. Когда я пришла к ним, то они мне сказали, что приходил за товаром какой-то господин уж 2 раза, и обещал прийти в 3-й в 11 часов и спрашивала, к нам ли это. Я отвечала, что когда придет, чтобы привели его к нам. Мы сейчас оделись и к 11 часам были готовы. Федя все тревожился и представлял, как это нам стыдно, что вот придет к нам закладчик, что все об этом узнают, о, какой стыд, что мы афишированы и что теперь весь город будет знать, что мы закладываем наши вещи. Вообще говорил мне, что я думаю больше, чтобы его сердить и тревожить, мучить, зачем я пригласила его прийти. Наконец пришел этот господин, осмотрел наши вещи, 2 мои платья и мою черную кружевную мантилью, и сказал, что, если угодно, то он даст 50 франков, но больше дать не может: что здесь все ужасно дешево дают и что нам же будет легче меньше заплатить, чтобы получить эту вещь назад. Это все они говорят, не понимая одного, что когда получим деньги, тогда все равно будет, больше дать или меньше. Но за такую малую сумму мы отдать не могли, а потому сказали, что поищем другого. Он обещал прислать другого какого-то господина Dupuis, но так как нам не хотелось, чтобы наши хозяйки знали, то мы просили не присылать, а просто сказать адрес; он нам и сказал. Когда он ушел, Федя начал говорить, что мы осрамились, что теперь все знают, что мы закладываем, что нас уважать не станут, так что даже сделалось ужасно больно и обидно. Ведь он же сам довел до того, что пришлось закладывать мои же платья. Зачем было доводить до такой бедности, а тут при этом горе он начинает еще тревожить меня. Когда закладчик ушел, я сходила на почту и узнала, что из Саксон пришли 2 вещи, т. е. Федино пальто и кольцо, но отдать они мне не могли, а просили, чтобы пришел сам Федя. Я воротилась домой и сказала Феде. Тут у нас как-то зашел разговор, и когда он меня

начал опять упрекать, зачем я позвала этого закладчика, и говорил, что мне, вероятно, приятно ходить закладывать, что, вероятно, мне не стыдно, то я отвечала, что мне даже потому неприятно, что это мне случилось в первый раз, что прежде мне никогда так не случалось делать, а, следовательно, о приятности не может быть и речи. Тогда он мне сказал, что нам между собой нечего гордиться состоянием, что и я ничего не имела. Мне это было до такой степени обидно слышать, что я чуть было не расплакалась. Это уж было ужасно обидно. Ведь я говорю это не для упреков его, а он сейчас принял это за упреки и решил непременно \* и меня упрекать. Да даже если бы и я была так недобросовестна, что позволила бы себе его упрекать, то неужели же у него нет настолько деликатности и любви ко мне, чтобы мне так не сказать.

Из дому я пошла к Dupuis, про которого говорил мне закладчик, видела его жену и его, они удивились моей мантилье, сказали, что если бы купить, то они, пожалуй, купили, но под залог денег не дают. Были очень вежливы и указали мне магазин Lion, где продают различные вещи, говоря, что там непременно примут. От него я отправилась в сказанный магазин и дождалась, откуда оттуда выйдут 2 покуПАвшие там что-то госпожи. Я вошла и показала мантилью. Сначала они спросили, сколько я хочу за нее, а потом отказались взять, сказав, что этим не занимаются, но дали мне адрес Clege на rue des Allemands, который будто бы этим занимается и берет такие вещи. От него я отправилась домой, и мы пошли с Федей обедать, а после обеда, несмотря на дождь, я пошла отыскивать Clege. Это какой-то старичок, который сначала объявил мне, что у него все уже заперто и чтобы я пришла завтра, потом, когда узнал, что у меня шелковое платье, а не золотые вещи, дал мне адрес какого-то кушца Stimisel, который торгует платьями и который, по его словам, берет заклады. Я к нему и отправилась <...> его не было дома; жена посмотрела мантилью, сказала, что она не особенно понимает в кружевах и что это, должно быть, и не настоящие, но что она верит мне на слово. Я с нею разговорила, и она предложила мне принести сегодня или завтра платье к ней, когда будет ее муж. Тут пришел и он, посмотрел на мантилью и сказал, что пусть я принесу завтра платье, тогда он примет и мантилью в тот счет <...>

Пришла домой, сказала Феде, что вот каким образом это устраивается. Был дождик, и Федя тоже воротился из читальни. Я просила нашу хозяйку сделать нам кофей, который сделала она <п р е в о с х о д н о>. Потом вечер прошел довольно весело. Я легла спать в 11 часов. Федя еще тоже лежал на своей постели, я еще не спала, как вдруг в 25 минут 12-го вечера я в первый раз почувствовала, что ребенок у меня забился, т. е. я почувствовала какие-то острые толчки в живот в разных местах, не постоянно, а через несколько времени. Я не сказала Феде, думая, что это я сама обманулась и что, может быть, это у меня просто-напросто расстройство желудка. Потом, когда он меня разбудил в 2 часа, и я все еще продолжала чувствовать это биение, я сказала Феде, он пощупал, но ощупать этого не мог. Как я была рада и счастлива, этого и сказать нельзя. Вот, наконец-то, бьется, наконец живет мой ребенок! Теперь уже не кусок мяса, а, может быть, сын, он тесно связан со мной, милый сын, которого я еще не знаю, но которого ужасно как люблю. Я нынче постоянно мечтаю о Мише или Соне. Мне все кажется, то они маленькие, то подросли немного, то, наконец, большие, и я так рада представить их, я так люблю их, что бог только один знает. Федя несколько раз меня целовал, и мы довольно долго с ним об этом поговорили. Потом, когда он лег в постель, то в темноте мы долго разговаривали. Я говорила, что желала бы, чтобы Соня или Миша походили совершенно на него, а он, напротив, говорил, что желал, чтобы Соня была такая, как я. А чтобы от меня, говорил он, она наследовала *быстроту бега*. (Оказалось потом, что Федя решительно не

умеет бегать.) Потом заговорили о ловкости <...> Мы очень долго хохотали, но я до того проснулась, что заснуть уж потом не могла и не могла спать всю ночь.

Пятница 11<октябрь>/29<сентябрь>. Мы вчера так много хохотали, что я окончательно проснулась и заснуть уж не могла ни крошки, так что, может быть, и могла бы заснуть часов в 7, но так как мне следовало идти в 9 часов заложить платье и я боялась, что он уйдет, то я и решила лучше не спать, чтобы опять не проспять так долго. В  $\frac{3}{4}$  9-го я разбудила Федю, чтобы он встал и пил кофей, и в  $\frac{1}{4}$  10-го уже вышла из дому, связав два мои платья, зеленое и лиловое с полосками, в один узелок, под видом посылки. Сегодня был опять la bise, т. е. северный ветер, так что меня просто сшибало с ног. Я кое-как дошла до купца. Они осмотрели мои платья и хотели дать мне за 2 платья и мантилью 60 франков, но я сказала, что это мне мало. Тогда они сказали, что вот если бы у вас было бы еще платье, я отвечала, что готова вместо мантильи принести еще платье, которое будет такое же хорошее, как и первое. Тогда они мне решили дать по 25 франков за 2 платья, следовательно, 50 и за 3-е — 30, всего 80 на два месяца, но сделали такое условие, что если через 2 месяца не выкуплю, то платья они продают. Но пока я еще не принесла платье, они заставили меня записать эти 2, я получила 50 франков и отправилась домой, зайдя в магазин купить чаю <...> Пришла домой, принесла деньги, но сейчас не пошла опять с платьем, потому что было уж слишком холодно. Пошли обедать, а после обеда я зашла домой и, взяв платье, отправилась опять к закладчику. Его не было дома, но жена была, она уже хотела мне дать деньги и заставить меня расписаться; конечно, я была так глупа, что разговорилась с нею, расспрашиваю ее о платье, и таким образом дождалась-таки, что пришел муж. Она, вероятно бы, дала мне 30 франков. Но он был <скупее?>, чем она и, посмотрев платье, объявил, что оно изношено и что он может дать только всего 20 франков, тогда как я надеялась получить 30. Он долго рассматривал и продолжал уверять, что оно старое и что им будет убыток, когда придется им продать. Наконец, после долгих разговоров, дал мне 25 франков. Тут я могла себя бранить <одну?>, потому что решительно была одна виновата в том, что не дал больше. В большой грусти пошла я домой, купив по дороге бумаги для заштопывания наших чулок, которые очень разорвались. Но я так долго ходила, что уже стемнело и Федя начал беспокоиться, не видя меня так долго. Вечером, когда Федя меня разбудил, я ему говорила что-то про сны и потом сказала по-французски: mais c'est très singulier \*. К чему это относилось я, право, не знаю, вообще я нынче больше разговариваю по-французски, чем по-русски, ночью. Ребенок продолжал биться целый день, но я все еще боялась этому поверить, думала, что это происходит при раздражении желудка. Федя был сегодня очень весел и мы все сочиняли «Абракадабра»:

Главные лица: Абракадабра \*\*. Дочь ее: она невинна и Ключ любви. Жених — Талисман.

О н в х о д и т: Поклон мой вам, Абракадабра,  
Желаю видеть Ключ любви,  
Пришел я сватать очень храбро,  
Огонь горит в моей крови.

А б р а к а д а б р а): Авось приданого не спросит,  
Когда огонь кипит в крови,

\* Но это очень странно (франц.).

\*\* Слова Абракадабра ≈ Талисман, а также все стихи написаны обычным письмом.

А то задаром черти носят  
Под видом пламенной любви.

<О н>: Советник чином я надворный,  
Лишь получил, сейчас женюсь.

О н а: Люблю таких как вы, проворных,

<О н>: Проворен точно, но боюсь.

О н а: Чего боитесь вы напрасно?  
Ведь смелыми владеет бог.

<О н>: Владеет точно, это ясно,  
Боюсь того, что скажет рог.

И в этом роде еще много стихов. Нынче Федя все говорит каламбуры, так, например: я его просила, чтобы он посидел со мной; он мне ответил: «Вы просите с вами посидеть, а я боюсь с вами поседеть». Или «влез в лес», «до рожки — дорожке». Вообще он нынче очень весел. Когда мы легли уж спать, я думала, что он заснул, он думал, что я сплю, вдруг я ему сказала, что вот я присочинила еще стих(и), сказала ему, а он в ответ сказал мне другой. Нам сделалось ужасно смешно, как мы вместо того, чтобы спать, занимаемся сочинением глупых стихов. Федя все эти стихи поет на один голос, который сам же сочинил. Вообще нынче мы опять с ним страшно дружны и он меня, кажется, ужасно любит.

*Суббота 12<октября>/30 <сентября>*. Сегодня утром я решила непременно идти к бабке M-me Renard, которая имеет где-то здесь в Женеве дом здоровья в улице Môle и улице du Nord, № 6 и 5. Я много раз читала ее объявления в гостинице о том, что она принимает к себе на попечение беременных женщин и что дает советы. Я давно уже собиралась идти и меня ужасно мучила мысль, что, может быть, из-за моей неосторожности может умереть ребенок, и я буду так несчастлива. Не шла же я потому, что Федя постоянно толковал идти к доктору, а я хотела непременно к бабке, да к тому же у нас и денег не было. Но сегодня я решила непременно идти. У меня на этих днях все ужасно как болело горло. Сегодня Федя мне непременно велел купить себе вуаль и дал для этого 3 франка, а для бабки дал на всякий случай 5 франков, он сказал, чтобы я дала ей только 3 франка, уверяет, что это совершенно довольно. Я очень долго собиралась. Федя постоянно меня торопил. Наконец, я вышла и пошла сначала покупать себе вуаль в том магазине, где я купила себе платок. Вуаль такой, какой я носила в Петербурге, стоил здесь 1 франк 95 с., без 5 с. 2 франка, что очень дешево <... > Наконец, кончив покупать, я отправилась отыскивать ее и сначала думала, что на противоположной стороне Роны, но потом оказалось, что она на нашей стороне. Я долго шла по берегу, наконец, какая-то женщина мне показала, как пройти на улицу Môle, и через 5 минут я нашла этот дом. Это в каком-то переулке, довольно небезупречно; я вошла во двор, пришла в какой-то дом, где слышались крики ребят, но никого не видно было. Наконец, когда я хотела подняться наверх, то встретила девушку, которую и спросила, могу ли я видеть M-me Renard <... > она привела меня в комнату, где сидела довольно пожилая женщина за завтраком и, кажется, очень мало обращала на меня внимания, вероятно, это их манера задавать тон. Но мне решительно все равно. Она спросила меня сесть, и я начала ей рассказывать, что я беременна, но не знаю, на котором месяце. Она мне сказала, что надо считать с последних месячных через несколько дней, т. е. на следующей неделе, т. е. в конце мая, и по моим рассказам заключила, что у меня ребенок должен биться, рассказала мне, как именно. Я отвечала, что я это именно чувствую. Мы долго пого-

ворили с нею <... > Я сказала, что приду к ней советоваться, если что-нибудь со мной будет. Пошла я домой ужасно радостная, тем более, что теперь я была вполне уверена, что я не ошиблась и действительно беременна. Меня смутил мой небольшой живот, все приходила мысль, что я себя обманываю, что вовсе не беременна, а что месячные пропали по какой-нибудь другой болезни, а потому, может быть, у меня даже и чахотка. Но тут она мне вполне опровергла мои глупые предположения и, главное, решительно успокоила меня, сказав, что уверена, что все пройдет хорошо. Действительно, ведь я очень хорошо себя чувствую и мне кажется, что даже и конец будет легкий.

Когда я вернулась к Феде, то он сейчас спросил, что она сказала, и был тоже очень рад, когда я ему рассказала, как меня нашла бабка, он в это время доканчивал писать письма к Александру Павловичу, Сонечке и Яновскому <sup>74</sup>, и мы из-за этого сегодня пошли гораздо позднее обедать и ели все холодное. После обеда Федя пошел на почту, но по дороге мы купили фруктов. Был сегодня довольно холодный день, опять la bise, и так как мне было холодно стоять на площади, пока он выбирал фрукты, то баба предложила мне сесть в ее деревянную бочку. Я села, что было, должно быть, очень смешно; барыня в круглой шляпе, в синей вуали сидит в деревянной бочке и, может быть, торгует фруктами. Я просидела с четверть часа, совершенно согрелась, потому что бочка сколочена из плотных досок и довольно тепло. Я пошла домой, а Федя один снес письма на почту.

*Воскресенье 13/1 <октября>*. Утром Федя продолжал сочинять Абракадабру, а потом сел писать. Нынче он каждый день что-нибудь да пишет, составляет план романа, а когда его дома нет, то я все это прочитываю, потому что мне ужасно как интересно знать, что такое он пишет, как это у него выходит. Сказать же об этом, что я читаю, было бы ужасно как глупо, потому что тогда бы он стал непременно прятать от меня все написанное. Вообще он не любит, чтобы смотрели то, что он написал еще начерно, да, я думаю, никакой человек не любит, а поэтому говорить не для чего.

Я ужасно как рада моему ребенку; когда он у меня долго не шевелится, то я начинаю думать: «Что это моя Сонечка не бьется», и в это мгновенье она начинает сильно биться, т. е. особенно коленями, как будто желая мне сказать: «Полно, мама, ведь я здесь, ведь я не ушла, не беспокойся обо мне». Я забыла сказать, что вчера, когда Федя ходил на почту, он получил там письмо от Майкова и когда пришел домой, то предложил мне его прочесть <sup>75</sup>. Федя нынче дает мне прочесть все, что он получает, и меня это ужасно как радует, такая доверенность, потому что это избавляет меня от необходимости читать стороной его письма, даже без всякого согласия. (Ведь не могу же я оставаться равнодушной к тому, что делает мой муж.) Майков прислал несколько слов о Паше и называет его <обузой, упрям, ленив, а как все, кто?> вкусил жизнь, не искусится наукой. Он говорит, что Паша приходил к нему спрашивать адрес и за деньгами, у Майкова хотя и было 25 рублей, но он их не дал, а спросил, на что ему деньги. Тот отвечал, что надо отдать 15 руб. за право ходить в университет, где он будет заниматься стенографией, т. е. записывать лекции по римскому праву и потом составить и продавать их по 2 рубля за лекцию. Майков пишет, что он, бывши сам юристом, знает очень хорошо, что для записывания лекций по римскому праву необходимо знать много древней жизни и древних наук, а также латинский язык. Паша отвечал, что он знает по-латыни чуть ли не отлично. Майков, разумеется, ему не поверил и денег не дал. Потом, когда он пришел через 2 дня, то дал ему только 15 рублей, а 10 рублей оставил себе, отдаст, когда будет время. Оказалось, по словам Майкова, он уже разочаровался в римском праве, не внеся еще 15 рублей, и думает теперь уж о другом.

Майков велит Феде поцеловать меня в ручку. Вот его истинные слова: «Милую Анну Григорьевну за все, что вы о ней пишете, поцелуйте в ручку от меня». Милый и добрый Аполлон Николаевич. Этот человек понимает меня и не считает интриганкой, он понимает, что я очень люблю Федю и любовь моя истинная, хорошая, вечная, а не минутная прихоть, уже если Федя пишет про себя, что считает меня гораздо выше и глубже, чем прежде думал, а Федя ведь ужасно как скуп на похвалу. Я была очень рада прочесть письмо Аполлона Николаевича, очень, очень рада; но он ужасно как дурно пишет, так что я едва сумела разобрать, что именно такое было написано.

Все утро я просидела дома, потом пошли обедать, а от обеда я пошла узнать, нет ли для меня письма. Почтмейстер, который нам раздает письма, сказал мне, что поутру был какой-то господин, который спрашивал письма на наше имя, но писем не было, а потому он не дал. Это, может быть, ваш муж, но я сказала ему, что мой муж был вчера вечером, а сегодня он целый день сидел дома; тот продолжал утверждать, что не вчера вечером, а сегодня утром был какой-то господин, но письма не получил, потому что письма не было. Я его попросила не давать никому, кроме меня. Потом я пошла домой и читала книгу, роман George Sand «L'homme de neige», первый роман, нет, второй, который я читала. Один был, между прочим, в русском переводе. Но он мне чрезвычайно не понравился, потому что и перевод был скверный, да и роман не произвел на меня впечатления. Это отличный роман, и я читала его с удовольствием, хотя Федя, читая его, постоянно критикует и находит большие недостатки <sup>76</sup>. Потом пришел Федя и предложил мне идти гулять. Мы отправились, по дороге я ему сказала, что на почту кто-то приходил, и в доказательство, что я не говорю неправды, предложила зайти. Мы пришли туда, и почтмейстер и Феде сказал, что действительно кто-то приходил. Тогда Федя оставил записку со своим почерком и просил не давать никому писем, исключая его и меня. Потом воротились домой и вечером были очень дружны друг с другом; Федя мне говорил, что ему лучшей жены и придумать нельзя, даже если бы он захотел выдумать себе, такая у него хорошая жена, но, правду, ее иногда следует посечь; я с ним согласилась, что посечь действительно иногда нужно, ну, да это невозможное дело <... >

*Понедельник 14/2 <октября>*. Сегодня, так как Федя мало спал, я дала ему проспать еще с полчаса, потом, когда у нас кофеи уже был готов, я вспомнила, что у нас нет сахара и решила сейчас бежать. Вышла на улицу, и что это была за чудная погода: настоящее лето, какое бывает только в хороший июльский день. Пришла домой в 12 часов. Пошли на почту и немного прогуляться. (Хотела я сегодня идти в более длинную прогулку, но не знала, куда именно идти, так и отложила в полной надежде, что такие прекрасные дни будут во всю эту неделю.) Пошла сначала на почту и мы получили письмо от Феди <sup>77</sup> на имя Федора Михайловича. Немного погуляла, потом отнесла ему, думая, что, вероятно, ему будет приятно поскорее узнать о них и прочитать его письмо. Он прочел и потом передал письмо мне, по обыкновению, прочитать, ничего особенного нет; говорит, что Эмилия Федоровна пришлет на днях письмо, разумеется, с жалобами, как и оправдалось по письму. Потом пошли обедать, Федя от обеда пошел читать, а я отправилась домой и по дороге видела, как отцвевлялся шар; я в первый раз видела шар так невысоко, постоянно же видела его только одну черненькую точку, потом я отправилась за свечами в какой-то Согтогат, где наша хозяйка покупает свечи не по 1 фр. 20 или 25 с., как мы, а по 1 ф. 10 с. Я решила сходить туда, хоть 10 с. да выиграть, но мы узнали, что наши свечи, которые мы берем, стоят 25 с., а <у них?> 1 франк 10 с.

СТРАНИЦА ДНЕВНИКА,  
РАСШИФРОВАННОГО  
А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

17.

Центральный государственный архив  
литературы и искусства,  
Москва

5. Велбергофф'и и соотв. внагл. похитилъ отъ  
Колларотъ. Написанъ онъ въ 5 часовъ, а теперь  
было восемь. Написанъ хуже же къ часу, но въ  
се равно. Сила, надъ всего что написалъ събо-  
рнѣе что написалъ дѣлать, а до чего съдѣла, да  
и все что написалъ писаны или пѣломъ. Я спроси  
на кофѣ, а Вѣдь — писаны, но писаны въ  
изъ сурово, черезъ чуръ събожнѣе и Вѣдь оубою  
сѣбѣ мордобоемъ, и тотамъ кофѣ. Я думаю, какъ  
обратили на все вниманіе тѣмъ, что пока-  
заны или пѣлы или вѣлы. Этой все стѣны  
писаны расказы дѣланы и вѣдѣрѣны, кото-  
рыя писаны партидѣ сѣдны вѣды вѣды  
ровъ: кто все какъ похитилъ, у того вѣдѣрѣны  
не пробора на сѣдны. Мѣдѣрѣны писаны вѣды  
кто-то мѣдѣрѣны — писаны, кто-то писаны  
писаны писаны писаны, сѣдны писаны вѣды  
вѣды писаны, а писаны вѣды писаны писаны  
писаны, сѣдны писаны писаны. Писаны писаны  
сѣдны сѣдны писаны писаны писаны писаны  
писаны вѣды писаны. — Мѣдѣрѣны писаны  
писаны писаны, писаны писаны писаны писаны

Вечером мы отправились с Федей гулять, он мне долго рассказывал то, что прочитал в газетах, именно, историю Ольги Умецкой, бедной девушки, как мне ее было жаль, что за твердый характер: сказала, что я поджигала, да так и стояла на этом, хотя никто того не подтвердил, она могла бы отказаться от своего показания. Несчастливая девушка два раза хотела броситься в окно, один раз повеситься, уж с веревки сняли, так ей было хорошо дома жить, а эти подлые отец и мать, это не люди, это какие-то звери, когда приходится родить, отправляются в другую деревню, там родят, потом забрасывают детей до 7—8 лет, чем хотите, тем и питайтесь, а сами богатые люди, сами имеют состояние и хвастаются им <sup>78</sup>. Как это этих людей ничем не наказали. Если бы мне дали волю, я бы, кажется, повесила их, так мне они отвратительны. Своих родных детей, несчастных, матери мучают; заставляют работать, не давать есть, это подло. И как это их бог не накажет. И бог дает таким зверям детей. Господи! Как это тяжело даже подумать, какие бывают еще люди, да еще из благородного сословия. Меня этот разговор ужасно как возмутил. И неужели эта несчастная девушка опять попадется им в руки, они, бедную, ее опять замучают, будут мстить за ее жалобы на их обращение. Вечером Федя мне говорил, что он жалеет, что нет в живых брата <sup>79</sup>, как бы он тебя любил, ценил и уважал. Я ведь у тебя что у Христа за пазухой, так ты меня бережешь. Разговаривали мы много о Сонечке, он ее очень любит, говорит, что еще больше будет любить. Он хотел со мной пошутить и нечаянно ударил меня довольно больно по лицу. Ему сделалось так больно это, что он стал на колени и с <sup>1</sup>/<sub>4</sub> часа стоял, прося прощенья и говоря, что вовсе не думал так сильно меня прибить, так меня обидеть, говорил, что очень меня любит, ужасно, ужасно. И Сонечку тоже. Я вполне уверена, что когда он ее увидит, то еще больше полюбит, еще больше нами будет дорожить. Он всегда только горюет, что у нас денег нет, что у нас слишком мало денег, а нужно довольно много для родни и для Сонечки. Вижу я во сне постоянно Сонечку и то, как она у меня родилась, но именно бывают всегда какие-то странные обстоятельства; право, даже смешно видеть, что это за чепуха.

*Вторник 15/3 <октября>*. Сегодня опять разбудила Федю попозже, чтобы он мог выспаться. Он все жалуется, что у него сердце останавливается и мешает ему дышать. Мне это ужасно как грустно слушать, право, если он разболеется. Утром мы растопили печку, и я начала стирать и гладить платки, потому что и у него, и у меня сильный насморк, а отдавать прачке, по-первых, дорого, а во-вторых, она не ходит раньше недели. Кончив мою работу, я принялась читать, а Федя сел опять писать. Нынче он пишет и вечером, все составляет план романа. Господи, как я ему от души желаю, чтобы роман вышел очень хороший. Это мое единственное и самое искреннее желание. Я постоянно об этом молилась, хотя вовек не считая, чтобы мои молитвы могли бы тут сколько-нибудь действительны. После работы он написал письмо к Morpert, у которого в Бадене заложены мои серьги и брошка, и предлагает ему 150 франков, чтобы только он подождал еще месяц. Не знаю, согласится ли тот. Но мне будет до такой степени горько, если эти вещи пропадут. Во-первых, и память дорога об этих серьгах, а к тому же других ведь у меня не будет, хотя Федя и говорит, что он мне непременно купит. Но ведь у нас так много других расходов, других издержек, что покупать решительно нет никакой возможности. Я сказала об этом Феде, а он отвечал, что я говорю это только для того, чтобы его укорить, хотя у меня и в мысли этого не было. Из-за письма просидели дома до 4-х часов, и Федя так торопился одеваться, что забыл свои платки, и когда мы пришли обедать, то оказалось необходимо взять хотя бы какой-нибудь платок, иначе просто хоть домой иди. Федя затем меня выбрал, да и стоило. Подали нам все почти холодное, потому что мы уж слишком поздно пришли. От обеда я хотела идти на почту, но когда начала говорить об этом Феде, то начала как-то странно <заговариваться?>, т. е. говорить не те слова, которые бы следовало. Федя рассердился, и мы разошлись в разные стороны. (Я заметила, что нынче я говорю очень часто совсем не то, что хотела сказать, совершенно не те выражения, это просто меня обижает, если эта способность за мной останется.) На почте ничего не получила, но отдала письмо и взяли за него 40 с. Пришла домой, пришел скоро и Федя и хотел мне представиться сердитым, но я расхохоталась, и он тоже не мог не рассмеяться. Пошли мы гулять и на дороге все разговаривали о том, как подло, если мужчина изменяет своей жене. Зашел этот разговор по поводу одной девушки, довольно красивой, которая мне очень нравится; Федя сказал, что он ее знает (не знаю, правда ли это) и сказал, что он был друг ее. Начал оправдываться, говарил, что это не в(а)ж- <но>сть(?), что это просто было желание, а что тут преступления нет, потому что было без любви; что скорее преступление будет, если он будет любить кого-нибудь или носить деньги кому-нибудь из дому, вот это так преступление. Я же отвечала, что, по моему мнению, даже просто измена ужас как оскорбляет жену, и если бы я была женщиной, то, кажется, ни за что, никогда бы не изменила своей жене; что мне было бы даже совестно взглянуть ей в глаза, если бы мне пришлось ей изменить. Мне даже ужасно больно подумать, о том, что если бы Федя действительно мне изменил, право, это уж так грустно, хотя как тут узнаешь. Право, лучше быть незамужем, никого не любить, по крайней мере тогда не станешь беспокоиться, что кто-нибудь мне изменяет и меняет на другую. Но я постаралась как-нибудь отделаться от своей этой мысли, тем более, что Федя был очень внимателен ко мне и, кажется, очень меня любит.

Вечером Федя сел писать, а я легла полежать, да немного и заснула. Так у нас было хорошо в нашей комнатке, право, что, может быть, так хорошо никогда и не будет. Тепло, тихо, Федя работает, так светло и так приятно лежать. Он также такой ласковый, милый. Правда, я заметила, что он немного стал раздражительный в последнее время, и я думаю, что это решительно происходит от климата, потому что уж климат слишком

дурной и страшно переменчивый. У нас сегодня не хватило воды, и Федя пошел в кухню хлопотать насчет нее. Старухи сейчас захопотали и принесли воды. Тут Федя сказал нашим двум старушкам, что я беременна. Я отвечала, что это неправда, что он все лжет. Старуха расхохоталась и, вероятно, не поверила, хотя уверяла, что она очень любит детей и что она будет за мной ухаживать, предлагала взять здесь их вторую комнату, сказав, что она прогонит наших соседей, потому что они им не нравятся <...> Федя сказал, что теперь пока не надо, а что потом мы возьмем их 2-ю комнату <...> Как-то на днях, когда у меня очень болела голова, наша старушка сказала, чтобы я ничего не делала без доктора, потому что может быть я *par hasard* \* беременна. Мне так смешно показалось это слово *par hasard*, когда я уже, может быть, больше 5 месяцев, как готова. Федя сказал, что ребенок будет кричать как *un turc* \*\*. Какая похвала для моей Сонечки. Как-то мы тут говорили с Федей, и он сказал, что если бы мы выиграли 10 тысяч, то он дал бы мне сколько мне угодно денег, например, дал бы мне на мои расходы 1000 франков, не спросив, на что мне надо. Я сказала, что тогда бы я бог знает чего накупила для Сонечки. Он отвечал, что если для Сонечки, то он не пожалел бы даже 4 тысячи.

Теперь расскажу про 3 октября прошлого года, день, в который я была удивительно как счастлива. Это был понедельник, день, в который я обыкновенно ходила учиться стенографии, т. е. в это время приезжала диктовать, потому что я довольно уж сильно тогда писала. Было 6 часов вечера, когда я пришла в 6-ю гимназию, урок еще не начинался, и я уселась на свое место, раскладывала свои тетради, приготовившись писать. Вдруг ко мне подошел Ольхин, попросил подвинуться, потому что сказал, что имеет со мной много поговорить.

— Не хотите ли вы получить стенографическую работу, — сказал он мне. — Мне поручена одна работа, и я думаю, что, может быть, вы согласитесь принять ее.

— Я еще не знаю, довольно ли я сильна в стенографии, чтобы взять на себя какой-нибудь труд.

Он сказал, что это не потребует больше 200 букв, а вы совершенно хорошо пишете, чтобы успевать писать под диктовку и чтобы вполне надеяться, что я могу взять на себя эту работу. Я спросила, в чем суть.

— Это работа у одного писателя, Достоевского, который пишет теперь роман и которому нужно писать под диктовку всего 7 листов <sup>80</sup>, и за работу просил я 30 рублей. Ну так вы знаете, необходимо условие насчет платы, от труда 10%, которую я должен получить за отыскание работы.

Я отвечала, что я решительно не буду нисколько на этот счет спорить. Потом он сказал, что у него есть 2 ученицы, которые желают догнать его курс, и что думает, что я могла бы их приготовить, а получу я за них по 5 рублей, т. е. по 2 урока, вероятно, мне это не мало. Я согласилась, он вынул из кармана небольшую записку, адрес Достоевского: «Столярный переулок и Малая Мещанская, дом Алонкина <sup>81</sup>, кв. № 13. Спросить Достоевского». Я решительно не знала, кто именно писал эту записку, Федя или Ольхин, вероятнее всего, что Федя, потому что он дал этот адрес. Я взяла его и сейчас спрятала, ужасно боясь, как бы мне его не потерять. Потом он прибавил, что мне непременно следует быть там в половине 12-го, ни раньше, ни позже, а именно тогда, когда он мне назначил. Потом он отошел, потому что класс должен был скоро начаться, и оставил меня в ужасной радости.

Урок уж начался, когда пришла госпожа Иванова <sup>82</sup> и обыкновенно села около меня. Я сейчас ей сказала, что Ольхин нашел мне работу, что

\* случайно (франц.).

\*\* турок (франц.).

она будет стоить 30 рублей <sup>83</sup>, дал мне адрес, и что даже обещал мне 2-х учениц. Она, видимо, была поражена моими словами и даже сразу, как мне кажется, не поверила мне. Она выслушала меня с завистью, сказала, что очень рада за меня и все старалась выпросить, когда именно, в котором часу и к кому. Я сказала — к Достоевскому, в половине 12-го, но адреса не сказала: я боялась, чтобы ей не вздумалось идти туда вместо меня, чтобы меня заменить или как-нибудь постараться помешать мне взять на себя эту работу, и адреса я ей все-таки не сказала, а сказала, что знаю, что в Столярном переулке, а адрес вынимать уж слишком долго. Урок кончился, я подошла к Ольхину спросить его, на какой бумаге, какого формата и какие оставлять поля. Он отвечал, что это он уж предоставляет Достоевскому, потом прибавил, что он надеется, что я буду очень внимательна к работе, тем более, что это первая, постараюсь приходить вовремя и потом, что, вероятно, мне придется идти раз 10, не больше. «Это чрезвычайно угрюмый господин, ужасно мрачный, я решительно не знаю, как вы с ним сойдетесь». Я отвечала, что это меня несколько не заботит. Да и действительно, что мне было за дело до характера человека, я ведь вовсе не для замужества с ним пришла, а для работы, следовательно, исполни я только верно свою работу, и я могу быть уверена, что буду жить в ладу с ним.

Вышли мы с Ивановой, и все мне казалось такое хорошее, такое светлое, уютное, какое-то особенное, новое; даже и погода скверная, и дождь показались мне сносными. Сели мы на извозчика. Она в своем меховом салопе так заняла много места, что я едва не вывалилась из дрожек. Всю дорогу она меня выспрашивала, что сказал мне Ольхин, где живет Федя, говорила, что она за меня ужасно как рада, что мы уж начинаем работать, что это показывает, что наш труд не останется бесполезным, что это подает нам надежду и заставляет больше заниматься. Говорила, что, может быть, если бы несколько больше занималась, то он поручил бы ей эту работу. Вообще видно было, что она была очень недовольна, что работа поручена не ей, может быть, даже завидовала мне, потому что по всем ее разговорам можно было судить, что она себя считала самой лучшей ученицей из всех его учениц. Я довезла ее до угла Николаевской и Колокольной, потом заплатила извозчику, кажется, 15 копеек и пересела в дилижанс, чтобы скорее доехать до дому.

Когда я ехала домой, я была так рада, так счастлива, что и представить себе этого нельзя. Вот, наконец, и я начинаю зарабатывать деньги, думала я, наконец-то мое постоянное всегдашнее желание исполнилось, как это хорошо, как я буду счастлива! Как обрадуется бедная мама, что, наконец, мои старания увенчались успехом, и я буду тоже полезна, буду зарабатывать свои трудовые деньги. Я не понимаю, как \* эти мысли имели на меня сильное влияние. У меня постоянно, всю мою жизнь было одно только страстное желание, это иметь свой кусок хлеба, иметь возможность не обременять мою семью, а быть самой ей полезной, стать самой на ноги, и в случае нужды суметь найти себе деньги. Теперь я могу помогать маме. Какая это была чистая радость! Право, навряд ли у меня будет в жизни много таких прекрасных часов, как были эти. Эта мысль, что я теперь полезна, она так меня радовала и так меня восхищала, что я бы, кажется, меньше радовалась, если бы узнала, что получила наследство в 500 рублей, чем этим трудовым, *своим*, своим трудом заработанным 30 рублями.

Когда я вышла из дилижанса, меня встретил дворник, посланный проводить меня, мы вместе пошли, и я нарочно ускорила шаги, чтобы поскорее дойти домой и рассказать об этом маме. Я быстро прошла нашу лестницу, притворила растворенные двери. Мама в это время ставила самовар и стояла над ним, нагнувшись; она очень обрадовалась, когда увидела, что я пришла, потому что уж начала беспокоиться, встретил ли меня

дворник, а идти одной вечером в наших местах было довольно страшно. Я позвала ее в другую комнату и сказала ей: «Поздравьте меня, мама, я получила работу». «Неужели», — сказала моя бедная мамочка, ужасно обрадовавшись. Тут я рассказала, что работы будет не слишком много, а платить будут 30 рублей. 30 рублей, мне эта сумма казалась до того великой: я так много могла на нее сделать, так много истратить, пополнить много в моем туалете. Мы очень весело с мамой разговаривали, толковали о том, как я пойду; я рассказала, что это Достоевский, очень известный писатель и что я читала его прекрасные произведения; мы очень радостно и долго говорили об этом; очень весело напились чаю, и моя добрая мамочка была так обрадована, что я даже и сказать не знаю. Я легла в постель в моей комнате (мама спала тут) и сказала мамочке, что мне кажется, я бы сейчас пошла работать, вот сейчас, не дождавись до завтра, такое во мне было нетерпение поскорее приняться за труд. Я дала себе обещание исполнять мою работу как можно тщательнее и лучше, чтобы не даром получить эти деньги; я не могла дождаться, когда придет это завтра, это милое, дорогое завтра, важный день, что я начну новую деятельность. От волнения я даже и заснуть долго не могла, а между тем, тут мне бы, кажется, нужен был сон для того, чтобы завтра руки были свежие и не усталые. Наконец, как-то мне удалось заснуть, спала я крепко и проснулась <бодрая в этот? > день, замечательный в моей жизни, потому что в него я в первый раз увидела Федю.

*Среда 16/4 <октябрь>*. Встала я довольно рано, напилась весело кофею и точас принялась за осмотрение моего черного шелкового платья и кофты и кое-что зачинила. Мне хотелось явиться как можно приличнее, чтобы не быть в глазах его нищей; мне вообще хотелось оставаться в независимом положении, стать на ровную ногу. В половине 10-го я уже вышла из дому. Мама провожала меня до низа, и здесь мы встретили Ольгу Васильевну<sup>84</sup>, которой тоже рассказали, что я получила работу. Я села в дилижанс и отправилась в Гостинный двор и, доехав до лавки Морозова, вышла из дилижанса. Здесь я выбрала себе зонтик черный <к о л е н к о р о в ы й > за рубль серебром с очень хорошей деревянной красивой ручкой; купила потому, что подумала, пойдет дождь, а мне вовсе не хотелось приходиться на работу в мокром виде. Заходила я себе купить калоши или башмаки, но было довольно мало времени и потому я отложила покупки до другого раза. Когда я ходила по Гостиному двору, мне встретился Grünberg<sup>85</sup>, которого я уже не видала года с полтора и который мне очень обрадовался. Он мне сказал, что у всех выспрашивает, не знает ли кто, где я, но никто будто бы не мог дать ему ответа. Я ему сказала, что я оставила педагогические курсы, на что он мне ответил, что сделала я очень хорошо, потому что там решительно ничего не делаю; теперь же я занимаюсь стенографией, и вот теперь иду на работу. Потом я спросила его, где он живет; он отвечал, что в этом же доме на <Т в е р с к о й >, но в квартире, которая выходит на двор, и прибавил, что будет очень рад, очень рад, если я когда-нибудь зайду к нему. Я сказала, что непременно приду. Я действительно была тогда намерена прийти когда-нибудь к нему, он был всегда так добр ко мне и считал меня всегда своею лучшей ученицей; да и теперь он встретил меня очень радостно, так что, право, грех забывать его. Мы расстались, и я отправилась на Невский проспект в лавочку купить себе бумаги и карандаши. Тут мне пошало в глаза портфель и я решила его купить (стоил всего 60), потому что в этом случае бумага не будет мяться, а мне хотелось показать вид порядочности. Купила себе карандаши, и летом мне подарили коробочку.

Было тогда 11 часов, я отправилась потихоньку по Большой Мещанской, поглядывая на часы, не желая прийти ни раньше половины 12-го да не

прийти и позже; вообще мне представлялось, что это такая\*и на первый раз хотелось выказать как можно больше точности и деловитости. Наконец, оставалось всего 10 минут. Я вошла в Столярный переулок, принялась отыскивать дом Алонкина. В этом переулке я была всего только первый раз в жизни; дом я скоро нашла, это был очень большой каменный дом, выходящий на Малую Мещанскую и Столярный переулок, с трактиром и с постоем извозчиков, с несколькими пивными лавочками. Тут жил Б<енардаки? ><sup>86</sup>, фамилия которого мне почему-то запомнилась. Ворота находились по Малой Мещанской, я вошла, здесь было очень много извозчиков и попадались довольно неприличные хари. Я прошла вглубь двора, увидела дворника и спросила, где живет Достоевский. Он отвечал, что в 13-м номере, первый подъезд направо. Я поднялась во 2-й этаж по довольно грязной лестнице, на которой тоже мне попались несколько человек очень неприличных и 2 или 3 жиды. Я позвонила, через минуту мне отворила дверь девушка, довольно смазливая, но страшно растрепанная и с ужасно хитрыми, как мне показалось, злыми черными глазами, с черным в клетку платком, накинутым на голову. Я спросила, тут ли живет Достоевский, и на ее утвердительный ответ просила сказать ему, что пришла стенограф от Ольхина и что он уж знает. В эту самую минуту, когда я входила в дверь в передней, в другой комнате, прямо против двери, выскочил какой-то молодой человек в туфлях и с открытой грудью, выскочил, но увидев незнакомое лицо, тотчас спрятался. Я тотчас заключила, что это, должно быть, его сын. Федосья проводила меня в следующую комнату и попросила меня сесть, сказав, что сейчас выйдет. (Я забыла сказать: дорогой и весь вечер я себе представляла его, мне казалось, что это непременно будет или просто небольшого роста человечек с брюшком и лысой головой, очень веселый и смешливый, или, наконец, задумчивый, суровый, угрюмый господин, как его обрисовал Ольхин, высокого роста, бледный, худой. Тут я много припомнила его сочинений, то, что читала: «Неточка Незванова», «Униженные», «Мертвый дом», «Бедные люди», одним словом все, что я читала и чем я восхищалась.) Я села, сняла шляпу, свои черные перчатки, распустила платок, при этом мне пришлось взглянуть на часы, которые висели прямо над диваном; было уж с лишком половина 12-го, и я была ужасно как довольна, что пришла так ровно, как мне назначено. Прошло, мне кажется, с 5 минут, как я села, а, между тем, никто не входил; в это время я осматривала комнату, которая показалась мне очень невзрачной, довольно мещанской комнатой. Все стены были заставлены шкафами, у самых дверей находится какой-то деревянный безобразный сундучок. В комнате было 3 двери: одна, в которую я вошла, 2-я левая, откуда выскочил растрепанный молодой человек, а 3-я направо, вероятно, в гостиную, подумала я, но я видела только часть комнаты, именно, цветок с каким-то вьющимся растением. Около двери направо стоял комод, покрытый белой салфеткой, по-мещански. На нем стояли 2 старых подсвечника <н а п о л к е> и лежала щетка. У окна стоял обеденный складной стол и несколько стульев. Вообще по комнате мне показалось, что здесь живет довольно небольшая семья, и мне вдруг представилась вся его жизнь. Мне показалось, что это вроде Ушинского<sup>87</sup>, у которого Ваня раз был и рассказывал, что у него очень и очень бедно. Мне почему-то показалось, что Достоевский непременно женат, что вот вместо него выйдет его жена, что у него есть дети, что я непременно услышу сейчас где-нибудь детские крики или шумную детскую воз<ню>. Вообще эта комната как-то не оправдывала то, что я ожидала встретить. Федосья просила подождать, сказав, что сейчас *идут*.

Так прошло минут с 10, как вдруг, теперь не припомню из которой именно комнаты, но кажется, что из кухни (вероятно, Федя был в это время в кабинете и через кухню возвратился в квартиру) явился Федя.

Я раскланялась, и он пригласил меня пройти в следующую комнату; сам он повернул в Пашину комнату; я, не зная ничего, пошла за ним, но он показал, что не в эту, а в его кабинет, куда я и вошла. 2-я комната была значительно лучше 1-й, больше, высокая, длинная, с 2-мя окнами, но какая-то мрачная, хотя довольно было дневного света; но это, вероятно, происходило от обоев. В глубине комнаты стоял диван, покрытый какой-то клетчатой материей, перед ним стол, покрытый красной салфеткой, на столе лампа и лежали 2 или 3 альбома. Над диваном висел портрет какой-то дамы в черном чепчике, вероятно, его жены. Это, вероятно, жена его, подумала я, как-то взглянув наверх. Кругом стола стояли стулья, покрытые той же темной <клетчатой?> материей, довольно уже поношенной. На этот раз\* комната все-таки казалась довольно светлой, но в другой день она производит ужасно тяжелое впечатление, как-то в ней слишком тихо, слишком сумрачно и даже тяжело. Между двумя окнами стояло зеркало в черной ореховой раме, но простенок был значительно шире зеркала и потому оно стояло как-то криво, не симметрично; мне же, привыкшей к симметрии, это показалось несколько странно; у одного окна стоял цветок, тот самый, который виделся из первой комнаты, перед ним столик, какая-то шкатулка. На окнах были 2 прекрасные китайские вазы, прекрасной формы; у другого окна стояло 2 стула (замечательные потому, что на них-то произошло объяснение), на один-то из них я и положила свой портфель и шляпу, когда вошла. Тут я заметила в углу стол, заваленный разными бумагами, и небольшой еще столик, на котором была какая-то шкатулка с черепаховой крышкой и с отличной инкрустацией. У входной двери стоял огромный диван зеленого сафьяна, очень удобный, и около него столик с графином воды. Среди комнаты, ближе к стене, стоял письменный, довольно обыкновенный стол, а перед ним деревянное кресло, на котором я потом очень много раз сидела, когда диктовали. Я сидела уж несколько времени в комнате и могла ее хорошо рассмотреть (на первый взгляд она мне показалась довольно порядочной, особенно в сравнении со столовой), как снова вошел Федя; он выходил, вероятно, чтобы что-нибудь приказать Федосье. Чтобы чем-нибудь начать разговор, он меня спросил, давно ли я занимаюсь стенографией. Я стояла у окна; но подошла к столу и сказала, что уж учусь с полгода (действительно, 4 апреля начала в первый раз уроки, а 4 октября уже начала работать, т. е. ровно через полгода, а Ольхин, между тем, говорил мне, что работать нельзя иначе, как через 2 года). На его вопрос, много ли учеников, я отвечала, что было 150, начало-то много, а что теперь осталось всего 25, потому что все думали, что это очень легко, а как увидели, что в один раз и в несколько недель ничего не сделаешь, то и побросали стенографию. Он сказал, что это бывает, как и во всяком деле, многие принимают, а больше половины и оставляют, потому что видят, что надо трудиться, а трудиться кому же хочется.

Станным мне показался этот человек! Довольно старообразный с первого взгляда, но потом сейчас кажется, что ему не более 37 лет; среднего роста, какое-то измуч(енное) болезн(енное)\*\* лицо, с светлыми, слегка даже рыжеватыми волосами, сильно напомаженными и как-то странно зачесанными, точно в парике; в довершение всего у него было в это время два совершенно различных глаза (тогда он лечился у Юнге от раны в глаз<sup>88</sup> и один зрачок у него был положительно расширен), один прекрасного цвета черный, а другой зрачок какой-то странно расширен, что придавало его физиономии решительно какое-то странное выражение и не позволяло увидеть выражение его глаз. Вообще он мне показался похожим на педагога, и лицо его показалось мне довольно злым. Одет он был

\* *Может быть:* на первый раз.

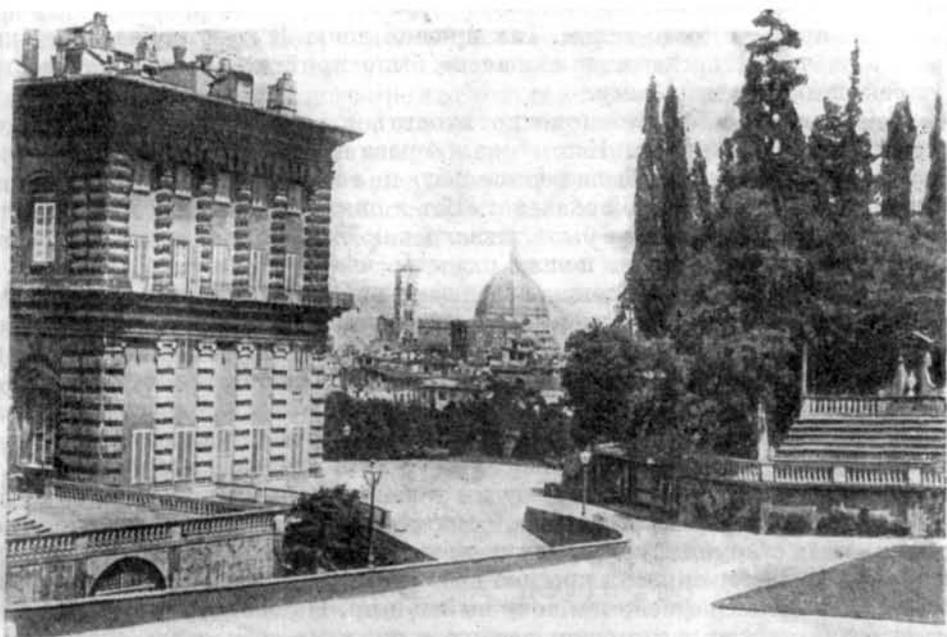
\*\* *Может быть:* измененное болезнью.

в синей куртке, довольно уж засаленной (он говорит, что носит ее 6 или 7 лет), и в серых панталонах, но в очень чистом белье. В этом нужно было ему отдать справедливость, я его никогда не видала ходящим в грязном белье. Лицо его носило удивительно какое-то странное выражение, и право, он даже мне не понравился сразу.

Через 5 минут после моего прихода вошла Федосья и принесла 2 больших стакана с чаем, чрезвычайно крепким, почти черным; на подносе лежали 2 булки. Я взяла один стакан и булку и хотя решительно не хотела пить, было даже почти жарко, но чтобы не обидеть, я взяла и начала пить. Я сидела на стуле противоположного письменного стола около двери. Мы начали разговаривать, он сидел за письменным столом. Показался он мне очень странным: каким-то разбитым, убитым, изнеможенным, больным, тем более, что сейчас мне объявил, что страдает болезнью, именно падуцей. Он то сидел, то расхаживал по комнате, куря папиросы, причем предложил и мне, но я отказалась, сказав, что никогда не курю. «Может быть, вы это из учтивости не хотите курить?» Но я отвечала, что даже не люблю смотреть, когда дамы курят. Да, он мне показался чрезвычайно странным. Я тут припомнила слова Ольхина, назвавшего его очень угрюмым человеком. Мне даже показалось, что наше дело расстроится, что мне даже не придется у него писать, потому что он говорил: «Мы посмотрим, как это сделать, мы увидим, возможно ли это, попробуем». Потом он спросил меня, как мое имя, я сказала: «Анна Григорьевна», впоследствии он несколько раз забывал его и снова выспрашивал, как меня зовут.

Мы довольно долго разговаривали, я уж несколько досадовала, что мы не принимаемся за дело: наконец, он для пробы попросил меня написать ему что-нибудь, он стал мне диктовать что-то из «Русского вестника», сказав, чтобы я ему точно потом перевела на обыкновенное письмо. Начал он диктовать ужасно скоро, но я тотчас его остановила, сказав, что я так скоро не привыкла писать, он начал реже. Потом я тотчас села переписывать ему это, а он начал опять ходить по комнате. Я из всех наших стенографов читаю скорее всех, даже гораздо скорее Ольхина, то, что я написала, и потому я сейчас переписала это. Но он заметил, что я это довольно долго делаю. Вообще он был какой-то странный, не то грубый, не то уж слишком откровенный. Потом он начал сверять и нашел, кажется 2 пропуски в предложениях и чрезвычайно грубо заметил мне об этом<sup>89</sup>. Вообще с первого взгляда он мне не понравился. Он как бы был уж слишком расстроен и, кажется, даже не мог собраться с мыслями. Несколько раз он принимался ходить, как бы забыв, что я сижу тут, и, вероятно, о чем-нибудь думал, так что я даже боялась опять ему как-нибудь не помешать. Наконец, он мне сказал, что теперь диктовать не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему эдак сегодня вечером часов в 8. Я сказала, что приду, надела шляпу, взяла свой портфель и распрощалась с ним. Когда я уходила, то мне сказал: «Знаете, я даже рад был, когда Ольхин мне сказал, не может ли он ко мне прислать даму, а не мужчину работать; вы, вероятно, удивитесь этому, вы спросите, почему; вероятно, это показалось вам странным. А потому, что мужчина непременно запыет, уж наверно запыет, а вы, я надеюсь, не запыете». Я отвечала, что в этом он может быть уверен.

Он проводил меня до дверей своей комнаты. Я вышла в переднюю, и когда девушка стала застегивать мне платье, то я дала ей 20 копеек. Надо сказать, что на первый взгляд он мне как-то даже очень не понравился, мне было даже отчего-то очень неприятно. Мне казалось, что все это ни к чему не приведет, что я не сойду с ним в работе и что, может быть, моя мечта заработать деньги окончится просто пустяками. Мне это было тем более больно, что я вчера и милая мамочка так сильно радовались. Было, я думаю, больше 2-х часов, когда я вышла от него и дошла пока



*Сад Боболи во Флоренции,  
любил О. М. Достоевский  
Флоренция в 1868-69 гг.*

*в котором любил прогули-  
ваться во время пребывания во*

#### ФЛОРЕНЦИЯ. САД БОБОЛИ

Фотография с надписью А. Г. Достоевской: «Сад Боболи во Флоренции, в котором любил прогули-  
ваться Достоевский во время пребывания во Флоренции в 1868—69 гг.»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

к Сниткиным, потому что возвратиться домой мне не хотелось, во-первых, потому, что во всяком случае, нужно будет сегодня вечером снова идти, а во-вторых, мне хотелось похва(а л и)ться\* перед Сниткиными, что вот и я под конец получила себе работу, чтобы они не думали, что я только задаром живу и ем мамин хлеб, они всегда намекали на это, что я ничего не делаю, а только лишняя обуза для мамы и, вероятно, в душе смеялись над стенографией и над тем, что я учусь; по их мнению, это были совершенные пустяки и решительно не стоило тратить времени на то, чтобы учиться такой вещи. По дороге я зашла в какой-то магазин подержанных вещей (у меня есть такая страсть к дешевым покупкам) и спросила, нет ли у них сита серебряного, но у них не было; день был прекрасный, очень ясный. Пришла я к ним (жили они тогда в доме Воронина в Фонарном переулке и на углу Глухого переулка) и сказала, что буду у них обедать, потому что вечером отправляюсь к Достоевскому писать (всю дорогу к ним я шла очень печальная, с каким-то особым тяжелым чувством, с совершенно противоположным настроением, с каким давеча шла работать; мне все казалось, что мы не сойдемся и что работа от меня будет отнята). Девушки были одни дома. Я им рассказала, что Ольхин мне достал работу и сказала, что он уж мне немного диктовал, а что следует мне еще прийти к нему вечером. Маша Сниткина начала тотчас просить, чтобы я ее стала учить стенографии, непременно давала бы уроки, я обещала, но это потом как-то у нас и улетело в трубу. Потом пришли Саша и Маша<sup>80</sup>, и те меня много

расспрашивали о Достоевском. Так прошел день. Я с нетерпением дожидалась 8 часов, когда мне назначено было прийти, и я нарочно поспешала не опоздать к нему.

Мне довольно было неприятно входить в этот дом, потому что тут всегда так много народу. К тому же я 4 раза никак не могла сначала отыскать его и принуждена была разыскивать по всем 4-м углам. Мне отворила Федосья, и я ей с улыбкой сказала: «Вот я опять к вам». Она помогла мне раздеться (она мне давеча была ужасно как благодарна за те 20 копеек, которые я ей дала). Она пошла сказать, что я пришла. Я подождала с минуту в столовой и уж вошла вслед за нею. Он сидел за письменным столом. Я опять раскланялась и села на мое обыкновенное место у двери. Но он мне предложил переместиться за его письменный стол, сказав, что мне там будет гораздо удобнее писать, чем за маленьким столом. Я пересела; он же сел на мое место у двери и там начал разговаривать. Он снова спросил, как меня зовут, и захотел узнать, не родственница ли я тому писателю Сниткину, который недавно умер<sup>91</sup>. Я отвечала, что нет, что это однофамилец. Потом спросил, есть ли у меня отец и мать. Я отвечала, что отец мой умер в апреле этого года<sup>92</sup> и что я по нему ношу траур, что у меня есть мать старушка, сестра замужем за цензором и брат, который учится в Москве. Потом спросил про мое воспитание, где я училась, давно ли занимаюсь стенографией, чем хочу выйти и пр. На все эти вопросы я отвечала очень просто и серьезно; вообще я держала себя очень сдержанно, хотела поставить себя на такую ногу, чтобы он не мог мне сказать ни одного лишнего слова, ни одной шутки. Мне казалось, что такое поведение было самое лучшее, потому что ведь я пришла работать, я вовсе не знакома, следовательно, зачем же пустые разговоры, гораздо лучше и приличней было держать себя серьезно; Федя впоследствии мне рассказывал, что он был истинно поражен, как я умела себя держать, как я отлично себя вела, так что в нем ни в каком случае? не могло явиться? ни одного вольного слова, так заставил молчать мой хороший серьезный тон; я, кажется, даже ни разу не засмеялась; Федя говорил мне, что это умение держать себя ему очень понравилось, что умение поставить себя сразу в почтительные отношения; он же привык так много раз видеть нигилисток, и, вероятно, ожидал, что и я буду такая. Когда мы разговаривали, Федосья приготовила в другой комнате чай, внесла его к нам и подала по целой булке. Принесла на блюдечке и лимон. Я стала пить. Тут Федя опять спросил, не хочу ли я курить, я отвечала, что никогда не курю. Потом он встал, подошел к окну, где у него в бумажном мешке лежали груши, вынул их 2 и просто из рук подал мне одну. Мне показалось это несколько странным, такая басцеремонность, ведь мог бы он положить ее хотя бы на тарелку. Я преспокойно взяла и без всякой церемонии съела.

Он начал рассказывать про себя, говорил о том, как он четверть часа стоял под боязнь смертной казни и как ему оставалось жить только 5 минут, наконец он доживал минуты и как ему казалось, что не 5 минут осталось, а целых 5 лет, 5 веков, так ему было еще <долго?> жить. Разделены они были на 3 разряда по 3, он был во 2-м ряду; первых уже подвели к столбу, одели в рубашки, через минуту они были бы расстреляны, а затем была бы и его очередь. Как он желал жить, господи, боже мой! Как ему казалась долгой жизнь, сколько доброго и хорошего можно сделать; тут припомнилась вся прежняя жизнь, ее не совсем хорошие употребления, и так захотелось все испытать, так захотелось еще пожить много, много. Но вдруг послышался отбой, тут он ободрился. Затем 3-х приговоренных отвязали и всем прочитали смягчение приговора, его же на 4 года в каторгу в Омск. Как он был счастлив в тот день, он такого и не запомнит другого раза. Он все ходил по каземату (в Алексеевском рavelине) и громко пел, все пел. Так он был рад дарованной жизни. Потом допустили

прийти брата проститься и накануне рождества Христова отправили в <Сибирь?>. У Феди сохранилось письмо, написанное в тот день, в день прочтения приговора, к брату Мише (он его недавно достал от своего племянника<sup>93</sup>). Федя очень много мне в этот вечер рассказывал, и меня особенно поразило одно обстоятельство, что он так глубоко и вполне со мной откровенен. Казалось бы, этот такой по виду скрытный человек, а между тем мне рассказывал все с такими подробностями и так искренно и откровенно, что даже странно становилось смотреть. Мне же это ужасно как понравилось, эта доверенность и откровенность.

Мне несколько досадно было то, что он так долго не начинает мне диктовать; становилось поздно, а мне сегодня приходилось ехать домой, потому что маму я не видела с самого утра, а обещала, между тем, прийти сейчас после работы; к Сниткиным ночевать мне не хотелось идти. Мне даже хотелось об этом ему заметить, но, наконец, он сам предложил начать диктовать; я опять очинила свои карандаши (самое мое любимое занятие было очинка карандашей, и таким образом у меня руки были постоянно ужас(н о) как гряз(н ы е), все в грязи). Он ходил по комнате довольно быстро из одного угла в другой, от печки к двери, куря папиросы и быстро их меняя, окурки же бросал в папиросницу у меня на столе. Диктовал он мне очень медленно, потому что диктовал изустно, так что у меня оставалось очень много времени, чтобы сидеть, ничего не делая, и смотреть на него или рассматривать что-нибудь в его комнате. Продиктовав немного, он предложил мне прочитать написанное и с первых его слов меня остановил. Вначале были слова «Мы были в Париже», или что-то вроде того. «Как в Париже? Разве я вам сказал: в Париже? Не может быть. Я вам сказал: в Рулетенбурге». Я отвечала, что мне сказали «в Париже», иначе с какой бы я стати это написала; он меня просил переправить<sup>94</sup>.

В этот вечер он мне рассказал всю свою историю со Стелловским, какой это мошенник, как он не хотел ему уступить, какая ему решительная необходимость успеть написать роман к первому ноября непременно, а между тем, говорил, у меня решительно еще не составился план, что такое писать, я решительно не знаю, что это будет за роман; знаю только, что ему следует быть в 7 печатных листов Стелловского, а в каком это будет роде, решительно не знаю<sup>95</sup>; потом мы очень много говорили о разных литераторах, например о Майкове, которого он называл как самого лучшего человека, как одного из прекраснейших людей и литераторов. Потом о Тургеневе, про которого он говорил, что тот живет за границей и решительно забыл Россию и русскую жизнь<sup>96</sup>. Потом про Некрасова, которого он прямо называл шулером, игроком страшным, человеком, который толкует о страданиях человечества, а сам катается в колясках на рысаках<sup>97</sup>, и вообще много-много говорили о различных литературных знаменитостях.

Когда пробило 11 часов, я сказала, что мне пора идти, он спросил, куда именно, где я живу, я отвечала: «На Песках», он отвечал, что никогда ему в жизни не приходилось там бывать, что решительно не знает, где это; но я сказала, что на этот раз я пойду ночевать к моим родственникам Сниткиным, которые живут очень недалеко отсюда. Он меня просил переписать продиктованное к завтра к 12 часам. Я обещала непременно быть. Одеда шляпу и вышла; когда мы выходили из его кабинета в столовую, то он меня ужасно как поразила своей бесцеремонностью: «Какой вы большой шиньон носите, разве не стыдно носить чужие волосы». Я этому ужасно как удивилась и сказала, что у меня решительно небольшой шиньон и что это мои собственные волосы. На этот раз он меня проводил до передней и сказал Федосье посветить мне на лестнице. Когда я сходила, то спросила ее, как зовут барина, она отвечала: «Федор Михайлович». Я знала хорошо, что его зовут Федором, но не знала его отчества.

Было больше 11 часов, когда я вышла в Столярный переулок. Было ужасно как пуст(ы и н о), проходили только разные пьяницы из рабочих, и мне было довольно страшно идти в этих местах. Наконец, в конце я нашла извозчика-старичка, которого наняла за 40 копеек. Я его очень торопила, чтобы поскорее доехать домой, и так как это был очень добрый старичок, то с ним разговаривала о разных предметах и преимущественно о деревне. Потом ему сказала, что за мной хотели прислать человека, а не прислали, так вот я и запоздала. Наконец, он привез меня домой, и я должна была еще стучаться, потому что мама, полагая, что я ночую у Сниткиных, заперла на ночь дверь. Она услышала стук и отворила дверь. Я ей рассказала весь мой день, хотя в сущности была вовсе не так довольна им; но мама показала, что очень довольна и рада, что познакомилась с этим человеком, с знаменитым писателем, рассказывала с восторгом о его откровенности со мной; потом я легла поскорей и просила маму разбудить меня пораньше, чтобы успеть переписать продиктованное и принести ему.

Теперь этот же день нынешнего года. Федя вчера мне говорил, что мне ни за что не встать завтра и не отнести письмо на почту; я с ним об этом поспорила и сказала, что непременно завтра это сделаю. Встала я довольно рано, сейчас села оканчивать письмо и в 9 часов уж вышла из дому. Наша хозяйка дала мне свой зонтик, и я была этому ужасно как рада, потому что дождь шел как из ведра. На почте я получила письмо от Паши, но, разумеется, не распечатала. Он обещал большую \*, а по весу письма оказалось, что письмо уж слишком маленькое. Мне было, право, гораздо приятнее получить письмо от мамы, чем от Паши; я получила свое письмо нефранкованное и отправилась домой. Федя еще спал, когда я пришла. Я подала ему письмо, но он его только распечатал, а не прочел и встретил его вообще очень равнодушно. Мне представилось, что он сейчас так и набросится на письмо; но это было совершенно напротив; он оделся, нашелся кофею и даже рассердился, когда я ему заметила, что он не прочитает письма. Уже напившись кофею, эдак, пожалуй, через час после получения письма, он наконец, сел его читать. В нем было еще письмо от Эмили Федоровны. «Она пишет по-немецки, — сказал он, — вот за это спасибо, так я и пойму». Я отвечала, что в таком случае я возьмусь читать его и переводить. Впрочем, это совершенно хорошо, что она пишет на своем языке, потому что русского решительно не знает. Начал он читать Пашино письмо и даже немного подсадовал на него. Оказывается, что Маша и мама предлагали ему 2 места: одно в Ладугу, к мировому судье, а второе на железную дорогу, оба по 25 рублей в месяц. Это меня заставило призадуматься, говорит он. Только призадуматься, а еще не взять место. Это, право, даже смешно. Мальчик вообразил себе, что ему так и будут валиться места, и вдруг решается раздумывать и просить 3 различные отсрочки для решения, между тем, как место могут сейчас занять. Право, этот человек не понимает, в чем дело. Вот если бы ему пришлось самому ходить да хлопотать за местом, если бы у него не было средств и человека, который его кормит, если бы ему пришлось самому целые дни ходить, просить и ничего не получать, никакого места, тогда бы он, должен быть, и понял, как нужно дорожить местом. А то ему эти 2 бабы, Маша да мама (право, как они меня любят, ведь они вовсе не для него стараются, а только желают, чтобы он нас освободил от своего присутствия), стараются для него, ищут ему место, а он еще кобенится и смотрит, выбирает. Правду Майков говорит: «Вот место министра он, пожалуй, возьмет, а что вот <когда?> ему отыскали \* маленькое хотя в 12 рублей, так это ему не годится»<sup>98</sup>. Теперь уже не в 12, а в 25, так он и тут кобенится; право, ведь не хлеб за брюхом ходит, а брюхо за хлебом, пора бы, кажется, это было понять. Паша пишет,

\* *Может быть*: прискакали

что, по его мнению, место по железной дороге ему кажется выгодней, а Федя так думает, что для него гораздо было бы лучше, если бы он поехал в Ладогу; может быть, нет ли тут какого-нибудь тайного со стороны Феде желания избавиться от его присутствия. Не знаю хорошенько, а я бы желала даже очень, чтобы так было. Мою просьбу насчет Ольхина он не исполнил, и я понимаю почему. Стенографией он решительно не занимается, следовательно, как же он может являться к Ольхину, понятно, что очень стыдно. Меня это обидело, и я непременно ему напишу и извинюсь, что осмелилась беспокоить его своей просьбой. Паша просит непременно, чтобы Федя написал свой адрес, потому что имеет к нему какую-то просьбу. В чем она может состоять, это понятно, — разумеется, просить денег, но ведь у нас у самих нет, откуда же мы возьмем этому мальчику, который не может управиться с деньгами, которые ему дают на содержание. Письмо Эмилии Федоровны полно разного рода упреков, т. е. что ей не давали адреса, что у нее не было ни гроша, с чем переехать с дачи, что они там жили до 26 сентября, что она заложила салоп и не знает, с чем его выкупить. Вот это смешно, ведь и у меня тоже мой салоп заложен, вот уж больше полгода, так ведь прежде чем выкупить ее салоп, необходимо мой выкупить. Экая важность, что какая-нибудь дрянь, с позволения сказать, отрешь, баба, которая желает еще молодиться, желает иметь хороший салоп, что за важность, что ей неприятно ходить в гости в дурном салопе <...> Федя не хотел читать по-немецки и просил это сделать за него; я начала читать, но с расстановкой, как бы очень затруднялась ее почерком. Вдруг я вижу, что она что-то говорит о маме. Я посмотрела, и боюсь, чтобы тут не было какой-нибудь жалобы, я преспокойно пропустила это место и начала читать ниже. Так что эта жалоба ее так-таки и осталась для Феде неизвестной. И какая это подлая женщина, как я теперь вижу; мало ей того, что Федя передал ей и еще платит за квартиру, так нет, непременно нужно лезть со своими жалобами, со своими нуждами, между тем как Федя писал ей, что он сам без денег, что у него у самого только на один месяц житья, а что потом он решительно не знает, что ему будет делать. Она говорит, что Анна Николаевна через Пашу передала ей, что Федя перестанет платить за их квартиру, однако, так как это было передано через других, то она не придает никакой веры и продолжает жить в его квартире. И какой это гнусный Паша, непременно нужно ему было передать, если он действительно это и слышал от мамы. Мальчишка, занимающийся бабьими сплетнями, так это красиво. Ну уж семейка, нечего сказать. Я только должна отдать справедливость Феде, что он не решился взять на себя, чтобы написать эти сплетни Феде, а предоставил это сделать своей мамаше. Это было сделано очень умно и деликатно. Такое было письмо; я начала сейчас охать да ахать, что у них денег нет, но Федя как-то это принял довольно хладнокровно. Господи, если бы это было на самом деле, как бы я была счастлива. Но нет, разве на это можно рассчитывать, чтобы он стал больше заботиться о своем семействе, чем о чужом, ведь это решительно невозможно, он решительно не такого характера, поэтому мы всегда можем надеяться жить в нищете и что у меня всегда будет заложен салоп и только для того, чтобы у его невестки салоп был выкуплен, и чтобы у нее были за столом сладкие пирожки. Ах, как это все гадко и подло!

Потом Федя принялся писать, а мне было немного нехорошо сегодня, но потом все-таки прошло. Пошли обедать, после обеда Федя зашел к одному доктору Мауог, про которого говорил нам Огарев. Но оказалось, что того нет дома и не будет до понедельника. У Феде сегодня ужасно как сжимает сердце, так что я до ужаса начинаю побаиваться, чтобы как-нибудь он не заболел. Поэтому-то я уговаривала его непременно зайти к доктору <...> Нашли и доктора, но девушка его объа-

вила, что он принимает только от 1 до 2-х, а что в другое время его и заставить нельзя. Федя спросил ее: «А если бы человек умирал в 2 часа ночи, то доктора и заставить нельзя?» — «Нельзя». «Никогда нельзя?» — «Никогда нельзя, кроме указанных часов».

Ну что это за подлещи, как возможно это? Да эдак человек может умереть без доктора, которого по всему городу будут искать и ни один не согласится идти не в отведенный час. Ведь это варварство, а не <о б р а з о в а н и е>. Ведь доктор должен быть готов идти каждую минуту, каждый час, как и священник. Эдакий подлый обычай. Гуляли мы довольно долго. Потом пришли домой. Я села писать. День был сегодня такой, какой бывает у нас в великом посту, когда Нева расходится и когда льдины бывают желтого цвета, а ветер ужасно резкий, юго-западный, кажется. Ужасно грустно глядеть; это будет, я думаю, иметь влияние и на роман Феде; тем более, что никого не видеть, ни с кем не говорить, все-таки очень дурно будет на него действовать. Федя сегодня сказал за обедом, что ему очень бы не хотелось умереть, не увидев Сонечки. Кажется, он ее очень любит, милую мою девочку или милого моего мальчику, а я так ужасно люблю. Как-то сегодня Федя мне сказал, что с тех пор, как он на мне женился, у него ничего не удастся, ни денег нет, ни роман не ладится; точно, право, я какой-нибудь Jettatore\* как несчастная \*. Дома я много читала, потом легла спать после чаю, и Федя несколько раз очень ласково подходил ко мне и говорил, что он только мною и дышит, только и живет мною. Милый Федя, дай бог, чтобы он меня любил так, как я его люблю.

*Четверг 17/5 <октября 18>(66).* Встала я довольно рано, был хороший день, я напилась поскорее кофею и принялась писать, но оказалось, что письма гораздо больше, чем я думала, и потому я едва могла окончить переписывание к 11 часам, тем более, что к нам приходили жильцы и все мне мешали. Так что вместо того, чтобы идти пешком, как я располагала, мне пришлось ехать на извозчике и то, кажется, я опоздала на 20 минут. Когда я вошла к нему, он мне заметил, что думал, что я уж не приду к нему, потому что опоздала; я спросила, почему; он отвечал, что, может быть, работа показалась слишком трудной, невыполнимой, а потому и не явилась; а я, как назло, не знаю вашего адреса. Это многие так делают, и со мной бывало: возьмутся работать, а потом видят, что силы нет сделать, так и бросают. Я отвечала, что в этом случае непременно известила его, а не поставила бы его в ложное положение. Он взял принесенное мною и начал читать и поправлять, и тут заметил мне, что я не так написала, как было нужно мне это сделать. (Он мне дал бумагу, по которой обыкновенно пишет, с небольшими линейками.) Я села напротив него и стала читать газету, но потом спросила, не мешает ли ему шелест газеты; он отвечал: «Какая вы щепетильная».

Мы много разговаривали с ним; Федосья снова принесла кофею, потом я стала писать; диктовал он мне немного и снова просил прийти сегодня вечером. Хотя мне это было немного и неприятно, потому что ночью довольно страшно идти, но я отвечала, что приду, что же тут было делать; я в это время даже немного подсадовала на Ольхина, зачем он не условился с ним, когда приходите, а самой мне замечать было неловко. Мне было даже немного странно подумать, что неужели он сам не понимает, что приходите 2 раза в день очень затруднительно, и что мне гораздо выгоднее было больше продиктовать, но зато только один раз прийти. (Вчера он меня спросил, что это будет стоить, чтобы мы потом не стали спорить, чтобы мне не было обидно. Я отвечала, что так, как условлено с Ольхиным, т. е. 30 рублей, и что он может быть уверен, что я потом не стала бы спо-

\* Человек с дурным глазом (*итал.*).

рять.) Просидела я у него, кажется, 2 часа и потом пошла к Сниткиным, у них обедала и просидела до вечера; у них же и переписала; Маша Сниткина читала начало и из него заключила, что роман наш никуда не годится; право, такая дура. Когда пробило 8 часов, я поспешно пошла, чтобы опять не опоздать. На этот раз пришла, кажется, 5-ю минутами раньше, так что даже похвасталась своей точностью. Его Федосья, кажется, должна была разбудить, потому что когда я пришла, то на диване у него лежала белая подушка и одеяло. На этот раз у нас было тоже больше разговоров, чем диктовки; положим, хотя мне эти разговоры и были приятны, но, право, было несколько досадно, зачем мы не диктуем и что у нас это дело так слабо подвигается. Опять при моем приходе принесли чай и он подал грушу, но сегодня я почему-то ее не съела. Он меня расспрашивал, почему я занимаюсь стенографией, разве я бедна, я отвечала, что у матери имеется 2 дома и мы получаем около 2-х тысяч, но есть и долги, а что если теперь у нас и есть чем жить, то, может быть, случится в будущем того не будет, а следовательно, работать следует приняться заранее. Потом говорила ему, что хочу самостоятельности, потому-то и хочу работать.

Он мне много рассказывал про за границу, про свои путешествия, как он играл на рулетке, как проигрался и как должен был заложить свой чемодан в Гомбурге. Потом спросил меня, хочу ли я ехать за границу. Я отвечала, что это мое самое задушевное желание, и что я, может быть, даже и поеду. Он спросил, что же я хочу там смотреть; я отвечала, что природу, горы, наконец, произведения искусства, хочу поучиться. Он вдруг мне сказал: «Поедьте на будущее лето вместе за границу, я вот поеду, вы бы согласились ехать, вас бы отпустили?» Я отвечала, что я того решительно не знаю, отпустили бы меня или нет. Потом много разговаривали про разных литераторов, про свою прежнюю жизнь, и как-то зашел у нас разговор об имени Анна. Он сказал, что как-то ему случалось постоянно видеть, что Анны бывают нехороши; я отвечала: «Да, это правда, я сама знаю, что я нехороша собой». Он ужасно как удивился и сказал: «Неужели вы могли подумать, что я мог бы вам сказать, что вы нехороши. Я совсем не то хотел сказать, я хотел сказать, что характером они бывают нехороши, холодные, скрытные, сдержанные и пр.» Он несколько раз повторил, что не понимает, как я могла подумать, что он способен прямо мне сказать, что я нехороша собой. Что меня опять поразило, так это его страшная откровенность со мной, его откровенные рассказы о своих несчастьях. Вот, думала я, какой это странный человек, он меня решительно не знает, а между тем, как сильно откровенен; впрочем, мне это очень нравилось.

Пришла я к Сниткиным поздно, очень плутала по улицам и вышла на Канаву вместо того, чтобы выйти на Вознесенский проспект. У Сниткиных я сказала, что <он> велел меня проводить девушке, потому что иначе им бы показалось это странным, а ему сказала, что у моих родственников, которые живут на Фонтанке, ждет меня человек, который проводит меня до дому. У Сниткиных я много разговаривала про него, про его разговоры и рассказы, и они очень интересовались узнать о нем. Тогда я еще не знала, за что он был сослан, а Сниткины начали меня уверять, что он сослан был за убийство кого-то, а кажется, что за убийство своей жены. Но не знаю, почему все время мне было ужасно как грустно: эта ли беспорядочная жизнь, т. е. что я очень часто и по целым дням не бываю дома, решительно не знаю, а это меня начало ужасно как тяготить.

1867. День сегодня прелестный, чудный. Я сегодня насилу могла уговорить Федю, чтобы он пошел к доктору Strelin, Федя все не хотел, уверял, что придется отдать 5 франков, а что гораздо лучше, если он не пойдет. Я его, однако, послала. Перед уходом мы чуть не поссорились. Старухи

наши не купили дров нам и сказали мне, что ведь мы им ничего не сказали; когда меня Федя спросил о дровах, я ему передала их слова; он ужасно как рассердился и побежал к ним; я его остановила, но он пошел и там побранился (чем старухи потом очень обиделись, но я просила их не сердиться, потому что теперь он болен). У меня болела голова, и я легла в постель; Федя начал в волнении ходить по комнате. Наконец, сказал про меня, что я злючка. Я расхохоталась, подбежала к нему, поцеловала его, он как ни старался сохранить серьезный вид, ему не удалось, он тоже расхохотался, сказал мне, что на меня решительно нельзя сердиться.

Воротившись от доктора, он сказал, что тот не нашел никакого серьезного расстройства сердца или легких, но объявил, что Федя ужасно раздражен и прописал какие-то пилюли, велел принимать по 3 раза в день, просил прийти через 8 дней; потом, говорит, мы посмотрим, нельзя <ли> приняться за припадки. Меня эти слова несколько обнадежили; может быть, он примется лечиться и, бог даст, вылечится. Федя, сходя к доктору, как-то успокоился, и я тоже. Мы пошли до обеда прогуляться, сходили на почту, но, разумеется, ничего не получили, а потом заходили в аптеку за лекарством. Взяли 1 франк. Федя по одной дороге к доктору сходил заложить свое золотое кольцо и воротился не в духе. Какие это подлецы: прежде за 2 кольца давали 24 франка, а теперь за одно его большое кольцо дали только 11, даже хотели дать 10. Да к тому же с таким презрительным видом, с такой дерзостью, просто ужас. Вот еще удовольствие сносить презрение закладчика, а что же делать, иначе ведь и нельзя; должно быть, у нас так на роду написано быть постоянно в бедности, да в нищете. Тут на дороге Федя и принял свое лекарство, одну пилюлю за полчаса до обеда <...> Как мы ни экономили, а деньги все-таки выходят, так что, пожалуй, завтра выйдут те деньги, которые у нас есть, и тогда мне придется опять идти к этому портному и просить денег <...> Идти с такой вещью, которая в глазах их не имеет никакого значения, именно, с кружевной косынкой, с белой тальмой и с черной шелковой кофточкой. Разумеется, они осмотрят все эти вещи, объявят, что они старые и никуда не годятся, а, пожалуй, и совсем откажут дать нам денег. Мне страму-то, страму-то не хотелось бы переносить; уж и так много горя, а тут какой-нибудь подлец портной смеет взять над тобой вид превосходства. Вечером мы с Федей ходили гулять по городу, но все так грустно, так грустно, что и представить себе нельзя. Я здорова. Федя, прощаясь со мной, сказал мне, что он вполне уверен, что сегодня с ним припадка не будет, потому что так он чувствует. Но мне почему-то не поверилось ему, и я была права.

*Пятница 18/6 <октябрь>*. Прощались мы с Федей в 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, и я слышала, что он еще ворочался на постели, когда была половина 3-го. Я не могла сначала заснуть хорошенько, но потом, чуть только завела глаза, как ровно в 3 часа услышала его крик <sup>99</sup>. Несмотря на его увещание не пугаться, я до такой степени испугалась, что перевернулась раза 3 на постели. Наконец, вскочила, и у меня до такой степени сильно сердце билось, что я принуждена была выпить стакан воды, чтобы несколько успокоиться. За себя-то я решительно не боялась, но вот за Сонечку или за Мишу я ужасно как боялась, чтобы не исполнились слова Стоюниной <sup>100</sup>, которая мне говорила, что она очень за меня боится, если у меня будет ребенок, то я во время припадка испугаюсь и выкину. Я зажгла свечку и подбежала к Феде. Припадок был, кажется, не из очень сильных, но глаза страшно скосились и зубы скрипели; я начала опасаться, чтобы у него вставные зубы как-нибудь не выпали в это время и чтобы он их не проглотил. Тогда бы он, верно, подавился; потом, как только он очнулся немного, я сейчас просила открыть рот, он открыл, и я могла успокоиться. Но тогда Федя пристал ко мне, зачем я его просила открыть рот, да почему, да с какой



*Вид Миланского Собора, который Ф. М. Достоевский признавал за один из величайших произведений архитектуры Н. Дуомо (Di Piazza)*

МИЛАНСКИЙ СОБОР. ФОТОГРАФИЯ. ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ ДОСТОЕВСКОМУ,  
С НАДПИСЬЮ А. Г. ДОСТОВЕВСКОЙ:

«Вид Миланского собора, который Ф. М. Достоевский признавал за одно из величайших произведений архитектуры Н. Дуомо Di Piazza», 1869 г.

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

статьи, просто я не знала, что мне и ответить. Мне казалось, что он еще не пришел хорошенько в себя, когда пожелал мне долгого счастья на свете. Я сказала: «Ну так пожелай Сонечке или Мише». «Ну да, Сонечке или Мише», — сказал он, улыбаясь, так что это он совершенно ясно понял. Потом, когда он очнулся, я легла поскорей в постель, потому что у меня начал болеть живот. От 4-х до 6 часов я спала довольно хорошо, как вдруг мне сделалось ужасно как тяжело, и я не помню, как я очутилась на полу и как меня начало рвать. Но что это была за боль: просто невыносимая, грудь раздирающая, так что мне казалось, что меня внутри ножиком режут. Рвало меня много и желчью; вероятно, это следствие испуга, и я была даже рада, что меня вырвало, потому что иначе это все легло бы на ребенка. Федя проснулся от моих стонов и зажег свечку; но потом, через четверть часа, мы легли и проспали до 10 часов.

Утром, еще в дождик, я сходила на почту, мне так хотелось получить письмо и деньги, чтобы не ходить к этому портному. Но ничего не получила. День сегодня дождливый, пришлось идти обедать чуть ли не по дождю, после обеда Федя отправился немного почитать, а я пошла будто бы узнать к портному, когда он будет завтра дома; в сущности, я пошла побродить, потому что у меня была какая-то тайная надежда, что деньги, может быть, завтра придут и что я таким образом хотя на одну неделю избавлюсь от этого страму, от этой необходимости бежать и сходитьсь с подлецами <...> Когда я пришла домой, то сказала Феде, что не застала

ни мужа, ни жены, а что мне сказали прийти завтра. Федя вместо прогулки лег спать и проспал часа 2, а я в это время перебирала в комодах<...>

Вечером читали «André», какой это мне показался скучный роман, право, хотя Федя говорит, что это один из лучших ее романов; удивительно скучный; и, должно быть, причина этого заключается в том, что у меня на душе тоска и что мне жизнь не очень-то сладка, вот от того-то все это кажется дурно. Право, я только и желаю, хотя бы день сегодня прошел, думаю я, вот еще бы день, да только поскорей, пока какие-нибудь денежки придут и мы не станем так сильно нуждаться; потом напильсь чаю, вытопили печку, которая у нас очень нагрела комнату. Федя сегодня выходил из себя, и вот по какому случаю. У наших хозяек младшая имеет привычку каждый день ставить стулья не к столу, как следует, а всегда друг за другом, что выходит ужасно неудобно. Правда, это неудобство уж не так важно, чтобы стоило о нем беспокоиться, но Федя выходит почему-то из себя и каждый раз бранится. Мне же было как-то неловко сказать ей об этом, ведь это такие пустяки, что стоит ли об этом напоминать, точно мы уж никак сами не можем переставить этих стульев, а непременно это нас бесит. Но сегодня Федя окончательно вышел из себя и начал ходить в бешенстве по комнате и объявил мне, что если это будет продолжаться, то он непременно удавится от меланхолии, так это сильно на него действует. Сегодня в кофейне он видел Огарева и собирался с ним <поговорить> насчет того, куда бы нам переехать. Тот сказал, что в Vevey, например, очень хорошо, и что туда бы можно, и что если мы хотим, то он может даже там кому-то написать, чтобы приискали\* квартиру. Федя сказал, что теперь он еще не думает переезжать, потому что не при деньгах, а что разбогатеет через месяц. На это тот отвечал: «Ну, если уж переезжать, то следует переезжать теперь, не позже, потому что, вероятно, квартиры возьмутся».

6 число <октября> 1866. Сегодня я пошла к Феде стенографировать от Сниткиных и постаралась, так как это очень близко, то прийти в назначенное время, а не как прежде, опоздать на целый час. Когда я условливалась (я ходила всегда в черном шелковом платье), то он меня спросил: «А вы опять-таки в одном и том же платье?» Меня это ужас как удивило. (Вот странный вопрос, подумала я, а почему он знает, может быть, у меня только одно это платье и есть). Я спросила, что ему кажется странным. Он сказал: «Да вы все приходите в шелковом, я думал, что вы наденете попроще». Я отвечала, что это мое обыкновенное платье, что я его всегда ношу.

— А вы ведь меня вчера обидели, — сказал он.

— Чем это?

— Да я дал вам грушу, а вы ее не съели; зато я ее съел и сегодня вам не дам.

Я отвечала, что сделала это, вовсе не желая его обидеть, а просто потому, что забыла съесть ее. Пока он поправлял, я просила позволения посмотреть его карточки и села к столу и стала рассматривать, но чтобы ему не помешать, старалась сидеть очень смиренно. В этот раз он меня выбранил за то, что я забыла поставить на одном листочке №. Сначала сказал, что это забывать нельзя, а потом понес разную чепуху насчет того, что женщина ни на что не способна, что женщина не может нигде служить, ничем заниматься, хлеб себе зарабатывать, что она вечно испортит и пр. и пр., так что мне под конец даже стало это несколько обидно, его бесцеремонность, и я даже одну минуту подумала: «Нет, зарабатывать хлеб тоже иногда приходится горько, когда начинают говорить такие неприятности, и это даже один из лучших людей, а что будет у других, менее развитых людей. Нет, уж лучше выйти за кого-нибудь замуж, чтобы не подвергаться

\* *Может быть: отыскали*

этим неприятностям». Наконец, он кончил, а во мне осталось ужасно какое неприятное впечатление, какая-то незаслуженная обида, несправедливость. Потом он меня спросил, не хочу ли я получить от него теперь деньги, что, может быть, мне теперь они нужны, а что потом, пожалуй, у него и у самого их не будет. Я отвечала, что покамест мне не надо, потому что ведь я могу же обмануть его, и что я никогда не беру заранее за то, что еще не сделала. Сегодня вечером я просила позволения не приходить, потому что нужно было быть на стенографии непременно, так как ведь должен же знать Ольхин, как идет моя работа, даже это было бы очень неловко в его глазах, если бы я сегодня не пришла. По правде сказать, эта неделя для меня была такая сумасшедшая, что я просто и не знаю, просто меня не было дома, постоянно моя бедная мамочка сидела дома одна; я ее оставлять одну не привыкла и мне было даже немного скучно без нее. Почему я была очень рада, что могу провести вечер один дома.

Когда я вышла от Феде, то пошла по Мещанской. Здесь мне встретился тот молодой человек с голой грудью, в туфлях, которого я видела при первом моем приходе к Феде. Я не знала, да и потом долго не знала, что это был его пасынок, а думала, что это племянник. Молодой человек очень грубо со мной раскланялся и объявил, что ему не хочется входить в комнаты Федора Михайловича, а что очень хотелось бы видеть, что это за стенография, взял мой картон из рук и, развязав, начал смотреть написанное. Эта развязность меня очень удивила (я не знала, что не входил он в комнаты, потому что Федя имеет привычку на него кричать, так что и ему бывает стыдно, и другим неловко). Потом он спросил адрес Ольхина и объявил, что скоро присоединится к числу его учеников. Потом раскланялся, нахлобучил шляпу набекрень и отправился домой (в первый раз издали он мне показался недурен, но здесь я его разглядела хорошенько: какой он желтый, с какими-то черными пятнами по лицу, совершенно цыганское или татарское лицо).

Я пошла домой, села в дилижанс и приехала только на одну минуту, чтобы повидаться с мамой. Я была ужасно как усталая; мама сейчас дала мне поесть, кажется бифстекс, и я, <немного?> посидев, отправилась на стенографию. Усталая я была страшно, до невыносимости, так что мне эта бродячая жизнь ужасно как надоела. На улице встретился мне Ольхин и спросил меня, как идет моя работа. Я отвечала, что очень тихо подвигается, потому что он мало диктует, так как у него еще не готово, а что потом он надеется больше диктовать; а до тех пор пока мне приходится ходить к нему 2 раза в день. Ольхину это не понравилось, и он сказал, что об этом даже следует поговорить с ним. Вот это уж било мне карты. Я боялась, чтобы Ольхин не явился к нему и не вздумал сказать, что это против нашего уговора, одним словом, показать, что будто бы я ему жаловалась на трудность работы, а это могло бы мне повредить в мнении Феде. Наконец урок кончился. Я пришла домой и так была рада посидеть дома, хотя мне пришлось довольно много писать. За это время я ужас как \* и мне это было ужасно совестно и досадно, такая небрежность. Дома я все рассказала маме про него, и про его ко мне любезность и откровенность, которая была для меня очень приятна; пересказала все его разговоры, одним словом, всю его жизнь, которую только знала из его рассказа. Он уж начинал мне тогда очень нравиться \*

8 октября 1866 \*\* Я помню, в этот день я была утром по обыкновению у Феде и так как уж 2 дня не случалось приходить вечером, то на этот раз нельзя было ничем отговориться и я обещала непременно прийти, чтобы

\* Следующие 12 страниц (137—148) стенограммы вырезаны; 3 строки, сохранившиеся на вырезанной 138-й странице, зачеркнуты.

\*\* В стенограмме: 1867, поаднейшее исправление чернилами на 1866.

диктовать. Утром от него я отправилась к Сниткиным, у которых осталась обедать, а после обеда принялась писать, чтобы вечером отнести продиктованное <...> Когда пробило 8 часов, отправилась к Феде. В комнате у него было полутемно по обыкновению, потому что 2 свечи, стоявшие на его письменном столе, не могли вполне осветить ярко всей комнаты; но мне по вечерам эта комната удивительно как-то нравилась, или потому это было, что уж и Федя начинал мне тогда нравиться и мне было <всегда?> приятно говорить с ним. Он сидел за письменным столом и тотчас встал, когда я вошла; я села на свое обыкновенное место за его стол \*, а он поместился напротив меня, и мы начали разговаривать. В этот вечер диктовали мы очень мало, а все больше говорили, и все о разных, разнообразных предметах; опять были рассказы о заграниче, о разных наших литераторах, бранил он Петра Великого, которого просто считал своим врагом и теперь винил его в том, что он ввел иностранные обычаи и истребил народность. Потом толковали о том, что у него в жизни будет 3 случая: или он поедет на Восток, или женится, или же, наконец, поедет на рулетку и сделается игроком. Я сказала, что если уж что выбрать, то, конечно, пусть женится.

— А вы думаете, что я не могу еще жениться? Вы думаете, что за меня никто не пойдет?

Я отвечала, что этого решительно не думаю, а скорее думаю, что решительно напротив.

— Скажите же, какую же выбрать: умную или добрую?

Я отвечала, что возьмите умную.

— Нет, если уж взять, то возьму добрую, чтобы любила меня.

Опять много очень расспрашивал про меня, про мою семью и очень часто во всю эту неделю повторял разные вопросы, на которые я ему уж несколько раз отвечала, но так как у него очень плохая память, то он скоро это забыл и потом снова меня спрашивал. Рассказал о своих долгах, о неблагодарности семейства своего брата, как оно рассказывает, что будто бы дядя промотал их состояние, что у них было оно большое, а все пропало через дядю; как жених, дочь и мать собирали совет, желая отстранить его от дела, а когда он сам отстранился, то мать же пришла просить, чтобы он ее не оставил, а опять начал бы помогать, как это было и прежде. Говорил, что он после смерти брата начал один издавать журнал и положил на него 10 тысяч рублей, которые взял от тетки, назначенные ему по завещанию, а когда журнал не пошел, то деньги его лопнули и ему пришлось еще взять на себя ужасно много журнального долга и долга его брата <sup>101</sup>. Что в 63-м году, когда он принужден был заключить этот контракт с Стелловским (по которому он и обязался написать этот роман), то из полученных за это 3 тысяч отдал за долги 2 тысячи, потом в продолжение зимы отдал еще долг на 1000 рублей, а теперь еще осталось у него тысяч на 10 долгу; но именно из них он намерен сделать \* 2-е издание своего нового романа «Преступление и наказание», рассказал он про Корвин-Круковскую, говорил, что это очень прекрасная девушка, что она недавно уехала, теперь за границей и он недавно получил от нее письмо <sup>102</sup>. Рассказал о Москве, о своих многих родственниках, о Сонечке, Мусиньке, Юлиньке и о Елене Павловне, которую он представил за ужасную страдальицу и за удивительно нежную и добрую и <умную?> (потом, когда мне пришлось увидеть ее, она мне вовсе не показалась такой, так что я решительно думаю, что он это придумал <sup>103</sup>). Рассказывал про каторгу, про Петропавловскую крепость, про то, как он переговаривался с другим <и> заключенным <и> через стенку и про очень, очень многое. Тут он мне в первый раз сказал, что он был женат и что жена его умерла, что она была

\* *Может быть*: у его стола.

страшная ревнивица, и показал мне ее портрет. Право, она мне очень не понравилась, какая-то старая, страшная, почти мертвая. Правда, он говорил, что она снималась за год до своей смерти и потому такая страшная. Мне она ужасно как не понравилась, и мне по первому взгляду показалось, что, должно быть, она очень злая была и раздражительная; по его рассказам это видно тоже, хотя он и говорил, что был с нею счастлив. Но в это время говорит о своих изменах ей; если бы уж любил ее, то ничего не стал бы изменять, а что это за любовь, когда при ней возможно любить и другого человека, да не только одного, а нескольких.

Вечер для меня прошел удивительно как приятно, так что, мне кажется, он останется навсегда в моей памяти, как один из самых лучших и хороших дней в моей жизни. Диктовали мы действительно уж слишком мало, а все больше толковали так дружно, так хорошо, что мне просто уходить не хотелось. Так я просидела до 11 часов, он мне дал с собой том своих сочинений для того, чтобы я переписала одну страницу, чтобы могли рассчитать, сколько в листе Стелловского моих страниц. Я пришла к Сниткиным <...> Маша Андреева и Саша тотчас начали меня расспрашивать про него, какой он, что говорил сегодня со мной, о чем, как я отвечала, и пр. и пр. Потом мы начали читать повесть <Феди?> о крокодиле, про которую Саша сказала, что это было написано на Чернышевского, а что дама, выставленная тут, — жена Чернышевского <sup>104</sup> <...>

*Понедельник 21/9 <октябрь>* Сегодня утром мы примирились с Федей, но все-таки еще не совсем, утром я отправилась на почту, вполне уверенная, что получу от мамы деньги. Но ужасно испугалась, когда мне сказали, что на мое имя ничего нет <...> Когда я сказала Феде, что деньги еще не пришли, то он меня начал успокаивать, что это еще ничего, что, вероятно, деньги завтра придут. Пошли обедать, и сегодня был такой превосходный обед, какой редко бывает, просто чудный, вкусный, разнообразный и с прекрасным виноградом. После обеда Федя пошел читать в кафе, а я пошла погулять немного по городу <...> Придя домой, я начала писать письмо к Анне Ивановне Майковой <sup>105</sup>, Федя завтра думает ей послать и Аполлону Николаевичу, мне и хотелось тоже вложить свое письмецо к Анне Ивановне, потому что я ей обещала писать, а в продолжение целого полгода никак не могла собраться. Потом Федя пришел за мной и мы пошли гулять. Шли, разумеется, по нашей обыкновенной улице Corratерie, гуляли по саду и встретили здесь Огарева; он куда-то спешил, но увидел нас и раскланялся; Федя говорит, что он его всегда видит в кофейной, попивающим кофе с коньяком, от чего все они какие-то пьяненькие. Федя был сегодня удивительно как весел и все острил и шутил; мы с ним гуляли и заглядывали во все магазины, особенно в те, где продаются шляпы, и Федя все выбирал, какую именно мне купить <...> Пришли домой и много разговаривали друг с другом очень дружно. Федя мне говорил, что я у него славная жена.

*9 октября прошлого года <...>* Хотя я и обещала Феде быть к нему сегодня, но так как было уже 5 часов, я была ужасно уставши, то я и решила на этот раз не ходить; мне так хотелось посидеть и поговорить с мамой, поговорить о нем. Не знаю почему, но мне казалось, что он на мне непременно женится, я даже почему-то боялась, чтобы он даже вчера мне не сделал предложения, таким он мне показался странным; я не знаю, как бы я тогда на это и ответила, мне кажется, я бы сказала, что слишком мало его знаю, чтобы выйти замуж, но что пусть он даст пройти несколько времени и когда я его несколько узнаю, то, может быть, и пойду за него. Какой я тогда провела вечер с милой мамочкой, как она мне была рада и как я была рада ей, господи, боже мой, и теперь припомнить, так как-то радостно на душе станет <...>

*Вторник 22/10 <октября>*. Сегодня я пошла довольно рано утром узнать на почте, нет ли какой-то ко мне посылки. Оказалось, что есть ко мне письмо и, кроме того, есть посылка в 10 рублей серебром; я должна была дать за кожаный конверт 1 фр. 85 с., которые и приняла на себя, т. е. заплатила скопленными деньгами, чтобы Федя не забрал, что так много приходится платить за присылку. В конверте я нашла 10 рублей серебром красной бумажкой. В письме мама очень жалела меня и писала, что присылает мне 10 рублей серебром, что продала для этого мое серое платье и что больше прислать не может. Когда я прочла в первый раз письмо, то я хорошенько его не поняла. Так как письмо и посылка пришли вместе, то мне пришло в голову, что мама пишет именно про те деньги, которые я только что получила. Я только на другой день поняла, что, вероятно, мама говорит о другой посылке, которую тоже послала. Денег было довольно мало; я зашла к банкиру и предложила ему разменять, он хотел это сделать за 33 франка, но я подумала, что могу получить больше, и сказала, что не могу отдать ему теперь, а спрошу, не найду ли дороже.

Пришла я домой и сказала Феде, что получила только 10 рублей и что мама пишет, что пришлет еще побольше. Федя сказал, что хотя это и мало, но если она пришлет еще немного, то мы, пожалуй, и можем прожить несколько времени. Он очень пенял, зачем деньги не в простом конверте, а в кожаном, я ему отвечала, что мама тут не виновата, что, вероятно, ей сказали, что иначе нельзя, и что для нее же гораздо затруднительнее посылать в кожаном, чем в простом письме, и что тут на нее пенять решительно нечего. Напилась я кофею и отправилась менять деньги, думая отыскать какого-нибудь банкира, у которого я бы могла сменить подороже. Но я заходила к 2-м — 3-м банкирам, а разменять не могла, потому что было часов 12, а здесь конторы именно в это время и бывают заперты до 2 часов, так что мне пришлось, чтобы не возвращаться домой, ходить гулять по городу. Я ужасно устала и сделалась до такой степени слабой, что едва могла передвигать ноги. Наконец, я зашла к какому-то банкиру Ravain и здесь разменяла за 33 франка 60 сант., т. е. 60 сант. дороже, но ведь и это деньги, и это хорошо. Потом зашла за чаем и воротилась домой чуть ли не в 3 часа. Федя говорит, что я до такой степени долго ходила, что он начал сильно беспокоиться и если бы я не пришла еще с полчаса, то он непременно бы пошел меня отыскивать. Он ужасно беспокоился, ему представилось, что я сделалась нездорова, что я на улице выкинула, и пр., и пр. Я ему объяснила, почему мне пришлось пробыть так долго.

Так как теперь у нас есть деньги, то Федя сегодня посылает письмо к Майкову; когда он стал запечатывать, то потребовал и мое письмо; я его положила в особый конверт и так хотела послать, но Федя непременно требовал, чтобы другого конверта не было, а письмо было вложено просто. Мне этого не хотелось, я боялась, чтобы Федя не вздумал его прочитать, а там я говорила про Пашу. Но так как мне все-таки не хотелось с ним ссориться, то мы скоро помирились, и я сама вложила письмо в конверт, он при мне запечатал и, следовательно, знать, что такое было в письме, не мог. Пошли обедать, но за вчерашний хороший обед нас накормили сегодня самым скверным обедом, которым только можно было накормить. Был суп с яйцом, ужасное кушанье, которое я терпеть не могу, были пирожки с телячьими ножками, очень холодные, тоже нехорошие, было 3-е какое-то кушанье, не знаю, заяц ли это или что другое, но в таком воюющем соусе, что я решительно даже поднести ко рту не могла. Федя, однако, ел, хотя очень морщился. Под конец подали 3 небольших кусочка говядины холодной и виноград. Это виноград-то на пустой желудок, ведь это просто мученье; решительно мы встали из-за стола голодные, и Федя даже мне предлагал идти куда-нибудь в другое место обедать, но мне жалко было денег и я согласилась лучше быть голодной, чем идти и пла-

тить еще <...> Когда мы выходили, нам попалась хозяйка гостиницы, какая-то горбатая женщина, по виду очень добрая. Федя начал ей выговаривать и объявил, что ее обед terrible, abominable\*, что мы такого никогда еще не едали. Она очень извинялась, что это так случилось, и сказала, что этого больше никогда не будет, а всегда нам будут подавать обед очень старательно. Мне даже было несколько ее жалко, так ей было совестно, что ее обед был нехорош. Она, должно быть, очень хорошая женщина и, право, ее жаль, что мы ее обидели. Когда мы вышли на улицу, Федя начал меня уверять, что 3-е кушанье в бараньем соусе было не что иное, как кошка и что он чем больше ел, тем более уверялся, что это была кошка, но отстать не мог, потому что был голоден. Тут мы пели песню: «Бедный Федя кошку съел». Пошли мы на почту отдать письмо, заплатили за него 1 франк 50 с. Когда мы шли домой, то Федя предложил мне купить сегодня ветчины и колбасы, чтобы не так сильно чувствовать голод; зашли мы в колбасную и купили полфунта отличной колбасы за 75 с.; нам дали ужасно как много, и все это было очень хорошее. Федя пошел читать, а я пошла несколько прогуляться по городу. Здесь в одном магазине я увидела ночные чепчики по 1 франку 50 с. <...> Я так соблазнилась этим, что сейчас и купила себе один чепчик. Это удивительно как дешево <...> Я всегда радуюсь, как ребенок, если мне удастся что-нибудь завести себе, потому что как-то странно и смешно приехать из-за границы и не привезти самых различных вещей; а ведь надеяться на Федю, чтобы он мне что-нибудь купил, это ведь ужасно трудно. Он все готов обещать, а когда дело дойдет до покупок, то он уверяет, что даже и не думал ничего подобного обещать. Да ведь у него и денег никогда для моих нужд не будет, всегда ведь у него на первом плане будут стоять разные его обязанности, родственники и пр. и пр., а вовсе не жена и ее желания. Теперь я так хорошо знаю этого человека, что понимаю, что ему всегда будет все равно для своей жены именно потому, что она своя, лишь бы было хорошо родственникам <...> Федю я просила погулять одного, потому что сегодня ужасно как устала и сил во мне решительно никаких нет. Он отправился, и я думала, он очень долго проходит, а он воротился чуть ли не через четверть часа. Сегодня я отнесла письмо к маме, но мне очень жаль, что я в нем писала насчет денег; всему виной мое непонимание, я ведь не поняла, что ко мне были уже посланы <вторые> деньги, а потому и писала \*\* еще <...>

*Среда 23/11 <октября>*. Сегодня, когда я пришла в кухню заказать кофе, мои старухи начали жалеть ужасно Федю: «*raucure homme malheureux*»\*\*\* и объявили мне, что он был болен. Я спросила, кто же был болен? «Да ваш муж». Я отвечала, что он, напротив, отлично спал всю ночь и ни капельки не был болен. Старуха же сказала, что она слышала страшный шум и ей представилось, что это Федя свалился с постели, и она до такой степени испугалась, что даже боялась посмотреть в окно. Я их уверяла, что это решительно вздор и что он совершенно здоров. Когда я рассказала это Феде, то он придумал, что, вероятно, когда мы уедем, они начнут рассказывать, что у них жили русские: «*une jeune intéressante personne* (это про меня) *qui était toujours si gaie*. И ее муж был *un vieux idiot* <...> *il était si méchant, qu'il tombait de son lit et c'est par méchanceté qu'il faisait cela*. Ah, *il était si méchant, si méchant, cette pauvre jeune intéressante personne*»\*\*\*\*. Наша младшая старуха почему-то считает Федю за человека, ничего

\* Ужасный, мерзкий (франц.).

\*\* Может быть: просила

\*\*\* Бедняга (франц.).

\*\*\*\* Молодая интересная особа, всегда такая веселая... старый идиот <...> он был такой злой, что падал с постели и делал это назло. Ах, он был такой злой, такой злой, эта бедная молодая интересная особа (франц.).

не понимающего. Она мне раз говорила, что она потому со мной говорит, parce qu'il ne comprend rien, rien \*. Мне это бывает ужасно как смешно <...> Денег у нас было не слишком много, и я придумала, чтобы как-нибудь их продлить, не ходить сегодня обедать, вот был удобный случай, да, может быть, и в действительности было лучше не есть сегодня и не выходить, чтобы не получить лихорадки. К тому же мне до такой степени надоели кушанья в нашей гостинице, что, право, один день здесь не есть было какое-то облегчение. Федя пошел обедать, а я осталась лежать <...> Федя сегодня кончил письмо к Паше, и так как письмо к Эмилии Федоровне еще не готово, то он решил послать его отдельно <sup>100</sup>. Он наскоро пообедал и, купив разных фруктов, винограда, зеленого и черного, и несколько груш, пришел домой меня спроведать. Он мне объявил, что ему сказали, что виноград через неделю кончится и что его уже не будет. Право, как ни надоел нам здесь виноград, а, право, будет жаль, если его не будет, он такой хороший и такой полезный для здоровья. Посидев со мной немного, объявил, что у меня все по-прежнему лихорадка, Федя отправился читать газеты, но довольно скоро воротился <...> Когда Федя воротился, то лихорадка у меня совершенно прошла, осталась только одна ужасная слабость, слабость решительно как после какой-нибудь тяжелой болезни, и нервы расстроены были ужасно, так что мне ужасно как хотелось плакать. Ложась, я ужасно как боялась, чтобы с Федей не было припадка, до страсти боялась, до ужаса; мне казалось, что если я только услышу его крик, то просто с ума сойду. Как я, право, себе расстроила нервы, просто даже гадко смотреть. Однако все кончилось благополучно, и Федя и я проспали очень хорошо.

*Четверг 24/12 <октября>*. Сегодня я встала в 6 часов, утром ужасно мучилась голодом до половины 10-го, когда, наконец, разбудила Федю; хотя мне и было ужасно неприятно его будить, но делать было нечего: мне уж слишком хотелось есть, я даже боялась, чтобы со мной не сделалось тошноты от того, что я так долго ничего не ела. К тому же я вчера не обедала, следовательно, голод был еще больше. Утром я все гладила и стирала платки и мое черное шелковое платье, чтобы оно было в порядке. Оно уж так разорвалось, что сколько его ни починаяй, ничего не выходит. Я просто не знаю, в чем я скоро буду ходить. Хотела идти утром на почту узнать, но потом отдумала, потому что <ужасно?> устала гладить платье и силы во мне решительно не было. В 3 часа пошли обедать, обедали ужасно плохо по обыкновению (как мне наскучили наши обеды, это просто невыносимо). Потом пошли на почту. Федя отнес письмо к Эмилии Федоровне, а я получила еще 10 рублей. Пришлось опять заплатить 1 франк 85 с. Когда я Феде сказала, что только 10, он мне заметил, что, вероятно, нам нечего надеяться на присылку от мамы больших денег; я отвечала, что гораздо лучше, что она присылает хотя понемногу, чем совсем не присылала бы; что она, вероятно, думает, что у нас денег нет и что нам чрезвычайно трудно выжидать, когда она еще соберется побольше выслать, а что, следовательно, хотя ей и невыгодно и беспокояно посылать в этих конвертах, но она это делает. Право, даже смешно сказать: был бы счастлив, что еще помогает, а он тут еще недоволен, что посылает не в простых конвертах, а в кожаных. Конверт я так и не распечатала и не знала, какое сокровище в нем находится.

Когда мы шли с почты, нам попался Огарев. Мы уже давно собирались спросить у него русских книг, но Федя как-то все забывал, я сегодня и спросила. Он отвечал, что с удовольствием даст, кое-какие там выберет,

\* Потому что он ничего, ничего не понимает (франц.).



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ С ДЕТЬМИ ЛЮБОВЬЮ И ФЕДОРОМ У МОГИЛЫ ДОСТОЕВСКОГО  
НА КЛАДБИЩЕ В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Фотография, 5 февраля 1881 г.

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

что непременно даст. Вчера, когда Федя его видел там с каким-то поляком в кофейной, то как-то заговорил о своем романе<sup>107</sup>. «Какой-токой роман?», — спросил Огарев <...> Он просил Федю принести ему его роман, и Федя принес ему сегодня в кофейную 1-ю часть. Потом Федя пошел в кофейную, а я отправилась домой. Дома я распечатала конверт, чтобы достать деньги, и вдруг оттуда выпал мамин портрет. Мне сделалось так больно, так грустно, что я вскочила с места и, рыдая, побежала на постель и много, много раз целовала ее милый портрет. Вот какая милая мамочка, какая прелесть, голубушка, мамочка, как она меня сумела обрадовать, прислав свой портрет. Как я ему была рада, боже мой <...> Когда Федя пришел, я показала ему, и он очень пожалел, зачем он измят, говорил, что можно отдать его поправить, но мне поправки не нужно, нужно только, чтобы был портрет, на который я бы могла глядеть и любоваться, а что тут он измят или нет, это решительно все равно. Я сказала Феде, что когда у нас будут деньги, то он должен непременно мне купить рамку для портрета. Он сказал, что купит. Пошли мы гулять, ходили с  $\frac{3}{4}$  часа и воротились домой. Тут Федя, у которого нервы чрезвычайно как расстроены, сказал, что он ляжет спать, это было в 8 часов, до чаю, и просил меня, чтобы я не спала, а разбудила его ровно в это время. Я обещала, сначала очень старалась, чтобы не заснуть, но так как я нынче сделалась ужасной соней, то скоро заснула. Когда наша старуха пришла к нам, чтобы заварить чай, я достала и заварила чай, но мне кажется, что я все время

спала; Федя еще просил меня, чтобы я сделала теплый чай, следовательно, он тоже не спал. Сделав чай, я прилегла и опять заснула, проснулась я уже в 10 часов, т. е. меня разбудил Федя, который был в решительном отчаянии, он ходил быстро по комнате и бранил меня, зачем я не разбудила его. Мне и самой это было досадно, но все-таки вовсе не следовало бы так много и долго сердиться, как это он делал. Я ведь старалась не заснуть, но что же мне было с собой делать, если уж так случилось, что я заснула. Федя (вероятно, спросонья) имел такой смешной, обиженный вид, что мне хотелось хохотать, на него глядя. Чай, несмотря на лишний час, был все еще горячий, но Федя продолжал дуться и говорил, что меня нельзя ни о чем попросить, что я никогда не исполняю его просьбы, что на меня нельзя ни в чем понадеяться. Мне это было очень обидно слышать, я несколько раз просила у него простить меня, не сердиться, но он все-таки не мог успокоиться и все твердил, что вечер для него решительно пропал, что мы даже не успели затопить печки. Но под конец мы все-таки с ним примирились и он согласился забыть мое преступление.

*Пятница 25/13 (октябрь).* Сегодня я встала довольно рано и доканчивала письмо к маме, потому что надо ее было известить о посылке к Майкову денег и просить ее сходить к нему и заговорить с ним об этом <sup>108</sup>. Федя проспал до 10 часов, и я нарочно его не будила, чтобы он не мог жаловаться, что я не даю ему хорошо выспаться, потом написали кофею и я пошла отдать письмо на почту, а также разменять деньги, 10 рублей, на франки. Письмо я отдала, спросила там, как посылаются посылки, и разменяла за 33 франка 60 с. По дороге зашла в магазин канцелярских принадлежностей и купила там бумаги очень тонкой и конвертов, которые Федя нашел неудобными (<...>) Часа в 3 пошли обедать, и когда шли, то разговаривали о том, как Федя опять хочет ехать попытать счастья. Я сказала ему на этот раз, что я бы вовсе этого не желала, что прежде я всегда хотела и одобряла это, а теперь говорю, что все это пустяки и что ехать решительно не следует. Это значит, что к огромному числу золотых, похороненных там, положить еще 100 или больше франков, к чему это? Ведь это решено, что нам выиграть решительно невозможно, не такого мы характера, нам необходимо нужно иметь тысячи, а никогда мы не будем довольны 2 или 3-стами франков. Федя отвечал, что, несмотря на это, он непременно поедет, потому что хочет еще раз попытать счастья. Он говорит, что если будет хорошая погода, то можно будет и мне ехать, что это будет стоить только 20 франками лишних, т. е. за мой проезд. Но что он мне даст 20 франков золотом, пусть я их разменяю на 2-франковики и начну играть и, вероятно, выиграю то, что проезжу. Решительно тем, что он хочет меня взять с собой, он хочет меня задобрить, чтобы я согласилась и не говорила, что дурно, что он едет. Может быть, это так и будет, потому что ведь если я теперь не поеду, то я всех мест и не увижу, ведь когда же мы иначе соберемся отправиться в Chillon и в те места. Обедали очень хорошо и ели сегодня какой-то <сыр> Gruet (<...>) Потом я пошла домой, а Федя пошел в кофейную и хотел идти один гулять. Придя домой, я сейчас села за письмо к Вере Михайловне и Сонечке и думала его дописать, когда пришел Федя и позвал гулять, сказав, что одному скучно. Он принес стихотворения Огарева, который видел его в кофейной и дал ему эту книгу <sup>109</sup>; а насчет других книг обещал непременно к нам прислать. Он говорил, что прочел половину романа и, как кажется, он ему очень понравился. Ходили мы гулять и все разговаривали о различных наших знакомых, очень много толковали о Никифоровой <sup>110</sup>, которую и Федя очень хвалил. Потом говорили о свадьбе и решили, что наша свадьба была хоть куда. Он об одном жалел, что не был у \* с визитом. Весь вечер мы с Федей были ужасно как дружны, под вечер я заснула: мне обыкновенно бывает

ужасно как приятно поспать в это время, когда он садится работать перед чаем, свеча горит на столе, или я ее потушу и сплю. Это до того приятно, что, право, пробуждаться не хочется. Он был ко мне очень ласков, и когда я стала ложиться спать, то мы как-то заговорили о Сонечке или Мише. Он мне сказал, и говорил, что это искренне, что будет рад появлению как одного, так и другого, что появление Миши совершенно его утешит, уж не менее Сонечки. Потом он говорил, что я славная, говорил, что любит меня ужасно, очень, очень, а боится только, чтобы я его не разлюбила, говорил, что я его живой ангел. Я тоже была чрезвычайно ласкова с ним, я ведь очень его люблю. Видела во сне сегодня всю ночь Майкова, но какого-то чрезвычайно грозного, будто бы меня за что-то карающего; потом видела, что Яновский прислал нам деньги. Вот это уж очень дурной знак, вероятнее всего, как говорит Федя, что он нам откажет. Господи! Как это будет ужасно, право, чем мы тогда будем жить, особенно если и Катков решительно ничего не пришлет. Ведь это значит, мы просто погибли, нас тогда уж никто не выручит. Мне даже и подумать об этом страшно. Господи, помоги нам, дай нам возможность как-нибудь поправиться, встать на ноги.

*Суббота 26/14 <октября>*. Встала довольно рано, но не разбудила Федю, а начала писать письмо к Сонечке и к Вере Михайловне,<sup>1</sup> и оба письма кончила. Я была так рада, что могу, наконец, послать к ним, мне ужасно совестно, что я так долго не писала, у меня при каждом посылаемом письме точно с плеч гора сваливается, так я бываю рада, что кому-нибудь отведу. Теперь мне остается написать: Николаю Михайловичу, Александру Михайловне, Александру Павловичу, Кашиным, двум Милюковым, Андреевой и Никифоровой<sup>11</sup>. Это еще целая тьма писем, но мне вовсе не лень написать, а главная остановка за деньгами; денег у нас теперь нет, чтобы послать им, но лишь только какие-нибудь деньги будут, непременно нужно все это сделать <...> Федя сегодня пошел в баню, а я отнесла на почту, взяли, несмотря на то, что дала 2 письма, только за одно письмо, т. е. 75 с. <...> Когда я пришла домой, Федя был уже дома. Он очень весел и помолодел на 10 лет после бани. Он жалуется, что ванна очень узкая и комната была холодная, так что он чуть было не простудился. Какое это все здесь скверное устройство. Ходили обедать, ели опять хорошо, потом Федя пошел читать, а я домой <...> Ах, если бы нам куда-нибудь, право, отсюда уехать, ведь этот климат просто убивает бедного моего Федю. Он пришел часу в 6-м, и мы отправились гулять, но он сегодня был такой необыкновенно скучный, право, он так здесь грустит, просто ужас, мне его бывает ужасно жаль. Гуляли мы молча, я не люблю прерывать его, когда он о чем-нибудь думает, потом он много говорил, что так жить нельзя, что тут просто с одной тоски умрешь. Пришли домой, он сел писать, а я легла полежать, да и заснула; разбудил он меня уж к чаю, но мне до такой степени хотелось еще немного поспать, просто я не знала, как мне оторваться от подушки. Федя все со мной разговаривал и просил, чтобы я встала; я, наконец, кое-как проснулась, напилась чаю (наш чай производит на меня всегда удивительно нехорошее влияние, именно как-то волнует меня и давит грудь, надо будет, вероятно, переменить и брать чай где-нибудь в другом месте) и потом несколько времени писала в своем дневнике. Потом легла на постель, думала о своем будущем ребенке, мне сегодня почему-то начало казаться, что у нас будет непременно Миша, а не Сонечка, но кто бы ни был, я буду ужасно как рада. Старухи наши сказали, что у меня будет сын швейцарец, не дай-то бог, уж пусть будет русский, я лучше русских никого не знаю. Когда я лежала, Федя все на меня поглядывал и очень ласково спрашивал, не сплю ли я. Он подходил несколько раз и говорил мне, что я такая скучная, что ему бывает иногда ужасно жаль меня, нет у меня ни нарядов, ни костюма, ничего нет у бед-

ной. Я отвечала, что за то только меня вовсе не следует жалеть, что это все пустяки; говорил, что я сделалась какая-то мечтательница, жена мечтательница у него. Потом говорил: «А у нас какой-то большой стал пузинушко», это про Сонечку, я отвечала, что у нас пузинушко еще больше будет. Потом в 12 часов я легла, но заснуть довольно долго не могла, все ворочалась. Федя просил меня, чтобы не будить меня, потому что иначе я опять долго не засну, но я отвечала, что лучше мне не спать целую ночь, чем не проститься с ним. Он был ужасно ласков со мной. Я ему сказала, что сейчас видела сон, что мы с тобой поссорились, он же отвечал, что только что молился, чтобы бог дал ему сделать меня счастливой < п р и н е с я > мне помощь, сделать меня лучше; потом просил любить его, потому что ведь ему недолго со мной пожить. Я отвечала, что это вздор, а что проживет он еще до Сонечкиной свадьбы. Тут мы начали представлять, каким он тогда будет старичком, старичком страшно белым и разговорчивым, но так как памяти к этому времени у него окончательно не будет, то он будет как-то заговариваться. Сонечка про него будет говорить: «Папаша чудный человек, но он ужасно скучно рассказывает». Тут Федя принялся рассказывать как что-то такое было в Женеве, в какой-то улице, на какой-то реке, все забывал названия, и, наконец, решил, что это, может быть, было и не в Женеве. Вообще долго рассказывал и ничего не рассказал. Другие, еще не знающие его люди, уважающие его как литератора, начинают его слушать, но с намерением, нельзя ли точно записать, и будут за то ужасно как наказаны, потому что Федя начинает говорить ужасно долго, а ничего не скажет. Мы ужасно этому смеялись и легли спать очень дружно. Федя меня спрашивает, что если что со мной будет, то непременно разбудить его, потому что иначе он будет беспокоиться, что для него встать для меня будет радость, истинное счастье. Я отвечала, что непременно, если что случится, то разбужу его.

Федя сегодня вечером говорил, что ему будет ужасно как жаль, если его девочка, его Сонечка, будет нехороша собой. Если это будет мальчик, то это еще ничего, а если девочка некрасивая, то это так нехорошо. Он желает лучше, чтобы Сонечка была похожа на меня; «Но ты мила и у тебя чрезвычайно доброе лицо, но ты далеко не красавица». Я отвечала, что ничего, что дочка \* у нас будет вовсе нехороша, что у нее будет чрезвычайно умное и доброе лицо, что похожа она будет на Федю непременно, его же глаза, его лоб умный, его добрая улыбка. В самом деле, я себе представляю, что Сонечка будет похожа на Федю, т. е. с черными глазками, одним небольшим, и с белокурыми волосами; правду, она не должна быть, чтобы была хороша, но миловидная будет непременно; если у нее будет золотуха, то я стану ее непременно лечить, и к тому времени, когда подрастет, она будет очень здоровый ребенок. Я в этом уверена.

*Прошлый 1866 год.* Я не помню хорошенько, как прошла эта неделя; я каждый день ходила к нему, но уж только по одним утрам, а от вечеров отказалась, да и ему самому надо было работать вечером. Приходила я с большим удовольствием, но почему-то вечно опаздывала, так что приходила не в 12, а в 1 и даже в 2 и сидела у него до 4-х, так что после меня он тотчас собирался ехать обедать. Сначала, когда я приходила, то он принимался перечитывать принесенное мной, я в это время брала кофей (очень густой и мне почти никогда не нравился) и потом читала его газеты; но потом он перестал перечитывать, а сначала \*\* мы долго говорили, а потом уж принимались за диктовку.

\* *Может быть:* девочка.

\*\* *Слова:* сначала и обыкновенно написаны одно на другом; из какого слова переправлено, неясно.

Он каждый день меня допрашивал, как я думаю, успеем ли мы кончить к 1-му ноябрю. Я его успокаивала, что нам еще много остается и что кончить, разумеется, непременно успеем; мы тогда пересчитали, сколько у нас написано листков и ужасно радовались, когда число их прибавлялось. Мы очень много говорили между собой, он мне рассказывал про свою жизнь и про житье в Москве, про Сонечку, про Елену Павловну, говорил, кого он прежде любил, и пр. и пр. Мне было тогда чрезвычайно приятно его слушать, и я очень любила к нему приходить. Но не знаю, почему, мне, когда я возвращалась домой, становилось удивительно как грустно, решительно я этого даже и понять не могу, и дома было отчего-то очень грустно. Мне и тогда уж казалось, что он мне непременно сделает предложение, и я решительно не знала, принять ли мне его или нет. Правился он мне очень, но все-таки как-то пугала его раздражительность и его болезнь. Он очень часто кричал при мне на Федосью, которая его трепещет и, кажется, ужасно боится, но она здесь нерадива, ее почти никогда нет в передней, вечно у кого-нибудь в соседях, в лавочке, а в кухне оставляет свою дочку Клавдюшку. Впрочем, несмотря на свои очень нехорошие глаза, она, может быть, и хорошая женщина. Пашу я решительно почти не видела, он в кабинет не входил, а слышала иногда, как он там шаркает в передней. Я здесь всегда боялась, чтобы кто-нибудь к нему не пришел в это время. Пожалуй, кто-нибудь и подумает, что я вовсе хожу не для диктовки. Но вот в это-то время у нас ни разу не было разговору ни о любви, ни одного нескромного слова. Он иногда меня называл голубчиком, доброй Анной Григорьевной, милочкой, но я принимала эти слова тогда очень равнодушно, даже как-то строго. Иногда мне он казался очень странным. Так, раз заметил мне, когда у меня была на голове Андреевой шляпка: «Какая у вас старомодная шляпа», — хотя это была совершенно новая и модная зимняя шляпа. Я отвечала, что он, вероятно, ничего в этом не понимает, а шляпа это модная. Потом как-то спросил меня, когда я надену зимний салоп; как это было странно, почему он знает, может быть, я так бедна, что у меня салопы нет. Я отвечала, что не скоро, и что я даже зимой салопы не ношу, потому что не люблю носить, а что это чрезвычайный груз. Спрашивал, отчего я не выхожу замуж, я отвечала, что потому, что еще никого не люблю, а хотела бы непременно выйти замуж по любви.

Как-то раз, когда мы сидели и диктовали, в наших дверях показался Майков, в шляпе и пальто. Вероятно, он не нашел Федосью в кухне и вошел, чтобы узнать, дома ли Федя. Увидев меня, он ужасно как-то смутился. Я решительно не понимаю, может быть, он что-нибудь дурное и подумал. Федя тоже как-то ужасно сконфузился, я уж не знаю тоже, почему, вероятно, тоже боялся, чтобы Майков что-нибудь про него не подумал. Майков уж хотел воротиться, как Федя пригласил его в комнату, представил ему меня; он сказал: «Вот это Анна Григорьевна Сниткина, стенографистка, а это Аполлон Николаевич Майков». Он и я протянули друг другу руки, и я сказала ему, что я очень рада его видеть и что уж знаю его по его произведениям. Он меня спросил, не родственник ли мне какой-то Сниткин, я отвечала, что нет. Потом они стали ходить по комнате в столовой, а я принялась переписывать. Майков хотел сейчас уйти, чтобы не помешать нам, но я ему сказала, что я могу в это время заняться перепиской и время для меня не пропадет. Они ходили эдак минут с 15, потом Майков опять вошел в комнату, чтобы проститься со мной. Вдруг ему вздумалось попросить Федю подиктовать мне, сказав, что для него это чрезвычайно любопытно видеть. Федя начал диктовать, я написала и тотчас прочтала написанное. Майков посмотрел, посмотрел, заметил, что вот он так тут ничего не прочтает. Потом подал мне руку, раскланялся и ушел. Я была рада его увидеть, потому что никогда еще до сих пор этого

не случалось. Федя как-то потом приосанивался; мне, право, было ужасно на него и досадно и смешно, что он так сконфузился, точно мы какое-то дурное дело делали. Федя говорил, что Майков про меня выразился очень хорошо, сказал, что нашел чрезвычайно хорошую девушку, что я, правда, ему очень понравилась, чрезвычайно хорошо умею держать себя, вообще я на него произвела хорошее впечатление.

Как-то раз, когда я пришла, я застала у него Долгомостьева<sup>112</sup>, но когда потом уходила, то решительно бы его не узнала. Мне он показался очень высоким, когда он на самом деле среднего роста. Он что-то толковал с Федей, потом взял какую-то рукопись и пошел читать ее в комнату Паши; потом прочитал и принес в эту комнату, где мы писали, и отдал Феде, раскланялся и ушел. Федя мне объяснил, что это был Долгомостьев, литератор\*, человек честности удивительной, но несколько ленивый, говорил, что тот предлагает ему издавать религиозный журнал, но что они никак не могут согласиться в главных условиях.

Раз как-то был еще Милюков, который мне очень не понравился. Это маленький, рябенький старичок, очень ядовитого свойства, он очень почтительно со мной раскланялся, и Федя меня представил ему как стенографистку. Он тоже спросил, не родственница ли я поэту Сниткину, который недавно умер в Максимилиановской лечебнице. Я отвечала, что нет. Они несколько времени ходили по комнате, разговаривали о политике. Потом он ушел и больше я его ни разу не видела. Да больше никто, кроме них, к Феде и не приходил. Я была этому очень рада, потому что мне все-таки не хотелось, чтобы меня очень многие видели у него, ведь он мужчина вдовый, а люди так злы, что они непременно начали бы говорить, что у нас между собой дело не чисто <...>

*Воскресенье 27/15 <октября>*. Сегодня целый день шел дождь, скука была страшная, просто невыносим <а я>. Ходили обедать, хотя был дождь, а оттуда прошли, несмотря на дурную погоду, на почту, нет ли писем, но ни одного нет, просто такая досада. Федя отправился читать в кофейную, а я пошла домой и кончила читать книгу Жорж Занд «L'homme de neige», раньше легла спать и видела во сне Яновского, будто бы он посылает нам деньги, так что из этого вывела такое заключение, что денег он, вероятно, нам не пришлет.

Сегодня я была целый день ужасно какая скучная, такая грустная\*, просто не знаю, что мне и делать, все думаю об наших обстоятельствах, о маминых делах, даже больно становится, когда подумаю, что ничем ей помочь не могу, а только от нее же требую помогать, чтобы она прислала мне что-нибудь. Федя все эти дни называет меня женой *мечтательницей*, говорил, что только и делаю, что мечтаю, спрашивает, зачем я все задумываюсь и вообще очень беспокоится этим. Любит он меня очень, я это вижу, всегда меня укрывает, чтобы мне не было холодно; сегодня вечером он писал, когда я легла спать, я с ним и не простилась, он, услышав, что я легла, оставил писать и пришел проститься, упрекал меня, зачем я с ним не хотела проститься. Потом, когда я спала, я проснулась от того, что Федя стоял подле моей постели на *коленях* и много-много целовал меня. Как меня это поразило, мне было от того так хорошо; он с такой любовью стоял подле меня, просто я не знаю, как мне и выразить, как я счастлива. Говорил мне, что если я умру, то он будет очень плакать, что ничем не утешится. Говорил, что он счастлив со мной, что большего счастья ему и не нужно. Вообще, несмотря на недостаток денег, мы с ним живем очень и очень дружно, он меня любит, а я его так просто без памяти. Сегодня

\* *Может быть: грусть.*

ЗАПИСЬ А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ  
В ТЕТРАДИ «ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ  
РАСПОРЯЖЕНИЙ»

Центральный государственный  
архив литературы и искусства,  
Москва

Моя Дневница и мои тетради  
О тетради записанных мной  
стенографических

Во время отъезда после моей тетради  
найдется еще три, начатые стенографией  
для рукописи. Во время отъезда рукописи  
Дневница, которая я была со мною, была за-  
прятана в 1867 г. в тетрадь моего отца. Там же была  
и моя первая тетрадь, которую я получила  
после отъезда, которую я получила в наследство  
от отца в Москву. Старшая тетрадь я отдала  
университету, т. е. в руки на хранение отца,  
который хотел бы переписать ее стенографиче-  
ски на обыкновенные тетради. В Москве была  
моя старшая тетрадь, которую я получила в наследство  
от отца, которую я получила в наследство от  
отца и которую переписывал себе на обыкновенные  
тетради. Но в Москве, как было сказано, чтобы  
быть моей тетрадью в Москве и в М. мне  
уже исполнилось 17 лет. А потому стенографиче-  
ские тетради переписаны все стенографически  
на обыкновенные тетради.

было 8 месяцев как мы женаты, мы это вспомнили и решили, что мы очень хорошо живем друг с другом.

Понедельник 28/16 <октября>. Сегодня день довольно скверный, т. е. ветреный и дождливый. Ходили обедать, оттуда на почту, но, разумеется, ничего не получили. Не знаем, чем мы будем жить теперь, у нас только и есть, что на сегодня, а на завтра и не хватит. Как мне кажется, наши хозяйки начали на нас несколько не так поглядывать, очень может быть, они видят, что у нас денег все нет, да нет, так тут, пожалуй, и доверие все лопнет.

Днем я писала несколько стенографии, всего 6 страниц, мне следует, право, приняться гораздо усердней за нее, потому что, как я подумаю, так мне, вероятно, придется ею хлеб себе добывать. Как-то мы говорили сегодня с Федей, он толковал, что если бы у него был какой-нибудь капитал, т. е. если бы он был в состоянии что-нибудь оставить, то он оставил, конечно бы, Паше, а не Сонечке, потому что будто бы он к Паше имеет гораздо больше обязанностей, чем к своей собственной дочери. Как это несправедливо, так это и сказать нельзя. Я ему отвечала, что как можно так, если бы у меня был небольшой капитал, я бы ему в руки не дала, а спрятала бы для Сонечки, чтобы у Сони было хотя бы что-нибудь, чтобы она, если бы я умерла, могла бы не нуждаться и не жить на чужом хлебе. Федя этим ужасно обиделся и вывел заключение, что я считаю его дурным отцом, что потом я буду отговаривать ребенка любить его под тем предлогом, что будто бы отец ничего для тебя не делает, а я вот делаю, так незачем его и любить. Он ужасно как сердился и бранил таких матерей. Я отвечала, что ведь он еще решительно не знает, какая из меня выйдет мать, что, может быть, выйдет очень хорошая, а потому браниться заранее не следует, а что я все-таки так бы поступила, так это непременно. Право, смешно несколько: ни денег у нас нет, ни Сонечки, а мы уж бранимся из-за нее.

Вечером, когда Федя пришел из кофейной, он сказал, что кельнер кофейной предложил ему подождать, пока придет кто-то, кажется, Огарев, который принес книги и хочет Феде отдать их. Но Феде не хотелось ждать и потому он ушел. Когда мы пошли вечером гулять, Федя опять заходил в кофейную, но там ему сказали, что Огарев уже ушел. Так как мне очень не хотелось заходить в библиотеку с ним, то я просила Федю зайти и взять для меня что-нибудь. Он взял «Эдинбургскую темницу» Walter Scott, потом еще «Les dames vertes» Georges Sand. Когда я прочитала, то мне ночью, когда я проснулась, представилось, что вся комната в каком-то зеленом свете. Вот как на меня теперь все действует.

*Вторник 29/17 <октября>*. День сегодня великолепный, решительно лето, так что так и тянет на воздух, я пошла несколько прогуляться, но на почту сама не заходила, чтобы иметь возможность зайти после 5 часов. Федя утром по обыкновению писал, а я что-то делала, кажется, стирала, не помню хорошенько. День для меня был ужасно какой скучный, потому что я решительно не знала, чем мы будем жить завтра <...> Я просто с ужасом думала о завтрашнем дне, когда мне придется идти закладывать еще раз. У меня было скоплено 4 1/2 франка, я выдумала сказать Феде, что я заложила свой платочек и таким образом получить чем иметь завтра обед. Весь остальной день была тоска необыкновенная; сходили обедать, потом пошли на почту, но когда шли, то рассчитали, что решительно нельзя еще ждать от кого-нибудь из них получить, а что, пожалуй, получим какое-нибудь неприятное для нас письмо. Так и случилось, т. е. я получила, впрочем, не неприятное, а нефранкованное письмо, что при наших очень небольших средствах было не совсем приятно. Федя захотел сейчас узнать, от кого оно, я хотя и видела, что оно от Стоюниной, но мне поэтому вовсе того сказать не хотелось, тем более, что я знала, что ее почерк сходен с почерком известной особы. Федю это очень рассердило, и он раскричался на меня; я отстала от него и читала по дороге письмо, он остановился у книжного магазина, и когда я подошла к нему и сказала, что письмо от Стоюниной, он сказал: «Будь она проклята, только вышло 90 с.» Меня это ужасно как обидело, я отвечала ему, что если ему так жалко денег, то я пойду продам что-нибудь, отдам ему эти деньги. Меня действительно это ужасно как возмутило; как это ему не стыдно было сказать. Я заметила и прежде, что он как-то всегда нехорошо смотрит, когда приходится платить деньги из-за меня, т. е., например, послать письмо, или платить за нефранкованное, что случалось, правда, всего только раза 2, не больше. Но тут меня это просто взбесило. Я так мало требую у нас денег, так мало трачу и стараюсь сохранить деньги, а он тут еще смеет бранить моих знакомых и посылать их к черту из-за того только, что ему пришлось заплатить 90 с. Я на него рассердилась, и мы расстались. Я пошла за свечами и кофеем, а он пошел читать <...> Когда Федя воротился из кофейной, то он обнял меня и просил, чтобы я не сердилась на него за его слова, что он это сказал сгоряча, а что тут речь шла вовсе не о деньгах, а о том, что ему очень хотелось поскорее узнать, от кого это письмо, а я ему не так скоро сказала. (Мне кажется, не боялся ли он, что это письмо от той дамы его сердца, а потому и рассердился, когда я ему не скоро сказала.) Я назвала его скупым, и мы помирились. Он принес с собой 4 книги «*Былое и думы*», которые получил от Огарева<sup>113</sup>. Тут он познакомился с каким-то господином Спиридовым<sup>114</sup>, которого я очень не люблю, хотя видела не больше 2-х раз на улице, но терпеть не могу его физиономии. Ходили немного гулять, а пришли и я начала читать книгу. Как нарочно, запечатан конверт известной печатью с маминим \* именем; Федя рассматривал конверт. Рука ему, ка-

\* *Может быть*: моим.

жется, показалась знакомой и долго тоже смотрел и на печать; очевидно, у него было подозрение, что письмо именно от дамы, с которой он в ссоре.

*Среда 30/18 <октября>*. Встала я сегодня ужасно грустная и ужасно горевала о том, что мне придется сегодня непременно идти к этой портнихе и закладывать у нее мою кружевную мантилью. Господи! Как мне этого не хотелось, мне кажется, я готова была просидеть голодом 3 дня и есть только один хлеб, чем идти опять кланяться, чтобы дали каких-нибудь 40 франков, да вряд ли и это дадут, тем более, что они ведь ничего в этом не понимают. Хотели тогда взять ее за 20 франков. Как мне это было тяжело идти, один бог только это знает. Идти я решилась эдак часу в первом, не раньше. Но прежде решила сходить на почту и узнать, нет ли письма, не пришли ли деньги от Яновского. Отправилась я и всю дорогу молилась и почти плакала, мне было до такой степени невыносима та мысль, что мне придется идти и закладывать, так мне было совестно перед нею. Эти дураки непременно подумают, что я действительно так бедна, что мне так непременно\* нужны деньги, и, пожалуй бы, вздумали продать мои платья. Я всю дорогу молилась и просила у бога помочь мне.

На почте мне сказали, что есть посылка, но что надо, чтобы пришел мой муж. Я была так этому рада, просто ужас, чуть ли не бегом шла домой и, придя домой, сказала Феде, что что-то пришло. Федя сказал мне: «Не обманываешь ли, о ты, какая чудачка». Он пил чай, поскорее допил и отправился на почту, чтобы скорее узнать, что от кого именно пришло; да к тому же, чтобы разменять деньги, нужно было идти в конторы до 12 часов, а то все они запирают до 3-х часов. Когда он ушел, я ужасно боялась, чтобы не пришло просто одно рекомендованное письмо с отказом в деньгах, это было бы просто ужасно, особенно в нашем положении. Денег нет, осталась одна надежда на заклад мантильи, а тут еще отказ. Это просто хоть умирай! Федя, однако, довольно скоро пришел, сказал, что это письмо от Яновского, что он был так добр, что прислал не 75 или 50, как Федя у него просил, а 100 рублей<sup>115</sup>. Как я была благодарна этому человеку, вот уж именно спас нас, вот уж именно помог в такую минуту, когда у нас решительно ничего не было, а, главное, меня избавил от страшной неприятности идти просить денег. Он писал, что письмо его застало на отъезде куда-то в Курск, куда бы он уехал на 2 недели. Господи! Как это хорошо, что письмо застало его, иначе он проездил бы 2 недели и только тогда мог собраться послать к нам. Федя не заходил разменять, а торопил меня одеться, чтобы идти разменять вместе деньги. Мы отправились, зашли к Paravin, где я обыкновенно меняю деньги, но выдали не 336, как я думала, а 334 франка, следовательно, понизился курс.

Проходили мимо сапожного мастера и Федя припомнил, что у него сапоги ужасно дурные, и мы тут решили непременно купить ему новые. Федя как-то пришел нынче вот к какому убеждению: нужно покупать, пока деньги есть, а то деньги выйдут, и не будет ни денег, ни одежды. Вот если бы он так всегда руковод(и л с я) этой мыслью, то, право, я бы была очень хорошо одета и у него были бы часы, а то в других случаях имеем мы у себя 300 франков, считаем себя бедняками и говорим, что денег у нас нет, а когда действительно нет денег, то рады ужасно 10 франкам и считаем, что у нас все-таки еще деньги есть. Зашли к сапожнику, Федя выбрал сапоги (здесь торговала дама, я ужасно не люблю те магазины, где продают дамы, а особенно сапожные, это уж совершенно неприлично для женщины). Сапоги действительно хорошие, но Феде показалось, что они для него немного узкие. Эта дама обещала ему непременно что-то такое там изменить, одним словом, сделать так, чтобы ему было ловко. Сапоги стоят

\* Исправлено из сильно

24 франка. Федя отдал только 2 и сказал ей, что ведь он, может быть, даже до завтра и умрет, а потому для чего ему тогда будут нужны сапоги. Они будут готовы завтра, и Федя обещал за ними зайти сам.

Потом Федя сказал, что мне необходимо нужна шляпа зимняя, что в этой ходить решительно невозможно, а что, следовательно, мы теперь же поедem и будем высматривать в магазинах, нет ли какой-нибудь хорошенькой шляпки. Прошли мы всю улицу rue Basses, глядели в магазинах, но не было ни одной сколько-нибудь приличной шляпы <...> Так, купив шаль, и найдившись вдоволь по городу, мы пришли страшно усталые домой. Тут сейчас позвали наших старушек и просили их подать нам счет, они нам подали, оказалось около 60 франков, но мы прибавили 5 франков нашей младшей старушке за услуги <...>

Федя был сегодня ужасно как скучен, просто не знаю, что это с ним делалось, его ужасно мучит мысль, ехать или нет ему в Саксон опять или подождать других денег. Сначала у него было решительно намерение ехать и поэтому он был такой задумчивый, но потом, когда мы рассчитали, то вышло, что если он сейчас поедет, то если будет в проигрыше, то нам опять нечем будет жить, а теперь они у нас будут, хотя кое-какие денежки. Когда он под конец решил не ехать, то мученье его прошло и он сделался несколько веселее. (Мне сначала пришла мысль, что не происходит ли его тоска от того, что он истратил на меня деньги, я ему это сказала, а он отвечал, что я даже не знаю, как ему приятно и сколько ему доставляет счастья то, что он мог мне сделать небольшой подарок.)

Отдохнув немного, мы отправились обедать <...> После обеда Федя опять пошел в кофейную, а я домой и дома, как какой-нибудь ребенок, рассматривала свою шаль и несколько раз ее примерила <...> Федя пришел довольно рано из кофейной, и мы отправились гулять; Федя твердил, что мне необходимо купить новые перчатки, так как эти решительно износились, зашли мы в магазин, и я хотела себе выбрать перчатки потемнее цветом, так, чтобы они гораздо дольше проносились, Федя на это мне заметил, что я решительно человек без вкуса. Ах, господи! был бы и у меня вкус, если бы у меня были средства одеваться хорошенько, а то когда перчатки приходится покупать через 3 месяца, так и поневоле пожелаешь иметь потемнее цветом. Я просила Федю не кричать на меня в магазине, он на это рассердился и потом дулся на меня всю дорогу, сказав, что он на меня не кричал и что поэтому я очень к нему несправедлива. Заплатили мы за перчатки 2½ франка, посмотрим, долго ли они у меня проносятся. Долго Федя все на меня сердился, я просила успокоиться, мне действительно было больно, потому что, может быть, и я погорячилась, но ведь надо же и мне иногда простить. Зашли мы в магазин фланели и здесь я спросила, сколько именно нужно на фуфайки, мне сказали, что если с короткими рукавами, то нужно только 1 аршин, я так и купила <...>

Феде хотелось ради получения денег непременно купить нам чего-нибудь к чаю, зашли в кондитерскую и купили в один франк небольшой кондитерский пирог с кремом в середине, облитый каким-то розовым настоем <...> Вечер провели довольно дружно, пирог дали нашим старушкам. Старушки пришли за него благодарить и объявили, что они нам непременно купят кофей и сами зажарят, что будто бы кофей купят особенно хороший, а стоит 1 франк <...> Старушки сказали, что это продается в каком-то магазине, хозяин которого какой-то Suisse\* и живет в Лозанне, а присылает оттуда. У них что ни слово, то какой-нибудь Suisse; кажется, в их мнении нет людей лучше этого глупого народа<sup>116</sup>. Так, младшая хозяйка объявила мне, что в Англии только и есть, что один кондитер, да и тот швейцарец, просто смешно ее слушать, такой уж у них глупый патрио-

\* Швейцарец (франц.).

тизм. Старушка, услышав, что я хочу купить себе фланели, объявила мне, что у них есть какая-то *amie* \*, которая очень дешево берет за работу поденно, что она отлично шила, что поэтому фуфайку я могу ей отдать шить. Я вовсе не располагаю это сделать, кроме того, что она непременно спросит вместо одного аршина 2, я и сама могу ее отлично сшить, а не платить ей еще деньги. Федя сомневается, что я умею шить, но я ему докажу <...> Спала я хорошо, вечером мы очень дружно простились с Федей, были большие друзья и он говорил, что я очень мила, несмотря на то, что меня следует иногда даже посечь.

*Четверг 31/19 <октября>*. Вчера вечером мы заговорили с Федей о наших долгах и решили сделать таким образом, чтобы покамест у нас есть деньги, выкупить вещи мелкие, заложенные в разных местах, т. е. 2 кольца, мои рубашки, платок и черную шелковую мантилью. (Эти 3 последние вещи были заложены только в моем воображении, а в сущности они преспокойно лежали себе в сундуке, а деньги я выдавала из скопленных, говоря, что это получила за заложенные вещи.) Этим способом я получила несколько денег, и могу в случае нужды опять дать ему под видом заложенных вещей, по крайней мере, вещи пропадать не будут, да и проценты не будут идти на них. К тому же, мне ужасно как хочется сделать небольшой подарок маме, а как спросить на это у Федеи деньги; у меня ужасно робкий характер, я и для своей необходимости ужасно как затрудняюсь сказать и просить, на что мне действительно надо, а тут еще на подарок; он же будет считать, что мама ему обязана, а скажет, что если уж послать маме, то следует послать и Эмилии Федоровне и прочим и прочим. Так вот я решила <с ъ> сделать так, скопить деньги и послать маме или платок или что-нибудь. Так как я объявила, что заложила рубашки за 14 франков и платок за 4, а мантилью за 10, то всего следует с процентами дать мне 31 франк. Он мне дал, я отправилась, взяв с собой мантилью.

Так как была отличная погода, то я решила непременно сегодня сняться, чтобы послать маме мою карточку; зашла я для этого в лучшую здешнюю фотографию и просила снять теперь же. Взяли за полдюжины 6 франков. Это по-здешнему довольно дорого <...> Я была в моей обыкновенной шерстяной кофте, с волосами, зачесанными кверху, не знаю, как-то будет портрет, я думаю, неудачный, хотя фотограф меня и уверял, что портрет удивительно как удался. Я отдала ему 6 франков и просила, не приготовит ли он мне карточки к субботе, чтобы я могла их послать к моей маме. Он отвечал, что, вероятно, они будут готовы. Потом оттуда пошла на почту и здесь получила письмо из Москвы на имя Федора Михайловича.

Мне показалось, что это, должно быть, от Сонечки и потому я, разумеется, не распечатав, поспешила домой, чтобы отдать его Феде. Федя был на меня несколько сердит за ужасно долгое приготовление к уходу, и потому я пришла и сказала, чтобы он на меня не сердился, а что я дам за это ему письмо. Письмо действительно было от Сонечки, Федя прочитал и потом передал мне. Она писала к Феде, говорила о своем тягостном положении в семье, говорила, что мать ее принуждает идти замуж и видит в этом счастье не только ее, но и всего семейства, говорит, что детей много, что они небогаты, одним словом, старается, видимо, силком, чтобы та вышла замуж. Я понимаю, какое это скверное и тяжелое положение! Бедная Сонечка! А та говорит, что не может же до такой степени убить себя, сломать свою жизнь, чтобы, не любя человека, решительно никого не зная, идти замуж. Что ей самой очень тяжело быть в тягость семейству, что она для того, чтобы самой зарабатывать деньги, нарочно изучила английский язык, чтобы переводить что-нибудь, но что переводов у нее нет. Она просит Федю

\* приятельница (франц.).

посоветовать ей, что бы ей делать. Меня она упрекает за неисполненное слово, за обещание писать к ней очень часто <sup>117</sup>. Когда я читала, мне сделались ужасно больны ее упреки, и я была ужасно как рада, что она уже получила от меня мое письмо и, следовательно, упреки ее ко мне несправедливы. Тут же она писала, что Елена Павловна теперь вдова; вот если бы Федя не был теперь женат на мне, то он, наверно бы, женился на ней.

Весь сегодняшний день он был ужасно как скучен и боялся, что будет припадок; я сначала подумала, что не происходит ли это от того, что жалеет, что не может на ней жениться, что я ему в этом помешала, но потом я убедилась, что задумчив он от того, что думает о своем романе, а поэтому обвинять его вовсе не следует и решительно нечего беспокоиться, если он скучный. Хотя, впрочем, он сегодня говорит, что у него сильно расстроены нервы и тоска его решительно физическая, а не нравственная <...> Сходили за сапогами Феде, и здесь ему вдруг они не понравились. Действительно, надо сказать, что его не слишком большая нога имеет вид просто слоновый в этих огромных с некрасивым носком ботинках, очень, даже очень некрасиво, но так как он их вчера выбрал, то, право, сегодня находить, что они дурные, решительно было невозможно, потому что она их переделала и не взять было нельзя. Федя говорил, что зачем осталась такая же подкладка серая из какой-то дрянной материи, но ведь подкладку переменить нельзя было, потому что тогда следует переделать все сапоги. Он долго ворчал, и хозяйка продолжала его уверять, что он ведь эти же самые выбрал вчера и что вчера ему они были хороши, а сегодня нет. Я его тоже уверяла, что, по-моему, сапоги довольно хороши, так что он, наконец, их взял и мы поручили, чтобы сапоги были отнесены к нам на дом, а сами отправились высматривать шляпу.

Мы были в нескольких магазинах, но нигде не было готовых шляп, а все предлагали отделать. Брали за простую кастровую шляпу с отделкой перьями 15 франков; мы решили пойти посмотреть эту бархатную шляпу, черную с белыми страусовыми перьями, которую мы уж давно заметили в одном магазине, и отправились туда. Спросили, что она стоит, сказали нам, что стоит 17 франков <...> но потом все, и шляпу, и вуаль уступила за 18 франков. Шляпа была из хорошего черного бархата, так что имела чрезвычайно приличный вид и очень шла ко мне. Федя пошел читать, а я осталась у модистки, пока она переменяла перья и пришивала вуаль. Как-то она меня назвала M-lle (надо заметить, что несмотря на мой старомобразный вид, меня все называют M-lle, это, право, даже смешно и особенно в моем положении, да и неприлично, потому что какая же M-lle, когда такой большой живот). Федя заметил ей, что M-me, M-me. Она отвечала, что, право, не понимает, почему она меня назвала M-lle, когда имеет всегда привычку говорить всем M-me. Когда Федя ушел, я спросила, сколько она мне дает лет. Она отвечала, года 22, и что так как муж не молод, то можно было подумать, что это не муж с женой, а отец с дочерью. Бедный Федя, хорошо, что он это не слышал, это совершенно не было бы для него лестно. На мои же глаза ему не больше как 38, а она опять сказала, что ему лет 45 непременно. Потом я купила свечи и отправилась домой, нагруженная разными покупками <...> Федя пришел ужасно усталый и скучный, бедный он, мне, право, его жалко, он ужасно как тоскует, что роман у него не ладится, и он горюет, что не успеет послать его к январю месяцу <sup>118</sup>. Сегодня, когда я к нему вечером зачем-то подошла, он мне сказал, что хотел за что-то побранить меня, но потом, когда я стояла белая, да он вспомнил, что со мной Сонечка, так и язык не поднялся сказать мне дурное слово. «Какое-то странное ощущение у меня, какое-то уважение к ребенку»; потом вечером он мне говорил, что меня ужасно как любит, и Сонечку любит, т. е. любит меня и Сонечку как-то нераздельно, и кажет-

ся, и потом, всегда так будет нераздельно с нею любить. Были мы с ним в этот день очень дружны и он говорил, что счастлив со мной.

Каждое утро и каждый вечер он топит печку, и это у него такая забота, просто смешно даже смотреть, он так рассчитывает, как бы все сгорело, и размышляет, прогорит или не прогорит какое-нибудь полешко. Себя и меня он называет «веселые истопники, или жизнь в Женеве». Придумывает разные смешные вещи, ужасно как меня смешит. Вечером как-то разговаривал со мной о Сонечке, ужасно жалея о ней, говорил, что за кого же она выйдет замуж, ведь она никого не видит, если ее и вывозить в собрание 3—4 раза в год, ну, кто там ее увидит. А своих знакомых у них нет, что он помнит, как было раз еще при нем, ей сватали жениха, приехал какой-то инженер, над которым все они смеялись; потом же он оказался каким-то просто карманным воришкой. Я говорила, что жаль, что нас нет в Петербурге, а то бы она могла приехать к нам, он отвечал, что не отпустят, а когда я заметила, что, может быть, она могла бы настоять на этом, то он отвечал, что ее отец не таков, что если ей переступить через ров, так мост сзади ее сломают они, что за нею, как за мной, не побегут родные, а просто отец рассердится на нее. Мне ужасно было больно, что он так резко отозвался, именно, будто бы я не любила своей семьи и захотела бы разрыва с нею. Как он меня мало знает.

*Пятница 1 ноября /20 <октябрь> <...>* Федя и сегодня все утро был в ужасном грустном расстройстве духа, но когда я оделась и показалась перед ним, то он как-то развеселился, поправил мой платок и сказал, что ко мне шляпа идет; а когда я вышла из дома, то отворил нарочно окно и смотрел, как я пойду на улицу. Милый Федя! Как я люблю, когда он так внимателен ко мне. Сначала пошла на почту, но писем ни от кого не получила. Потом пошла несколько пошляться по городу, много ходила <...> Заходила я спрашивать меховую мантилью серого барашка, стоит она 140 франков, а муфта, тоже серая барашковая, но очень небольшая, стоит 22 франка. Когда я сказала насчет муфты, то Федя сказал, куда же нам девать ее будет после, я отвечала, что ведь это Сонечке пригодится, он засмеялся и сказал, что нашу Сонечку и всю-то можно будет уложить, упрятать в муфту. Сегодня я воротилась домой, порядочно устав от моего гулянья. Пошли обедать, по дороге Федя ходил к ростовщику, у которого заложены наши кольца, но так как сегодня какой-то католический праздник, то его не было дома, да и многие магазины сегодня закрыты. После обеда я пошла поскорей домой, а Федя пошел в кофейную <...> Федя пришел из кофейни, предложил мне идти гулять, но я не пошла, потому что просто сильно устала. Федя пошел один, но воротился чуть ли не через 20 минут. Весь вечер он был ко мне чрезвычайно внимателен. Непременно требовал, чтобы я легла спать, потому что у меня болела голова. Я легла и заспалась, так что ему было ужасно трудно меня разбудить, вечером, когда он меня разбудил прощаться, то стоял передо мной на коленях. Меня это ужасно как обрадовало, я так бываю всегда рада, когда вижу, что он меня любит.

*Суббота 2 ноября /21 <октябрь>*. Сегодня день очень хороший, т. е. был с самого утра, потом эдак часов в 12, когда Федя пошел, чтобы выкупить кольца, сделался теплый дождь, сделалось пасмурно, но довольно хорошо, так и у нас бывает, например, эдак в это время, когда расходится лед. Воротившись, Федя предложил мне сходить гулять. Я сейчас отправилась, пока не было дождя, но все-таки он меня застал, так, несмотря на дождь, я гуляла несколько времени. Потом, когда мы пошли обедать, то с удивлением заметили, что погода ужасно как изменилась, именно, из дождливой, но теплой погоды, сделалась страшная биза, так что решительно

нельзя было стоять на ногах, и холод до такой степени пронзительный, что, право, так, как у нас бывает разве в декабре месяце. Мне, несмотря на мою теплую одежду, было очень холодно.

После обеда Федя пошел в кофейную, а я отправилась в фотографию спросить, не готовы ли мои карточки. Дама, которая тут была, очень долго искала их, и я уже стала думать, что, вероятно, они не готовы. Наконец, они нашлись, и она мне их вручила в длинном черном футляре, который дается, кажется, только для целой дюжины. Она мне заметила, что портреты ужасно как похожи, хотя мне самой они не очень понравились. Я здесь очень худа, лицо страшно длинное; под глазами темно, лицо темное, и горло толстое, и воротник ужасно как дурно сидит. Но, вероятно, я такая уж и есть. Я пришла поскорей домой и села писать письмо к маме, чтобы ей сегодня отослать мой портрет. Я думаю, что она будет ужасно рада получить его, моя милая, добрая мамочка, и, вероятно, найдет, что портрет не похож на меня. Написав письмо, я отправилась на почту, спросила, нет ли писем, и, не получив, опустила в ящик на этот раз франкованное письмо; мне, право, совестно перед мамой, что я никогда не франкую. Она тоже бедная, чтобы платить за мои письма.

Когда я пришла домой, старушка мне сказала, что Федя приходил домой и потом ходил меня искать и не нашел. Федю я нашла недовольным, он сказал, что был на почте, но меня не встретил. Потом он стал топить печку, его обыкновенное занятие; его ужасно как интересуется всегда, сгорит или нет такое-то полешко, и страшно беспокоится, если видит, что оно не догорает. Я как-то показала ему свой портрет и спросила, похож ли, он меня спросил: «Кто это?» Вот доказательство, что я решительно непохожа. И когда я сказала, что это я, то он отвечал, что тут решительно нет ни малейшего сходства, и что если такие бывают жены, то ему такой жены вовсе не нужно. Потом посмеивался, что глаза у меня ужасно страшные, и что это глаза решительно *рака*. Потом спросил, сколько я сделала, я отвечала, что сделала 2 карточки, одну для мамы, а другую для себя. «А для меня-то не могла сделать, хотя бы одну для меня?» Я отвечала, что знала, что будет портрет нехороший, а что если он хочет, то пусть возьмет себе этот. «Ну, хорошо», сказал он, и тотчас отнес и положил его в свою тетрадь, в которой он теперь постоянно записывает.

Вечером я прилегла спать, Федя тоже, и уж я спала несколько времени, как вдруг отворяется дверь и влетает наша хозяйка и подает мне письмо. Письмо это было запечатано, но без надписи. Она мне сказала, что это принес какой-то мальчик, который просил передать письмо русской даме, живущей здесь. Я распечатала письмо, Федя вскочил тоже, и мы стали рассматривать, что это было такое. Это был какой-то адрес, адрес какого-то пансиона на улице Монблан, с полным означением адреса, и написано это было на какой-то особенно красивой бумажке; адреса моего, как я сказала, тут не было. Мы решительно не могли понять, что бы это такое было? Федя начал меня уверять, что это ко мне и что, следовательно, я должна знать, кто это пишет. Я его уверяла, что решительно никого в городе не знаю, ни с кем не говорила, у меня знакомых нет, следовательно, я точно так же, как и он, решительно в этом ничего не понимаю. Он как будто бы на меня рассердился, уверял, что я должна знать, что это такое. Я ему сейчас предложила сходить по этому адресу и спросить, что это такое значит, объяснить, что мы здесь приезжие и никого не знаем, и попросить объяснения этого письма, а также, чтобы он узнал, нет ли там какой-нибудь приезжей дамы русской, потому что мне почерк показался знакомым, именно детским, и именно той госпожи; Федя говорил, что, вероятно, мне надо с ним идти, чтобы узнать, и что, может быть, хотят сказать мне что-нибудь про него. Я отвечала, что я не пойду, а просила его очень идти самому и даже, если возможно, теперь. Он оделся и отправился, но у него было какое-то



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ С ДЕТЬМИ ЛЮБОВЬЮ И ФЕДОРОМ

Фотография И. Грюннера, Петербург, 1883 г.

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

недоверие ко мне и он просил, чтобы я никого не принимала, пока он будет ходить. Я даже предложила ему меня запереть, если он уж так не доверяет ко мне. Когда он ушел, меня взяло сильнейшее беспокойство, мне пришло на мысль, что это, может быть, только какая-нибудь ловушка, что это сделано для того, чтобы заманить Федю куда-нибудь, где его встретят \* и, пожалуй, еще отколотят, но, слава богу, мое беспокойство не продолжалось слишком долго, потому что Федя воротился назад и сказал, что видел самую хозяйку, что она сказала, что записка написана ею, и что будто бы ей какая-то дама сказала, что я желаю переменить свою квартиру, а так как у нее есть квартира, то и послала нам свой адрес. Феде почему-то показалось, что она хотела скрыть истину, а сказала это так, чтобы что-нибудь ответить, и что, может быть, ее просили так отвечать, если приду не я сама, а мой муж. Я сказала ему, что так как мы решительно не хотим съезжать с нашей квартиры, то поэтому-то самому решительно никому не могли сказать, что должны переменить квартиру, но главное, что у меня ведь решительно нет никого знакомых и ни с кем я не говорила. Тогда Федя сделал предположение, что, может быть, считают нас за бедняков и потому хотели попробовать, не соглашусь ли я на какое-нибудь дурное дело. Но мне кажется, что все это пустяки, а что так как наши соседи съез-

жают, то очень вероятно, что говорила это она, а они ошиблись адресом, и вот записка попала ко мне. Вообще этому нечего было придавать большое значение, тем более, что я решительно никому не говорила о моем желании съехать, и чувствовала себя совершенно невиновной в этой записке. Федя меня уверял, что ему и в голову не могло войти подозревать меня в чем-нибудь, но что он боится, чтобы кто-нибудь не подшутил над нами, так как, например, кто-то приходил спрашивать за нас письма. Вечер у нас все-таки прошел довольно мирно, а когда Федя пришел прощаться, то сказал, что портрет мой он рассмотрел и нашел, что он похож, но что все-таки глаза у меня точно, как у рака.

*Воскресенье 3 <ноября>/22 <октября>*. Сегодня день хороший, но ужасно ветреный, опять биза, так что просто с ног сваливает, обыкновенно она продолжается дня 2 или 3, это просто ужасно, в это время никуда и выйти нельзя <...> Сегодня я собралась идти в церковь, но из-за бизы не пошла, и мне это так больно; мало того, что я так давно не была в церкви, я дала себе слово непременно идти в это воскресенье, и вот не пошла; но в будущее воскресенье я пойду непременно. Из-за бизы мы не выходили все утро из дома, Федя несколько раз смотрел на мой портрет, когда принимался писать (это мне очень лестно), и сказал, что я очень похожа, но что все-таки глаза нехороши; упрекал меня, зачем я лучше не оделась, а в простой кофте, говорил, что у меня очень хорошее, доброе выражение, такая по обыкновению вступанная, как и всегда. Ходили обедать, потом на почту, где, разумеется, ничего нет, тогда Федя пошел читать, а я домой. Гулять мы уже вечером не пошли, потому что возможности решительно никакой не было. Вечером Федя как-то, не помню что-то заметил о моем портрете, я отвечала: «А, ты смеешься, так отдай мне его назад», тогда он отвечал, что не отдаст мне его *ни за что на свете* (меня это очень порадовало), потом как-то сказал, что я похожа на портрете, и что он потому это напоминает, что уж портрет чрезвычайно хорош, что он все на него глядит и находит, что я ужасно как похожа. День у нас прошел довольно весело, т. е. очень мирно <...>

*Понедельник 4 <ноября>/23 <октября>*. Сегодня биза перестала, сделалась отличная погода. Мы как-то рассматривали Федино теплое пальто и нашли, что непременно следует прикупить шелковой материи на подкладку, чтобы его починить, и тогда оно ему будет служить еще много времени. Федя на починку положил уплатить 5 франков и я, пользуясь хорошей погодой, отправилась покупать, взяв с собой образец <...> В 2-х или 3-х магазинах мне подыскали такую материя, но брали за метр не меньше 7 франков, а следовало непременно взять не меньше метра. Сколько я ни ходила, но дешевле нигде не брали, так что под конец я решила лучше сходить домой и спросить у Феде, могу ли я купить за 7 франков. Он меня выбранил, зачем я это не сделала без его спроса, и я снова отправилась за покупками <...> Те деньги, что у меня теперь есть, я должна беречь их, во-первых, на тот случай, если Катков нам не придет, то выдать их за деньги, присланные от мамы, а <во> вторых, опять давать их как деньги, вырученные под залог вещей, таким образом несколько поддержать себя, а если бы все было хорошо, и все нам удалось, то чтобы иметь возможность послать маме хороший платок <...> Я купила материи  $\frac{3}{4}$  метра за 5 франков и потом форму шляпы за франк. Но сегодня еще не шила, потому что очень скоро стемнело, а мне хотелось, если делать, то делать очень хорошо, чтобы Федя не мог сказать, что я не умею шить. Ходила на почту, но ничего не получила, просто не знаю, что такое и подумать, что мы так давно не получаем писем <...>

*Вторник 5 <ноября>/24 <октября>*. Встала сегодня пораньше и начала примерять, как подложить подкладку, сначала у меня как-то не выходило, но потом дело пошло на лад. Я нынче не бужу Федю, по обыкновению, до 10 часов, хотя в это время очень страдаю, потому что пить кофей ужасно как хочется. Потом, когда он встал, я попросила затопить печку и начала гладить подкладку, т. е. подводить к ней полоски, так что было если бы возможно <вовсе?> не заметить, что тут подкладка. Потом начала шить и одну половину сделала сегодня, но потом пошла обедать, а вечером уж было настолько темно, что шить было нельзя. С Федей мы были очень дружны, но очень горюем, что никак не можем получить ниоткуда письма. Это просто поразительно, вот уж сколько времени как отправили ко всем письма и ни от кого еще до сих пор ответа не получили, это уж слишком даже странно. Особенно меня беспокоит молчание мамы, уж не больна ли она, не сделалось ли у них какого-нибудь несчастья, что она так долго молчит. Но вот что мне кажется, очень может быть, что так как Федя мальчик Паше, что мы, может быть, скоро отсюда уедем, то этот глупый мальчик и сказал маме, что мы уезжаем, а она не получила от меня письма, убедилась в этом предположении и потому и не пишет, но меня это ужасно как беспокоит, так что я решительно не знаю, что мне и сделать.

Федя был сегодня очень ласков(ый) ко мне, сказал, что очень любит и меня и ребенка, думает, что это будет непременно не Сонечка, а Миша, что будет мальчик страшно резвый, который будет постоянно ходить в синяках; когда легли в постель, то сказал, что благословляет и меня и нашего будущего ребенка. Сегодня мы толковали о том, чтобы когда получим небольшие деньги, то начать понемногу шить для ребенка, а то покупать <сразу все?> будет гораздо дороже и вовсе не так, чтобы уж слишком лучше.

*Среда 6 <ноября>/25 <октября>*. Сегодня рано утром встала и окончила ту половину пальто, потом выгладила утюгом вторую половину и прибавила к ней полоски, так что сегодня у меня работа значительно подвинулась вперед; Федя все поглядывает и говорит, что очень хорошо, вообще он нынче приходит к убеждению, что и я могу кое-что шить и говорит, что я шью хорошо. Я очень рада этому мнению в нем, потому что у него почему-то составилось мнение, что я решительно ничего не умею делать, что я не хозяйка и что вообще на меня очень много идет. Пошли сегодня опять вечером на почту и я как-то особенно надеялась получить письмо от мамы, но вдруг нам сказали, что письма нет. Меня это просто поразило, зачем я не богата, зачем у меня нет лишних 40 франков, чтобы послать в Петербург телеграмму и знать, что там такое случилось, что она ничего мне не пишет <...> Федя меня утешал и уверял, что, вероятно, там ничего не случилось, а так какое-нибудь недоразумение. Ему видно было жалко меня. Он был очень доб(рый) и мил(ый) ко мне. Когда он прощался, то он сказал, что меня ужасно любит, что жить без меня не может, что когда тогда он отправился в Саксон ле Бен, то дорога его как-то развлекала, но там ему сделалось до такой степени грустно без меня, так что он не знает, как бы он стал без меня жить. Я очень рада таким словам его, мне такие слова точно бог знает какой подарок.

*Четверг 7 <ноября>/26 <октября>*. Сегодня я окончила его пальто, оно вышло очень хорошо, все места, которые были худые, поправлены, и пальто опять может много времени проноситься. Федя мной остался очень доволен. Потом до обеда я сделала свою шляпу <к а к в ы ш л а>, положила на вату, вышла она довольно недурно, но в ней недостает еще цветка, а разве без украшения она будет так хороша. Федя ужасно удивился, когда он увидел, как я скоро ее сделала. Погода сегодня отличная. Ходили

обедать, нас опять кормили ужасно дурно, но зато десерт был очень хороши(й). От обеда пошли на почту. Дорогой Федя шутил бранил меня, зачем я не ношу своего платка, а я его уверяла, что потому не ношу, что мне запрещают носить его. На почте ничего нет опять, господи, что это такое за мука, право, вот сколько времени как не получала ответа от мамы, а тут и деньги выходят, а Катков не шлет никакого ответа. Господи! неужели от него не придет никакого ответа, это просто будет ужасно, потому что, что мы тогда будем делать? Опять начнем просить маму, чтобы она достала нам денег, опять тормозить бедную мамочку, несчастную мою мамочку, вместо того, чтобы ей помогать, опять будем ее тревожить (...)

Вечером мы с Федей поссорились и из-за какой-то глупости. Сначала мы оба легли спать и проспали до самого чая, потом я встала и заварила чай. У нас, несмотря на нашу огромную топку, бывает ужасно как холодно, вот я и прилегла опять на постель. Федя, вероятно, хорошенько не выспался, да и вообще после сна он был какой-то суровый, он начал уверять, что воды чрезвычайно как мало у нас в чайнике; мне, право, было решительно все равно, и я, чтобы что-нибудь ответить, сказала, что только мне кажется, что воды довольно; сказала я это для того, чтобы он не ходил и не бранил старушку. Федя это принял за намеренное противоречие, надулся на меня, так что я даже того и не заметила. Пить же чай мне не хотелось, потому что у меня была сильнейшая изжога, как и во все эти дни. Когда он предложил мне пить, то я отказалась. Тогда он ужасно как на меня кричал и объявил, что с ним прежде дрались, но дрались открыто, а не по-тихоньку?, не скрываясь, и что если браниться, так браниться. Меня это ужасно как взбесило, особенно когда он закричал, если я не стану пить, то он все побросает на пол. Я (...) изругала его ужасно, и к моему ужаснейшему удивлению, он даже этим нисколько не обиделся, а как будто бы даже и успокоился. Меня же это так взволновало, что сердце начало сильно биться и вообще я сделалась нездорова и сейчас легла в постель, чтобы это как-нибудь поскорее прошло. Федя несколько раз подходил ко мне узнать, лучше ли мне, и просил успокоиться; что же до моих ругательств, то, кажется, он их и не заметил. Вообще эта ссора нас не особенно рассорила и мы расстались довольно дружелюбно (...).

*Пятница 8 <ноября>/27 <октября>*. Сегодня день чудесный, делать мне нечего, вот я и отправилась прогуляться немного по городу, а чтобы не гулять даром, зашла в один магазин узнать, что стоит детское приданое (...) Ходили обедать и сегодня подали все до такой степени жирное, что я просто истрадалась после обеда. Изжога была страшная, невыносимая, грудь и горло горели; я решила сегодня поступить таким образом, что ни завтра, и ни послезавтра, а если возможно, даже несколько дней, не обедать в том трактире, а приказать сделать мне молочный суп и купить себе курицу, таким образом, чтобы в моем обеде не было ни капли жирного. Я до такой степени страдала, что готова была лучше ничего не есть, <чем> их противные жирные кушанья. Федя, видя, что я сегодня такая печальная, сказал мне: «Подождем еще несколько дней, а если не получим от мамы письма, заложим что-нибудь и пошлем к ней телеграмму, чтобы узнать, что с нею такое». Я отвечала, что теперь я несколько поспокойней и уверена, что письмо придет, если не <в> воскресенье, то в понедельник наверно, т.е. это ответ на получение портрета. Спала я ночь хорошо, но ужасно у меня как горело горло.

*Суббота 9 <ноября>/28 <октября>*. День был сегодня отличный, но дома ужасно как скучно, решительно не знаю, что мне делать. Во-первых, и делать-то нечего, нечего шить, а во-вторых, все приходит на мысль, отчего это не приносят мне писем от мамы и от Каткова, просто это меня ужас

как беспокоит. Ведь если Катков ничего не ответит, то придется опять посылать и кланяться деньгами у бедной моей мамочки; господи! как бы мне этого не хотелось, просто и сказать не могу. Ходили сегодня за покупками, за курицей, но готовой не было, я \* велела заколоть и приготовить ее. Потом Федя пошел обедать, а я пошла за курицей, купила превосходную за 2 франка <...> Поела я курицу и теплое молоко, так отлично и так сыта, как редко ела в трактире. Сегодня Федя несколько раз ходил разговаривать со старухами, вообще когда он с ними несколько поссорится, т. е. покричит на них, то сейчас бежит и начинает с ними разговаривать о разных разностях, но главное о \* в которых они, я думаю, решительно ничего не понимают. Как мне все это надоело. Вечером ходили на почту и опять ничего не получили; просто это решительно я не знаю, как и объяснить. Я с ужасом думаю, что не пропало <ли> письмо к Каткову. Это решительно убьет нас. Федя обыкновенно после неполучения письма становится все серьезнее и скучнее <...>

*Воскресенье 10 <ноября>/29 <октября>*. Сегодня день тоже отличный, и я этому чрезвычайно как рада, потому что, по крайней мере, ничего мне не помешает идти к обедне, а я еще в прошлое воскресенье хотела сходить, но по случаю ветра не пошла. Я нарочно пораньше разбудила Федю, оделась и отправилась в русскую церковь, желая поспеть к самому началу. Русская церковь находилась здесь на горе и от нее превосходный вид на Женевское озеро. Довольно большое расстояние. Сегодня особенно хорошо, потому что день чрезвычайно ясный, церковь эта небольшая, но довольно красивая, белая с золотой крышей. Внутри она очень маленькая, так что, мне кажется, едва ли могло там поместиться человек 200. С цветными стеклами в окнах и с живописью по стенам. Иконостас мраморный. Вообще она чрезвычайно красивая, вроде домашней церкви. Мне она очень понравилась <...> Обедня мне очень понравилась, и я с удовольствием помолилась. Я была уверена, что непременно сегодня же получу от мамы письмо. После обедни я довольно скоро вышла из церкви и поспешила домой. По дороге я заходила в J\* и здесь спросила, чтобы они мне показали те евангелия, про которые они публиковали, спросили за них они 30 франков, но я бы, кажется, не купила, потому что \* нехороши, а это в евангелии главное.

<Домой?> я пришла, Федя еще был за чаем и расспрашивал меня о церкви. Потом он несколько времени работал и пошел обедать, а так как я обедаю сегодня дома, то я и сидела дома и не помню, что делала после обеда. Прочитав газеты, Федя пришел, чтобы взять меня и пойти вместе на почту, узнать, не пришло ли мне письмо. Я была уверена, что непременно или сегодня или непременно завтра получу от мамы письмо. Это так и случилось. Мама прислала письмо, но на этот раз не франковала, и мне было несколько досадно, что это случилось при Феде, он как-то особенно не любит, когда нам приходится платить за нефранкованные письма. Я распечатала тут и почтала письмо и прочтала его поскорее, чтобы знать, отчего она так долго не писала. Мама, видно, сердится и на меня и на Федю, положим, что ее неудовольствие на нас даже очень справедливо, потому что ведь мы ее заставляем платить проценты за салон, пальто, <билеты?> и прочие вещи. Положим, что ей больно, что Федя больше заботится о пестровке, чем обо мне, но мне все-таки было тоже больно, что она сердится, потому что мне никак бы не хотелось, чтобы мама была моим или Фединым врагом. Все ее письмо было наполнено жалобами на то, что Федя платит за их квартиру. Правда, и мне это неприятно, потому что у нас у самих есть долги, но что же ведь делать, ведь того переменить нельзя; письмо ее для меня было больно, потому что ведь что же она мне это пишет, разве я могу что-нибудь тут сделать, как-нибудь это переменить, ведь я решительно ничего

тут не могу сделать, так зачем же мне напоминать об этом. Федя ждал все время, когда я прочитаю письмо и по дороге спросил, отчего мама не писала. Я отвечала, что будто бы она была больна, и что она пишет, что, вероятно, пришлет нам деньги. Мама писала, что будто бы Аполлон Николаевич хотел попросить для нас деньги из Литературного фонда; Федя сказал, что это пуст<ое> и что даже ему самому не хотелось бы, чтобы это было так сделано. Потом вечером я легла спать, Федя меня разбудил эдак часов в половине 11-го. и очень недовольный тем, что я так долго сплю, просил сейчас лечь и раздеться. Я спросонья почему-то так сильно на него рассердилась, что ужасно начала бранить его, зачем он меня разбудил, зачем не дает спать и вообще у нас вышла удивительно глупая сцена; Федя уж начал ходить шибкими шагами по комнате и уж через несколько минут, вероятно, начал бы говорить о своей несчастной жизни, я тоже легла в постель и сильно с ним разбранилась, но потом расхохоталась, совершенно проснувшись, уговаривала, что ссориться чрезвычайно как глупо. Вот я и подозвала его и сказала, что у меня сердце начало сильно биться и что я тогда только успокоюсь, когда мы с ним через 10 минут были большие друзья, весь его гнев прошел, он сделался по-прежнему ласковый и добрый, и мы тут рассмеялись, как мы могли сердиться друг на друга. Я его в шутку выбранила, как он мог принять так к сердцу слова сонной бабы. Так что через несколько времени, когда я заснула, то мы расстались с ним страшными друзьями, и когда Федя пришел прощаться и я ему напомнила нашу ссору, то он отвечал, что он даже и не помнит, чтобы у нас была какая-нибудь ссора. Теперь я припомню этот же день в прошлом году.

28 октября 1866. В этот день я тоже была у Феде, чтобы писать, мы в это время уже доканчивали нашу повесть и очень спешили, так что мне пришлось у него пробыть часов до 4 вечера, все диктуя. За все это время мы особенно с ним подружились, мы иногда впрочем не так много диктовали, как говорили, он мне рассказывал о своей жизни прежде, расспрашивал меня, как я живу, кто мне нравится, отчего я не иду замуж, мы много спорили, и я чрезвычайно как весело и счастливо проводила время. Он меня несколько раз называл голубчиком, милой Анной Григорьевной, а мне такие слова были донельзя приятны, и каждый раз, когда я приносила к нему несколько новых исписанных листков, он клал их в большую тетрадь на столе и спрашивал меня потом: «Как вы думаете, а мы поспеем или нет?» Я его уверяла, что вероятно поспеем, чтобы он только не горевал, что нам остается еще довольно дней и что, по моему мнению, мы наверно успеем все сделать. Как-то он мне сказал, что это будет ужасно как жаль, что после нам не придется больше нигде увидеться, потому что где же он меня увидит? Я отвечала: «Приезжайте к нам». Он отвечал, что очень рад, что я приглашаю его, и он непременно воспользуется случаем, чтобы приехать ко мне. Он сейчас спросил мой адрес и прибавил, что адрес тем более ему нужен, потому что я могу заболеть или что-нибудь со мной сделается и я не приду, а он, между тем, даже моего и адреса не знает. Я ему сказала, и он записал его в своей синей тетрадке. Сказал, что у него есть такая тетрадь для записывания адресов, но потому-то он в нее и не записывает, потому что она для того пред<на>зн<аче>на, этот адрес цел и до сих пор у него в синей книжке.

Я помню, он всегда один; когда я к нему приходила, то он иногда продолжал еще писать, но потом обыкновенно шел ко мне навстречу. Тут я стала замечать, что при моих быстрых и маленьких шажках, как он их называл, он вставал поскорей с места и встречал меня; иногда я замечала, что у него кусок <яйца> на лице, когда я войду. Глаз у него начинал поправляться, но все еще по-прежнему был расширен, и при моем приходе он



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ

Фотография, Петербург, 1914 г.

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

постоянно начинал мазать глаз кисточкой, как будто бы без меня того сделать не мог. Меня это ужасно забавляло. Он говорил, что по окончании романа обещал устроить обед для своих приятелей и что он думает, что я, вероятно, не откажусь также присутствовать на его обеде, и спросил, обедала ли я когда-нибудь в ресторане, я отвечала, что нет, но что, вероятно, буду у него. Сама же я решила наверно не быть, потому что ведь в самом деле это было бы очень дурно, если бы я на это согласилась <... >

*Понедельник 11 <ноября>/30 <октября>*. Сегодня день рождения Феде, хотя он это совершенно забыл. Я встала сегодня довольно рано для того, чтобы иметь время пойти и купить ему пирог. Я заметила, что он чрезвычайно как любит сладкий пирог за чаем вечером и потом утром за кофеем. Вот мне и хотелось теперь сделать ему этот небольшой подарок. Я забыла сказать, что в субботу я ходила в магазин, чтобы отыскать ему подарок, и выбрала бронзовую папиросницу в форме калочки, не то, чтобы уж важн(а я), но вместе с тем довольно красив(ой) <золоченой?> бронзы, я думала, что такая вещь может стоить не больше 4-х франков, но оказалось, что стоит 9, потому что он уверял, что это золочение не парижское, которое скоро сходит, а венское, которое будто бы целый век продержится. Я все-таки выторговала у него 1 франк и отдала ему 8 франков. Было у меня еще намерение купить ему кашемиру на кашне, но так как я еще тогда не знала, получим ли мы деньги от Каткова или нет, то тратить деньги мне вовсе не хотелось, а то они бы вышли, а потом я бы и не знала, какие деньги дать под видом залога белья <... >

Было довольно еще рано, когда я пришла в булочную купить пирог, он стоил один франк, небольшой, но свежий и чрезвычайно вкусный, облитый каким-то розовым веществом, булочница мне сказала, будто бы этот пирог есть произведение Женевы, но мне что-то не верится, вероятно, такой же пирог отличный можно найти и везде. Я успела прийти домой еще до того времени, пока Федя проснулся, потом в 10 часов я его разбудила, заварила кофей, и он встал. Встал он довольно весело, и когда сел за стол, то хотя и заметил пирог, но ничего мне не сказал, а говорит, что подумал: «К чему это она так раскутилась, денег мало, а она пирог покупает». Тут я ему сказала, что разве он не знает, что он сегодня рожден, он сначала мне не поверил, а потом сказал, что ведь и в самом деле это так. Я сказала ему, что так как он мне недавно говорил, что в день рождения у него всегда был пирог с клубникой, то мне хотелось, чтобы и в этот день был у нас пирог. Он, кажется, с большим удовольствием ел его, потому что он действительно был вкусный. Стали мы рассчитывать, сколько ему теперь лет, родился он в 22-м году, следовательно, 45, а он тогда в Москве, сердя Машеньку <sup>118</sup>, говорил, что ему всего только 43 года, та ужасно как на него сердится и бранит, зачем он себе уменьшает года. Так мы завтракали, я ему папиросницу не показала, а поставила ее на стол, чтобы он мог сам ее увидеть, потому что, что мне было лезть с таким незначительным подарком вперед. Когда он начал зажигать печку, то зачем-то подошел к своему столу и, увидев папиросницу, сказал: «Что это такое? Это что значит?» Я отвечала, что это ему подарок. Он снял, стал смотреть, сказал, что это хотя не так хорошо сделано, но что все-таки очень хорошо, и в заключение поцеловал край папиросницы. «Где же ты взяла деньги, ведь это дорого стоит?» Я отвечала, что деньги прислала мне мама, еще 3 рубля исключительно на подарок, как я у нее и просила. «Ах ты подлая, ах ты подлая, — продолжал он меня ругать, — ведь надо же было подарить». Вообще видно было, что ему было очень приятно, что я ему подарила. Мне вовсе не хотелось ничего не подарить ему, потому что он постоянно говорит, что ему в именины и рождения обыкновенно Марья Дмитриевна дарила разные вещи, ну а почему же я-то отстану от того обычая. Он несколько раз назвал меня подлой, но, разумеется, чрезвычайно ласково и добро. Вообще утро у нас прошло чрезвычайно дружно.

Деньги у нас сегодня выходили, так что непременно нужно было идти сегодня заложить кольцо. Феде ужасно как не хотелось идти к прежним <...>, потому что они чрезвычайно <дурные?> люди, я ему предложила свести эти вещи к Сеге, который, вероятно, больше даст, но так как у него запирают от 12 часов, то я и пошла эдак в половине 2-го. Пришла к нему, его кухарка сказала, что следует прийти через час, потому что теперь контора закрыта. Я все время ходила по улицам, дожидаясь половины 3-го, когда я могу наконец видеть его. Когда я пришла, контора была уже опперта, у него стояла какая-то женщина и упрашивала его подождать еще с месяц. Когда он кончил с нею дело, я ему подала кольца, он их свесил, и спросил, сколько мне под них нужно, я отвечала, что они были заложены на 35 и что мне хочется 35. Он отвечал, что в них золота на 32 франка, следовательно, 35 дать не может, а даст 30, я и этому была ужасно как рада, потому что тот <...>, где был Федя, давал сначала 24, а потом 20, каждый раз сбавляя, так что, вероятно, отнеса к ним еще раз, они дали бы не 20, а пожалуй 15, да еще с глуостями. Он дал мне 30 франков и записку с сроком на месяц. Я очень радостно вышла, пошла купить чаю и себе курицу, потому что опять решила <сь> обедать дома, это и дешевле, да и горло по крайней мере не сожжет. Но я так долго проходила, что когда пришла, Федя был уже одет и дожидался моего прихода, чтобы идти обедать. Он был очень рад, что я принесла 30 франков, и даже похвалил Сеге, потом ушел обедать; перед его уходом к нам пришел небольшой трубочист \* пье-

монтеп, небольшой мальчик лет 11, с очень веселой и смеющейся физиономией. Мы с ним разговаривали и потом, когда Федя ушел, я его расспрашивала о его занятии <...> Сажки у нас накопилось ужасно много, и теперь, по крайней мере, Федя не будет беспокоиться и говорить, что у нас может случиться пожар. Деньги он принял, кажется, радостно. Потом пресмешно взвалил себе огромный мешок с сажей на плечи и ушел от меня. Пресмешной мальчик, мне было, право, ужасно жаль его, силиш(к и)-то, вероятно, нет нисколько, а должен работать.

Вечером Федя пришел за мной после обеда, и мы отправились за письмами. Сегодня пришло письмо от Феди, но в нем ничего не было сказано о присылке Катковым денег. Дорогой мы поссорились с ним и, кажется, из-за самой глупой причины; дело в том, что Федя нынче удивительно как охает постоянно, то ему холодно, то ему кажется какой-то запах в кухне, одним словом, он ужасно как надоедает нашим старухам, жалуясь им постоянно на это. Вот и сегодня, когда мы собрались уходить, он зашел в кухню и там бранил старух за запах, ну, что бедным старухам делать, разве они в этом виноваты, а он им говорит. Я его начала торопить, чтобы он шел, вот когда мы вышли, то он и начал меня бранить, зачем я не могла подождать, что я всегда, когда захочу, то непременно, чтобы по-моему было, одним словом, у нас эта глупая история продолжалась ужасно долго. Я наконец рассердилась и сказала, что, вероятно, ему хочется, чтобы его ругали подлецом, мерзавцем, тогда он будет доволен, потому что когда его не ругают, то вот он теперь пристаёт и напрашивается на ругательства. Он отвечал, что его никто так не ругал, я отвечала, что ведь Марья Дмитриевна его и каторжником ругала.

«Ругала она и хуже, но ведь все знают, что она из ума выжила, как говорят в народе, что она была полоумная, а в последний год и совсем ума не было, ведь она и чертей выгоняла, так что с нее спрашивать».

Должно быть я очень зла, потому что мне было несколько приятно, что он так отозвался об этой женщине, которую он, бывало, постоянно ставил мне в пример. Но вечером потом мы кое-как помирились, да и стоило ли сердиться из-за таких пустяков.

В тот же день в прошлом году у меня, как я сказала, почевали Андреева и Ганецкая <sup>120</sup> и мы, кажется, эдак часов в 12 отправились из дому, хотя я все еще не успела докончить переписывать продиктованное Федей вчера <...> Потом я проводила Машу Андрееву почти до дому и отправилась к Феде, у которого диктовали в этот день в последний раз. Завтра надо было отнести написанное. Уходя от него, мне было почему-то ужасно как грустно, так же как и весь остальной день.

*Вторник 12 <ноября>/31 <октября>.* Сегодня погода превосходная, теплая, без ветра, я вздумала воспользоваться ею, чтобы несколько прогуляться. Федя, разумеется, был рад, когда я пошла погулять, он всегда стоит у окна и смотрит, как я выйду на улицу, мне это очень нравится, я люблю такое внимание с его стороны, а когда он уходит один обедать, а я остаюсь дома, то я, в свою очередь, стою у окна и смотрю, когда он пойдет, сначала по нашей улице, а потом далеко по мосту. Он хотя ничего не видит, но непременно остановится на мосту и поклонится мне, что мне очень <приятно?>, и я бываю ужасно рада, что все-таки он вспомнит, что оттуда можно увидеть наши окна и вспомнит обо мне <...> Воротилась домой, но пришла до такой степени усталая и бледная, что даже это и Федя заметил. Устала я действительно чрезвычайно, так что, кажется, ни за что бы никуда больше не пошла. Федя пошел обедать, а я осталась дома обедать моим цыпленком и после обеда села писать письмо к Александре Павловне <sup>121</sup>, которой я уж раз написала, но так давно и так долго собиралась послать его, что оно вышло старым и мне пришлось переписывать его, но

это у меня заняло так много времени, что я не успела отнести его до Феде, а при Феде мне не хотелось продолжать его, потому что оно было франкованное, следовательно, он был бы, может быть, недоволен, что я посылаю письмо.

Вечером мы пошли на почту, но ничего не получили. Когда мы шли назад, то Федя начал опять говорить, что вот мы ходим на почту, чтобы получить какое-нибудь важное письмо, и вдруг получаем письмо от какой-нибудь Стоуниной, черт бы ее взял. Я ему отвечала, что от нее письма быть не может, что он решительно напрасно сердится на нее, и что если он будет продолжать ее бранить, то я решительно буду думать, что это потому, что ему пришлось заплатить 90 с. Он начал ее бранить и ее мужа, назвал его подлецом, говорил, что знает его по его <мнениям?> о Пушкине, я же спорила и уверяла, что знаю его по его делам и знаю за отличнейшего человека <sup>122</sup>, так что под конец Федя даже обиделся, зачем я его так хвалю, так что мы и тут поссорились, решительно это была не длинная ссора, но, к счастью, все наши ссоры здесь недолговечны, так что и эта прошла очень скоро. Вечером я была ужасно как грустна и задумчива, Федя несколько раз приходил ко мне и говорил, что, вероятно, я теперь его не люблю, потому что хандрю и что человек никогда никого не любит в такие часы. Я отвечала, что люблю его, но что ужасно тоскую. Он несколько раз подходил и утешал меня. Тут мы решили, что если еще несколько времени не придет письмо от Каткова, то написать ему еще раз письмо и попросить хотя какого-нибудь ответа. Господи, думала я, что с нами будет, ведь если Катков не придет, или если письмо пропало, а Федя понимает так же <как я?>, что письма пропадают на почте, то чем мы будем жить? Федя опять потребует, чтобы я попросила маму прислать нам деньги, а ведь это просто ужасно, мне так больно ей писать, один бог только знает, как мне это тяжело.

Вечером Федя назвал меня своим *перстеньком* золотым, в котором находится *бриллиантик*, это наш Миша или Сонечка. Мы разговаривали о нем, о нашем будущем ребенке, и Федя говорил, что, вероятно, будет ужасно любить. Ночью я проснулась и увидела, что Федя лежит на полу, это он молился, я его подозвала, он сейчас подбежал и сказал, что я его ужасно испугала, а я укорила его, что он ужасно меня испугал, потому что я думала, что с ним припадок на полу. Он подошел очень ласково и сказал, что это ничего, когда я просила его простить меня, что я его ругала, вообще он был со мной чрезвычайно ласков и любезен. Живот у меня растет не по дням, а по часам. Просто ужас да и только.

*31-е число прошлого года, понедельник.* В этот день я пришла последний раз и принесла Феде конец повести, продиктованной вчера, так что сегодня мы уж не диктовали, а только разговаривали. Он был еще любезней и милей со мной, чем всегда; когда я вошла, я видела, что он вдруг поднялся с места и даже краска показалась на его лице. Мне это показалось, что, значит, он меня любит, что, может быть, даже очень любит меня. Говорили мы с ним сегодня очень много. Я нарочно, не знаю почему — кажется, что шла на именины, — надела свое лиловое шелковое платье, так что была очень недурна в этот день, и он нашел, что ко мне цвет платья удивительно как идет, это случилось в первый раз, что он видел меня не в черном платье.

Показал он мне сегодня письмо Корвин-Круковской, где она называла его другом своим. Потом показал мне портрет Суловой. Она мне показалась удивительной красавицей, так что я сейчас это и выразила. Он отвечал, что она уж изменилась, потому что этому портрету лет 6, не меньше, и что его просили назад, а он не хочет с ним расстаться и отдать его. Потом он меня расспрашивал, сватаются ли ко мне женихи и кто они такие, я ему сказала, что ко мне сватается один малоросс, и вдруг он начал

с удивительным жаром мне говорить, что малороссы люди все больше дурные, что между ними очень редко когда случается хороший человек. Вообще видно было, что ему очень не хотелось, чтобы я вышла замуж. Потом я говорила про доктора, который ко мне сватается и сказала, что, может быть, за него выйду замуж, потому что он меня любит, и хотя я его не так сильно люблю, но только уважаю, но все-таки думаю, что буду за ним счастлива.

Не помню хорошенько, в который раз Федя мне сказал, что как жаль, что вот скоро у нас работа кончится и тогда он меня никогда не увидит. Я ему сказала, что если он хочет, то я буду очень рада видеть его у нас. Он тогда поблагодарил меня за приглашение и сказал, что он непременно воспользуется этим случаем и придет к нам. Вот сегодня, так как это был уже последний раз, когда я к нему прихожу работать, то он и просил меня назначить, когда к нам приходите. Я сказала ему, чтобы он приходил к нам в четверг, хотела назначить раньше, но потом так и отложила до четверга, и он сказал, что непременно придет и будет даже с нетерпением ждать того дня. Вообще в этот день мне показалось, что Федя меня очень любит, с таким он жаром говорил со мной, видно было, что ему так хотелось со мной говорить.

Я сидела у него уж часа с 2, как пришла Эмилия Федоровна, это было в первый раз, как я ее видела. Он представил меня ей и, что меня сильно поразило, она как будто с каким-то презрением и с удивительной холодностью приняла меня, так что меня это просто даже обидело. Меня еще до сих пор никто не принимал так холодно и презрительно, как будто бы она делала мне честь, что достаивала своего знакомства; меня просто это рассердило, вероятно, она меня считала за какую-нибудь авантюристку, и мне это было ужасно обидно, так что она на меня произвела удивительно неприятное впечатление. Он начал с нею разговаривать о разных делах своих, рылся в бумагах и ничего не находил. Я забыла сказать, что сегодня ему вдруг пришло на мысль показать мне свой паспорт, чтобы я могла узнать, в каких науках он сделал самые большие успехи. Он долго еще отыскивал паспорт и ужасно удивлялся и твердил, что вот я потерял такую важную вещь, как мой паспорт, наконец, нашел, и мы вместе с ним читали его, и я могла видеть, как много наук он произвошел.

Прошло эдак с полчаса, а уже собиралась идти домой, как вошел Аполлон Николаевич Майков. Он вошел в комнату, раскланялся, но, видимо, не узнал меня, вероятно, потому, что я была в светлом платье. Он несколько раз прошелся по комнате и спросил у Феде, кончен ли роман; так как тот был занят в это время разговором с Эмилией Федоровной, то я отвечала, что мы вчера окончили, и что я вот сегодня принесла окончание. Тут-то он меня припомнил и, поклонившись, извинился, что не узнал меня, сказав, что он ужасно как близорук, а следовательно, и не рассмотрел меня хорошенько. Он спросил моего мнения о романе, я сказала, что, по моему мнению, роман очень хорош(ий). Я посидела еще несколько минут и потом поднялась, сказав Феде, что мне пора идти домой, Майков и Эмилия Федоровна остались в кабинете, а Федя пошел меня провожать. Когда я одевалась, он как-то уж очень страстно прощался со мной и завязал мой башлык. Он мне говорил: «Поедемте со мной за границу». Я отвечала, что нет, я поеду лучше в Малороссию. «Ну, так поедемте со мной в Малороссию». Я отвечала, что если поеду, то с малороссом, но, вероятно, лучше останусь в Песках. Он отвечал: «Да, действительно, Пески лучше». Тут он мне еще раз повторил, что непременно придет к нам в четверг и что ждет с нетерпением того дня. Очевидно, я ему очень тогда нравилась и он был уж очень тогда страстный. Мне показалось, что (он) меня очень любит. Пока мы с ним с четверть часа разговаривали в передней, пришел Миша, племянник его <sup>123</sup>, но я его видела только мельком,

когда он прошел в комнату и только впоследствии могла разглядеть несколько лучше.

Ушла я домой, хотя счастливая, но поэтому-то ужасно грустная, до того грустная, что просто тоска берет припоминать это. Так грустно прошел весь этот конец дня, что мне почему-то даже больно было припоминать, что вот он, наконец, придет к нам. Мне казалось, что когда он будет бывать у нас, ему будет скучно, ну кто может у нас его знать \*, и если у него теперь есть ко мне хоть небольшая любовь, то она исчезнет, а мне казалось, что я начинаю его любить, и потому мне было бы ужасно больно, если бы небольшая его привязанность ко мне совершенно исчезла.

*Среда 13/1 <ноября>*. Сегодня день был великолепный, просто чуд(ный) так что я решилась пройтись немного. [Сначала пошла на железную дорогу, но туда ходить ужасно <с к у ч н о>, и вот я отправилась]. День сегодня прошел решительно не знаю как, т. е. не помню, он был что-то уж больно скучный и тяжелый, потому что деньги от Каткова не пришли, да еще и когда придут, а между тем деньги выходят, и вот завтра, кажется, больше не останется ни копейки. Вечером мы ходили на почту, но ничего по обыкновению не получили; я теперь припомнила, что сегодня был дождь и ходил на почту один Федя; мне сделалось еще грустней, когда он пришел и сказал, что ничего нет на почте, потому что я почему-то ужасно как надеялась, что сегодня получим. Ну, а если письмо пропало, если Катков даже ничего не знает о нашем желании и просьбе, ну чем мы тогда будем жить, просто одна эта мысль способна свести меня с ума, так мне больно даже и подумать, что нам опять придется просить маму и умолять ее прислать нам хотя сколько-нибудь. Весь вечер я в ужаснейшем раздумье лежала на диване, Федя несколько раз подходил ко мне и убеждал не беспокоиться, говорил, что он непременно пошлет еще письмо, и хотя тогда придется ждать еще с месяц, но он думает, все-таки, что придет.

*1 ноября прошлого года*. В этот день я уже не ходила к Феде, а вечером пошла к Ольхину, и хотя я еще не получила денег от Феде за диктовку, но я ужасно боялась, чтобы он не вздумал пойти к Феде и спросить у него деньги за работу. Мне бы было ужасно тогда совестно, во-первых, потому, что Федя мне сказал, что у него денег теперь нет, а что он скоро получит, следовательно, попросить теперь — было бы поставить его в чрезвычайно затруднительное положение, а во-вторых, он мог бы подумать, что Ольхин действовал по моей просьбе, и это значительно повредило бы мне в его мнении. Потом я выпросила сегодня у мамы 5 рублей, и на 2 рубля купила конфет для ребят Ольхина, а 3 рубля приготовила отдать ему, сказав, что вот эти деньги я получила за работу.

Когда я пришла к нему, то нашла на столе у него записку, в которой он извещал, что уехал на именины, а что очень просит кого-нибудь продиктовать вместо него до его приезда. Я сейчас взялась диктовать вместо него, а потом меня заступил какой-то из его учеников. Конфеты я положила на рояль и ужасно досадовала, что мне не пришлось отдать их в руки, потому что мне все представлялось, что девушка могла их взять себе и не отдать самому Ольхину. Но к концу урока пришел Ольхин и жена его, я ему сказала, что получила деньги и отдала 3 рубля, он сначала не хотел брать, сказал, что пусть они у меня останутся, но я настояла, потому что сказала, что так следует, так как было сказано по уставу. Он взял. Тут сам Ольхин увидал конфеты и развязал их сейчас и попотчевал ими меня. Я с ним поговорила несколько времени и ушла домой вместе с Александрой Ивановой. Она, видимо, была недовольна тем, что я принесла

\* *Может быть*: занять.

ребятишкам конфеты. Она меня спросила о Достоевском, и я с спокойствием вздумала сказать, что он у нас будет в четверг. Вдруг эта госпожа, которой, верно, во что бы то ни стало хотелось увидеть Федю, объявила мне, что она ужасно как рада бы была увидеть писателя, что она видела Писемского, что ей хочется увидеть и Достоевского, и вот так как этому представляется удобный случай, то она придет ко мне в четверг, случится у меня точно совершенно не нарочно. Мне это было уж решительно неприятно, но как было устранить эту госпожу? «Когда он у вас будет, утром или вечером», спросила она; я сказала, что решительно того не знаю, а что, может быть, он даже первый раз приедет утром с визитом. «Ну, так чтобы застать его наверно, я приду к вам утром и останусь обедать, и так до вечера, так что, придя к вам, он уже застанет меня у вас». Ну как принять эту нахальную гостью, делать было нечего, я сказала ей, что пусть она приходит. У меня решительно недоставало совести сказать ей, что мне решительно будет неприятно, когда она придет ко мне в этот день, потому что мне все-таки хотелось бы поговорить с ним, и что писатели обыкновенно не любят, когда <приезжают?> смотреть их. Приехала я домой ужасно раздраженная и огорченная, решительно не зная, как мне от нее избавиться. Мама была тоже очень недовольна ею, потому что ведь мама еще Федю не знала, следовательно, мне бы хотелось лучше, чтобы мама могла с ним поговорить на свободе. Вообще я легла спать в страшной досаде, придумывая, как бы мне устроить так, чтобы Александры Ивановны не было у нас в этот вечер.

*Четверг 14/2 <ноября>*. Сегодня утром мне вздумалось отнести на почту письмо, когда я пошла прогуляться. Это было эдак часов в 11 утра. Я вышла рано, потому что погода была уж очень хорошая. Федя меня просил не заходить на почту, чтобы нам вместе сходить вечером узнать, не пришло ли к нам чего. Я так и обещала и решила <сь> не заходить, потому что 2 раза спрашивать в один и тот же день ужасно как неудобно. Но когда я проходила площадь, чтобы положить письмо в ящик, наш почтмейстер, который очень хорошо нас знает, показал мне письмо, и я тотчас к нему отправилась. Он мне сказал, что письмо пришло на имя Феди и показал, что это было из «Русского вестника». Потом, чтобы не тревожить Федю приходить самого, дал мне квитанцию, чтобы он мог подписать ее дома, а я потом могла принести и получить письмо. Я тотчас отправилась, почти бегом пришла домой, так мне хотелось поскорей сообщить Феде новость, что мы, наконец, получили письмо. Федя был очень рад. Он сказал, что почему-то очень надеялся получить именно сегодня, во-первых, видел во сне, что получил от Каткова деньги, а во-вторых, уж очень горячо молился богу, и получил какую-то уверенность, что непременно получит деньги. Он тотчас подписал квитанцию и я отнесла ее и получила письмо. Федя же в это время оканчивал свое письмо к Яновскому, которого изведал о получении денег. В письме Яновскому Федя очень часто упоминал о мне и называл меня своей *добррой Аней*, единственной его радостью и утешением здесь, и говорил, что я через 3 месяца рожу. Вообще он говорил очень хорошо о мне<sup>124</sup>. Яновский в своем письме просил поцеловать мне руку и благодарил за память. Я очень рада, что Майков и Яновский имеют хорошее о мне мнение, а вся вина этому Майков, который постоянно так хорошо о мне говорит и Феде, и другим. Пока я ходила на почту, к нам приходили смотреть нашу соседнюю комнату <...>, когда я воротилась домой, то Федя разговаривал с нашей старшей старухой и говорил ей, что мы бы к тому времени непременно бы наняли эту комнату, потому что в одной комнате нам решительно нельзя, а, следовательно, надо будет переехать <...> а то ведь без этой комнаты решительно нам и жить нельзя, потому что ведь наш маленький крикунчик Мишенька или Сонечка будет

порядочно покрякивать, следовательно, Феде работать решительно невозможно будет. Но, вероятно, мы куда-нибудь тогда уедем или же придется переехать на другую квартиру, чего бы мне вовсе не хотелось, во-первых, что наши старухи прекрасные старухи, каких мы нигде не достанем, одна из которых, хотя и глухая, но все-таки ужасно добрая; мне бывает всегда ужасно смешно, когда она называет Федю *le diable méchant va\** <...>

Получили полисный билет на 345 франков на парижского банкира, но, вероятно, можно разменять и здесь, хотя, разумеется, возьмут что-нибудь за промен. Мы сейчас и отправились, зашли к нашему банкиру, у которого постоянно меняем. На этот раз вышел сам хозяин, М-г Paravin, должно быть, жид, но человек чрезвычайно утонченной вежливости, просто даже досадно его слушать, который извинялся и кланялся перед нами, как бы мы ему оказали ужасное одолжение, что пришли разменять у него билет. Взял он за размен 5 франков, так что у нас осталось 340, это довольно мало\*.

Потом Федя пошел обедать в <отель?>, после почти 2-недельного обеда дома решила <сь> идти в ресторан. Сегодня по случаю моего прихода нам подали обед получше, но опять все жирное, так что я даже и раскаялась, что пошла обедать; после обеда купили фруктов и винных ягод <...> идя обедать, мы зашли к нашей <деве?> Odier, у которой мы берем читать книги. Я готова биться о заклад, что она уже решила, что так как мы давно не идем, то что мы уж больше не придем и что мы решительно украли ее книги. Это мнение подтверждает то обстоятельство, что она покраснела, когда мы пришли. Федя сейчас сказал ей, что мы пришли расплатиться и просил ее сосчитать, сколько мы должны. Нам представляется, что мы должны эдак франков 20, если не больше, так что мы просто удивились, когда пришлось отдать только 5 франков уплаты, а еще 5 франков положить залога за новое чтение. Мне кажется, что по расчету она взяла с нас за целую неделю лишнее, но все-таки ничего, слава богу, что нам удалось расплатиться с ней и что можно безбоязненно ходить по этой улице и брать книги, не стыдясь того, что мы так давно не платим, и вообще у меня просто от сердца отлегло, когда мы заплатили ей, как будто это был такой ужасный долг. После обеда мы ходили гулять и купили в кофейной розовый пирог к чаю и поделились опять с нашими старушками, которые, кажется, были от него в восторге <...> Между собой мы живем очень дружно, так что просто у меня сердце радуется и <хотела бы> всегда так жить <...>

*Пятница 15/3 <ноября>*. Сегодня утром я пошла, чтобы выкупить наши кольца у закладчика, залож(енные) несколько дней назад за 30 франков. Он несколько удивился, что я беру так скоро и взял процентов 1 франк 50 с. <...> Пришла домой и тотчас принялась за работу, но, впрочем, мы скоро пошли. Федя пошел обедать и по дороге решил непременно зайти купить мне башмаки. Надо отдать ему справедливость, он нынче лучше как-то, больше стал заботиться о моем костюме и нуждах; прежде он как-то на это слишком равнодушно смотрел, как будто даже того и не замечал. Зашли мы сначала в один магазин, но там спросили за <в ы с о к и е> сапоги 27 франков, мы так и ахнули и решили, что такую громадную сумму ни за что не заплатим. Зашли в другой на нашей улице, здесь нас продержали довольно долго, потому что никак не могли подобрать на ногу, все были велики. У них страшно огромные ноги, просто почти в две мои, а у меня не слишком маленькая нога. Наконец выбрали очень хорошие, <в ы с о к и е>, хотя не фланелевые, но они предложили положить туда теплую подошву пробковую с шерстяным верхом, говоря, что зимой вы носите такие подошвы. Заплатили мы 20 франков и, мне кажется, это, довольно дешево, принимая в соображение, что сапоги очень хорошие.

\* Зловредный идет (франц.).

Федя пошел обедать, а я домой, сапоги же обещали принести сегодня вечером, потому что пришлось перешить все пуговицы, так как они ужасно быстро отваливались.

Вечер прошел у нас с Федей в разговорах о его будущей поездке в Саксон, и я сегодня намекала ему, что, может быть, можно было бы поездку и отложить, но, видимо, это уж ему не понравилось, и я уж настаивать на этом не стала, потому что он и так сегодня заметил, что вот если бы ему возможно было остаться в Саксон несколько дней, то, конечно, он стал бы выигрывать каждый день понемножку и в несколько дней у него было бы порядочное число денег. Смешно мне было его даже и слушать, потому что ведь вот в Бадене было так возможно поступить, так отчего там так проиграл, а выиграть ничего не могли. Все это пустяки, но отговаривать его не стану, потому что иначе скажет, что вот я служу ему помехой в том, что он может выиграть. Решено, что поедет послезавтра, а не завтра. Я было хотела попросить, чтобы он меня взял с собой, потому что мне ужасно бы хотелось посмотреть виды на Женевском озере, но так как это все-таки стоит не меньше 20 франков на одну меня, то я решила отказаться себе в этом удовольствии.

*3 ноября 1866.* Эту ночь <...> я почевала у Стоюниной и вот нарочно встала пораньше, чтобы поспеть поскорее домой. Лежа в постели, я слышала как Стоюнин пил чай, как оделся и ушел на уроки, потом я вышла и одна напилась чаю, со Стоюниной я простилась и оставила ее еще нежиться в кровати, потому что ведь делать-то ей нечего, так <обленилась> вставать слишком рано. Был довольно холодный, но очень хороший день. Я пришла домой и тут мама мне рассказала, что хотя за мной и обещала прислать дворника, но он напился пьян и, следовательно, прислать было некого, вот по какому случаю я и осталась ночевать у Стоюниной.

Я поспешно напилась кофею и отправилась к Александре Ивановне обмануть ее, сказать ей, что будто бы Достоевский был у нас вчера вечером, следовательно, сегодня не придет, а потому ей вовсе незачем к нам и приходиться. Я нарочно спешила быть у нее, потому что ужасно боялась, чтобы она не успела уж приехать к нам. Тогда выпроводить ее было бы ужасно трудно. Ее я застала еще в постели, и когда сказала, что Достоевский был у нас вчера, то она отвечала, что все-таки она сегодня не пришла бы, потому что несколько нездорова. Я видела, что она говорила неправду, а что сказала это только для приличия, чтобы показать, что будто бы она и сама не хотела к нам ехать. Я посидела у нее несколько времени, напилась кофею и, сказав, что мне надо кое-куда еще зайти, ушла. Мне надо было купить свежего масла, калачей, потом варенья, потому что, как он мне сказал, он любит пить чай с вареньем. Потом купила \* яблок крымских, очень сладких, и несмотря на сделавшийся большой снег, отправилась домой пешком.

Дома я нашла маму в большой уборке, все было убрано и прибрано, потому что неприятная вообще наша квартира приняла очень хороший вид. Я разложила масло, яблоки и варенье на тарелки и стала с большим нетерпением дожидать вечера, когда он придет. Так как у нас на это время прислуги не было, то мы взяли <Степана> Маркельча, который обыкновенно прислуживал у нас в подобных случаях. Потом я оделась и стала поджидать гостя. Прошло 6, 7 часов, а его все нет как нет, я переходила от одного окна к другому, смотрела в форточку, решительно никто не приезжал, так что мне под конец решительно пришлось в голову, что, может быть, он или позабыл про свое обещание приехать или потерял адрес. Так прошло, кажется, до половины 8-го, я до такой степени была в волнении, так сильно устала, что прилегла на наше кресло у окна и заснула. Не успела я хорошенько вздремнуть, как мама сказала, что какая-то линейка подъ-

ехала к дому, и что это, вероятно, он приехал. Я сейчас вскочила с места, вытерла поскорей глаза, чтобы не казаться такой сонной, вышла в переднюю, но он все не шел, потому что прежде всего заходил спросить в лавочку, тут ли живут Сниткины. Наконец-то он приехал и, войдя в переднюю, начал снимать шинель и калоши. Первые мои слова были: «Как это вы нашли нас?»

«Вот странный вопрос, — сказал он мне, — просто я могу подумать, что вы очень недовольны, что я приехал, потому что сказали это таким тоном, как будто бы даже ожидали, что я не найду вас и не при(е)ду».

Он вошел в залу, и тут я познакомила его с мамой, он раскланялся, пожал руку и начал снимать очки. (В это время он ходил в очках, потому что глаз все не поправлялся, и ему было запрещено выходить на улицу без очков. Они к нему удивительно не шли, потому что совершенно скрывали глаза, а глаза у него хорошие, особенно хорошо выражение глаз, следовательно, скрывать их грех.) Я просила его садиться, и он начал свой рассказ о том, как он долго не мог нас найти, как он ездил решительно по всем улицам в околотке, везде спрашивал Костромскую улицу и везде ему отвечали, что такой улицы здесь нет, так что он под конец начал думать, что не вздумала ли я ему дать неточный адрес, не желая, чтобы он пришел к нам. Я ему отвечала, что, во-первых, того бы ни за что не сделала, чтобы заставить человека проискать напрасно и потерять несколько часов, а во-вторых, я ужасно рада его видеть. Мама вышла хлопотать с чаем, потому что мне хотелось, чтобы он мог поскорей согреться. Сидели мы в зале против картины, которая изображает какой-то сельский вид и на первом плане\* <с е л о>. «Откуда у вас эта картина?», — спросил он. Я отвечала, что эта картина у нас с незапамятных времен и что я помню ее с самого моего детства. Тогда он сказал, что точно такую картину он помнит у одной <г о с п о ж и>, у которой был в детстве вместе со своей матерью, а этому было уже лет 30. Потом, увидев рояль, он спросил: «А вы играете?» Я отвечала, что играю, но очень дурно и только для себя. «Сыграйте мне что-нибудь, хотя бы даже дурно». Мне не хотелось показаться перед ним чопорной, заставляя себя упрашивать, поэтому я села за рояль и сыграла не знаю что-то такое, но на этот раз без ошибок. Он меня выслушал, сказал, что у него есть 2 племянницы, которые отлично как играют, и потом объявил мне, что играю я довольно плохо. «Право, какой он откровенный, — подумала я, — хотя бы скрыл свое мнение, ведь я могла бы даже и обидеться, когда так откровенно говорят, что я дурно играю».

Потом мама нас позвала в другую комнату пить чай. Стол был накрыт, и я села разливать чай, кажется, в первый раз. Он сначала не хотел сесть в кресло, но я усадила его, говоря, что там гораздо мягче. За чаем мы много разговаривали о разных разностях, он мне рассказал, как он привез нашу рукопись к надзирателю и сдал под расписку, потому что отдать прямо Стелловскому в руки не пришлось. Потом рассказал, где был, что делал в эту неделю. Говорил, что был недавно, кажется во вторник, у Милюкова, своего знакомого, и там был один господин, который вздумал читать свою повесть, но так монотонно и скучно читал, что решительно никто не мог вынести его чтение и что под конец Федя предложил заменить его, начал читать, но автор остался недовольным его чтением и сам принялся читать самым похоронным тоном. Потом много рассказ(ы в а)л о заграничной жизни, говорил с мамой, которой он очень понравился. Потом он сказал мне, что без меня скучал это время и говорил, что нам непременно следует работать, потому что без меня он никак не может написать своего «Преступления и наказания» 3-ю часть, так как для него переписка решительно запрещена.

Когда мама вышла из комнаты, он просил меня прийти к нему в гости, просто в гости, я отвечала, что, может быть, и приду к нему условиться о

11

Солнце моей жизни — Федор  
Достоевский

А. Достоевская.

6 января  
1917 г.

«СОЛНЦЕ МОЕЙ ЖИЗНИ — ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. А. ДОСТОЕВСКАЯ». 6 января 1917 г.

Запись А. Г. Достоевской в альбоме С. С. Прокофьева

По просьбе композитора все записи делались только на тему о солнце  
Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва

работе. Я ему сказала, как я провела всю неделю. Потом он смотрел мои книги и просил меня прочитать ему стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», желая знать, как я читаю. Я просила его избавить меня от чтения, он настаивал, но так как я ужасно дурно читаю, то я решительно отказалась и как-то сумела свести разговор на другой предмет, и чтение было оставлено до другого раза.

Когда мама вышла, я сказала ему: «А знаете, что такое я сделала, ко мне обещала прийти одна моя знакомая, а я сказала ей, что вы у нас вчера были и что сегодня не будете, только для того, чтобы она ко мне не приходила».

«Для чего вы это сделали?» — спросил он.

«Потому что я боялась, чтобы она на вас не произвела слишком хорошего впечатления, а мне этого бы вовсе не хотелось». Это ему ужасно понравилось, показало ему, что он мне нравится. Потом он мне рассказал о своей двоюродной сестре, которая сгорела<sup>125</sup>, и еще несколько рассказал.

Просидел он у нас, кажется, часов до 9. Наконец поднялся, чтобы уходить. У него был нанят извозчик на весь вечер, потому что он боялся не найти от нас дорогу. Наконец мы распрощались, я обещала когда-нибудь прийти к нему, он дружески простился с мамой и ушел. Какова была моя досада, когда <С т е п а н> Маркелыч, вошедший через 10 минут, сказал мне, что у рысака, которого он нанял на вечер, украл кто-то подушку от санок в то время, когда тот на минуту отлучился от лошади, и бедный кучер не знает, что ему делать, говорит, что ему очень достанется от хозяина за такую покражу. Как мне это было досадно. «Что подумает он про нас, — говорила я, — ведь это решительно заставит его к нам не ездить в такие страшные воровские места, где нельзя оставить лошадь на минуту, чтобы чего не случилось». Вообще мне это было ужасно как неприятно и ужасно жаль бедного извозчика. Вообще же вечер произвел на меня удивительно хорошее впечатление, и вот я теперь, через год, с уд(и в и т е л ь н ы)м удовольствием вспоминаю о нем. Вообще это было очень счастливое время, как я припоминаю, и дай бог всякому быть таким счастливым, как я была в это время.

*Суббота 16/4 <ноября>*. Как я уже сказала, поездка Федей отложена до завтра, но это, право, жаль, потому что погода сегодня восхитительная и, вероятно, вид(ы) по дороге прелестные, а почему знать, может быть именно завтра будет прескверная погода <...> Так как ввиду отсутствия Федей я решила занять себя шитьем его пальто, т. е. положить его на вату, то и пошла купить ваты <...> Вечером мы рассчитали с Федей деньги, мне он оставил 90 франков, а сам взял на все 135, однако, право, хотя я вполне уверена, что решительно из этого ничего не будет. Потом я уложила ему в саквояж все вещи, нужные для него в дороге, взяли мы из библиотеки книги, я взяла себе «Uscoque» Жорж Занд, а он «Процесс <об убийстве герцогини?> Praslin»<sup>126</sup>. Федей мне сказал, что он решительно обдумал и решил, что больше как до вторника ни за что не останется, что бы там ни было, потому что уверен, что станет ужасно как беспокоиться о мне и думать, что со мной и невеста что случилось. Вообще мы с ним были большие друзья в этот вечер и в весь день.

Вечером Федей, придя из кофейной, предложил мне идти на почту, мы отправились и получили там письмо от мамы, нефранкованное. Я ужасно на себя подсадовала, зачем я не сходила сама на почту, так как мне всегда бывает неприятно, когда я получаю письма нефранкованные, Феде это тоже было неприятно, я только раскрыла письмо, но читать было нельзя, потому что было довольно холодно. Федей предложил мне зайти купить пирог к чаю, потому что мы давно уж не покупали <...> В булочной я начала читать мамино письмо. Она мне говорила, что не помнит, когда она была так сильно рада, как в тот день, когда получила мой портрет, что буд-то бы я не только не подурнела, но даже очень поправилась и даже похорошела, что мама была ему очень рада. Бедная милая мамочка, я верю, что она была от души рада, получив мой портрет. Господи, как бы я была счастлива, если бы могла чем-нибудь обрадовать ее побольше, например, посылкой какого-нибудь подарка, господи, и все это так недорого стоит, а между тем у нас решительно на это средств нет, вот, например, я очень хорошо знаю, что я бы теперь могла отлично послать ей что-нибудь, но так как я вполне тоже знаю, что Федей непременно проиграет, то следовательно, покупать теперь подарки невозможно, непременно нужно копить деньги, чтобы дать их в виде залога своих <вещей> для него. Как все это грустно, просто ужас. Бедная мамочка между прочим пишет, что ей ужасно как трудно платить проценты за серебро, за бумаги и <билеты?>, что это возьмет 27 рублей, что ей неоткуда взять. Бедная, бедная мамочка, как мне ее жаль. Мало того, что у нее у самой дела ужасно плохи, я еще тут со своими делами, еще за меня следует приплачивать. Мама писала мне также, что мадам Фрик, которой я должна за рояль, приходила несколько раз к Маше и к Стоюниной, а так как Стоюнина знает мой адрес, то, может быть, сказала ей, и вот она может переслать мою записку для разыскания. Вот я теперь придумала, что когда Федей завтра поедет, дать ему письмо на имя Стоюниной и просить его бросить это письмо куда-нибудь по дороге на станции, а если нельзя, то в Саксон. В письме я писала, что мы уезжаем из Женевы и что решительно не знаем, где будем жить, таким образом наш адрес будет как будто бы потерян.

*Воскресенье 17/5 <ноября>*. Наша старушка по нашей просьбе поступала нам в дверь в 7 часов утра, и мы тотчас встали и оделись, я тоже, потому что пойду Федей провожать. Когда он одевался, ему все как-то не удавалось, так что он ужасно как бранился и призывал чертей. Даже наша старушка, которая всегда удивительно как скоро делает нам кофей, и та сегодня, что-то замешкалась, так что утро у нас было ужасно какое бурное. Наконец, мы собрались и, кажется, в половине 9-го вышли и через 10 минут пришли на железную дорогу <...> Мы скоро распрощались

с Федей, и он отправился садиться в вагон, а я вышла на двор смотреть, как пойдет поезд, так, чтобы и Федя мог меня видеть. День сегодня великолепный, просто чудо, так что я просто завидовала Феде: ему придется видеть прелестные виды во всю дорогу, право, счастливый он, а я-то решительно ничего не видела, ничего не знаю. Через 5 минут поезд пошел, и Федя мне раскланивался долго из окна вагона.

Потом я пошла домой и тотчас, чтобы не видеть, как идет время, начала гладить подкладку пальто, делать складки, чтобы мне удобно было стегать <...> Перед отъездом Федя зашел к старшей старушке и поручил ей меня, просил наблюдать, послать за бабкой, если я заболею, и посылать меня гулять. Старушке это чрезвычайно как понравилось, это доверие, и они приняли это близко к сердцу и просто наскучили мне <...> Прощаясь с младшей старушкой, Федя сказал ей: «Adieu, ma mechante Louise» \*, а она отвечала: «C'est le méchant qui s'en va» \*\*. Вообще на них было ужасно смешно смотреть.

Я целый день сидела за шитьем и простегала очень быстро одну половину пальто, дома пообедала, а потом, еще засветло, пошла на почту, чтобы отнести письмо к Феде, потому что он очень просил, чтобы я написала ему именно сегодня, чтобы он завтра уж мог его получить. Мне ужасно было сегодня досадно, что какой-то господин вздумал было меня преследовать, т. е., разумеется, ничего не говорил, но шел впереди и дошел совершенно без всякой для него надобности до почты. Меня это просто испугало, потому что вдруг бы вздумал пристать, а Феде и дома нет, некому за меня заступиться. Потом, когда вечером мне было темно шить, я сначала читала, потом что-то писала, так что время у меня прошло довольно скоро, и я этому была ужасно как рада, потому что обыкновенно без Феде бывает невыносимо скучно. Потом часов в 10 я заснула и проспала отлично всю ночь.

*Понедельник 18/6 <ноября>*. Сегодня я встала довольно рано и тотчас принялась за шитье, мне хотелось, чтобы если бы Федя приехал даже и сегодня, пальто было бы готово, если не все, то хотя бы наполовину. Но когда я посмотрела на пальто, то оно оказалось до такой степени грязное, что решительно не стоило ставить его на подкладку; вычистить же не было никакой возможности. Мне пришло в голову отдать его в стирку, но, во-первых, это заняло бы время, а во-вторых, главное, надо было бы непременно заплатить франка 2, а у нас франков-то ведь ужасно мало. Вот я и решила, несмотря на то, что мало силы, выстирать его пальто <...> На почте я получила письмо от Феде, он извещал, что только что приехал, сходил на рулетку, сначала все было проиграл, но потом как-то отыгрался и даже выиграл лишних 100 франков, хотел было их послать мне, да подумал, что мало, а что если у него будет хотя еще 100, то непременно пришлет мне<sup>127</sup>. «Ну, — подумала я, — это все пустяки, больше ничего, ничего ты, батюшка, мне не пришлешь, это известное дело». Потом я пришла домой, пообедала, и опять принялась за шитье, так что пальто сильно подвинулось. Потом, после 5 часов, видя, что Федя не приехал, я понесла на почту мое письмо к нему на тот случай, если бы ему случилось там остаться, то чтобы он не был в беспокойстве, что такое со мной. Спросила там, нет ли письма, отвечали, что нет <...>

*6 ноября 1866*. Это было воскресенье, довольно ясный день; так как в этот день именины Александры Павловны Неупокоевой, то мы обыкновенно, а особенно <мама?> непременно бывали у нее, даже приходили прямо к обеду и оставались до вечера. В этот день единственный раз в году я бывала у моей матери крестной, так что раз как-то Владимир Александрович

\* Прощайте, моя злая Луиза (франц.).

\*\* Злой тот, кто уезжает (франц.).

заметил, что тут бывает годовщина моим визитам. Скука у нее бывает обыкновенно ужасная, а потому я ходила к ней очень редко. Сегодня я тоже решила пойти к ней, так как мы ведь ей должны, следовательно, нужно сохранить с нею хорошие отношения.

Было эдак часа 2, и я сидела в зале и играла, несмотря на страшный холод, на рояле, и вдруг мама прибежала мне сказать, что приехал Федор Михайлович. Я выбежала поскорей в переднюю и увидела, что он входит в дверь. Он несколько времени стоял у двери, не зная, как быть, потому что казачка не заметил. (Припоминаю теперь, что у меня были на ногах прескверные башмаки и я быстро побежала их переменить.) Я раскланялась с Федором Михайловичем и сначала увела его в зал<у>. Когда мы входили в нее, он мне сказал: «Знаете, что я такое сделал?»

«Что такое?» — спросила я.

«Да я вот был у вас в четверг, да и сегодня приехал».

«Ну, это решительно ничего, — отвечала я. — Я опять очень рада, что вы приехали».

«Но ведь это неловко, бывать так часто, что из того можно много вывести».

Я отвечала, что мы люди простые и это решительно ничего не может значить в глазах наших. В зале было уж слишком холодно, чтобы сидеть, мы просили его в столовую и там мы уселись, я у окна, закутавшись в башлык, а он у стола. Хотя я несколько обрадовалась его приходу, но не знаю почему, меня это очень смутило, и я решительно не знала, что такое говорить с ним, как его занять. (Вообще надо заметить, что я почти совсем не умею разговаривать днем, вечером у меня всегда является большая живость и большее желание разговаривать.) Так у нас очень не вязался разговор и, как мне казалось, я ему в этот день решительно не нравилась, и это очень возможно, потому что я была страшно неловка и страшно как-то путалась в разговорах. Между прочим, он мне сказал, что нам непременно следует опять начать писать, я отвечала, что я еще решительно не знаю, позволит ли Ольхин мне принять эту работу, так как он мне ее доставил. Тот отвечал, что ведь это скорее зависит от него, потому что если он уж привык ко мне, то зачем переменять, но что совсем другое дело, если я сама того не хочу, тогда нечего и говорить. Потом он мне сказал, что он говорил с одной дамой и спросил ее, что значит, если девушка нарочно постаралась сделать так, чтобы другая не могла прийти, дама отвечала, что это доказывает, что мне был дорог он и что вообще это очень много значит. Потом рассказал, что когда рассказал Милюкову, что был у нас, то Милюков сказал: «Ну, вот видите: значит вы должны быть мне благодарны, что вы с нею познакомились, вот вы теперь к ним и ездите». Но как я уж сказала, разговор наш очень не вязался, я ему, видимо, в этот день не нравилась. В комнате у нас было страшно холодно, и он это сильно ощущал.

Когда он меня спросил, как я думаю провести этот день, я отвечала, что должна отправиться сегодня на обед к моей родственнице, спросил, в какую сторону и когда узнал, что в Коломну, то предложил меня довести. Сначала мне не хотелось ехать с ним, потому что, что могли сказать наши жильцы, но потом, чтобы как-нибудь переменить его о мне мнение, я согласилась, он предложил мне одеться, и я просила его выбрать, какое мне надеть платье, потом довольно быстро оделась и вышла к нему, а он все ходил по комнате и повторял: «Как у вас холодно, как у вас холодно». Наконец мы распрощались с мамой и вышли. Он и на этот раз взял извозчика, должно быть, на все время. Это ему очень дорого стоило, потому что извозчик был рысак и стоил, кажется, полтора или два рубля. Мы сели, и лошадь очень быстро помчалась. Когда мы проехали наш переулок, Феде вздумалось поддержать меня, хотя мне это было и не совсем приятно, по-

тому что он несколько раз меня сильно к себе притянул. Дорогой он меня расспрашивал, что со мной, что я такая нелюбезная и сумрачная и все прячусь в башлык. Он мне говорил, что все утро сегодня думал, ехать ли ко мне или нет, решил, что ехать ужасно рано и неловко, что решительно не поедет, вышел из дому с твердым намерением не быть у нас, но, выйдя, тотчас нанял извозчика и приехал к нам. Я отвечала, что очень хорошо это сделал. Когда мы проезжали Песками, то Федя мне говорил, что никогда еще не бывал в этих местах, и сказал, что тут где-то недалеко живет Краевский, я отвечала, что Краевский живет вот в этой улице<sup>128</sup>.

«И все-то она знает», — говорил он, прижимая меня к себе. Мне, наконец, сделалось несколько досадно на него, и я ему сказала, что пусть он меня не придерживает, потому что я, вероятно, не свалюсь. Это его ужасно \* Мне вовсе не хотелось, чтобы у нас были с ним короткие отношения, тем более, что если бы мне потом пришлось ходить к нему писать, то всего лучше было бы сохранить прежние чрезвычайно строгие и почтительные отношения, в которые я с первого раза поставила. Слова мои его ужасно обидели, он быстро выдернул свою руку и отвернулся от меня. Я, желая переменить разговор, сказала ему, что вот дом Краевского, но он ничего не отвечал, а говорил, что желал бы, чтобы я вывалилась из саней за мое упорство. Потом он был опять ласков со мной и спросил, как меня зовут уменьшительным именем, когда я сказала, то он отвечал, что имя Анна ему не нравится, а что он когда-нибудь будет меня называть *Аня*, *Анечка*. Потом он меня очень просил непременно прийти к нему во вторник, сначала я не хотела, но так как мне вовсе не хотелось, чтобы он снова так неожиданно приехал, как в этот раз, и так как у него дома я чувствовала себя гораздо свободней, чем у нас, как-то легче говорилось, то я ему и обещала, он меня довел до Кокушкина моста и хотел везти дальше, но я просила меня высадить и не согласилась, чтобы он меня проводил до Александры Павловны. На мосту мы простились, он очень страстно и просил меня дать честное слово, что я непременно при(е)ду к нему во вторник. Так мы расстались <...> Дома мне было очень тоскливо, мне казалось, что или я ему совершенно теперь не нравлюсь или все-таки у нас будет свадьба. Вообще на меня этот день произвел ужасно тягостное впечатление, хотя я теперь все-таки припоминаю его с нео(быкновенны)м удовольствием.

*Вторник 19/7 <ноября>*. Сегодня я встала опять очень рано, чтобы докончить Федино пальто, но потом видела, что уже часов 9 и, не зная хорошенько, в котором часу приходит машина, я оставила пальто, как оно было, и отправилась на железную дорогу встретить его. Какой-то поезд только что пришел, и я, не видя в числе прибывших Федю, уже заключила, что его не будет, но мне как-то вздумалось спросить у носильщика, в котором часу приходит поезд из Сион и мне отвечал, что еще придет через час. Делать на машине было нечего, и вот я отправилась побродить, чтобы как-нибудь убить этот час <...> Потом, когда я шла по улице, какой-то оборванец ужасно следил за мной, я ужасно этому испугалась и поспешно побегала домой и дома прождала эдак с полчаса, пока опять пошла на железную дорогу, но Федя не приехал, и я с машины пошла на почту, вполне уверенная, что непременно получу от него письмо с просьбой о высылке денег и с извещением, что все проиграл и без денег приехать домой не может. Право, я удивительная уга(ы в а т е л ь н)ица: как я себе сказала, так и случилось. Письмо, по обыкновению, было отчаянное, говорилось, что это в последний раз, что теперь все будет лучше, что он заслужит мое уважение и пр. и пр., и в заключение просилось прислать теперь же, не теряя времени, 50 франков для выезда, причем он писал, что все-таки ему при-

\* Фраза вычеркнута.

ехать раньше четверга нельзя <sup>129</sup>. Вот, подумала я, ведь я это так и знала, что это будет, как это все подло!

Поскорей пошла я домой, чтобы, если возможно, сейчас разменять золотой на банковый билет, вложить его в конверт и послать сейчас к Феде, чтобы оно могло прийти, если не сегодня, то непременно завтра утром. Пришла поскорей домой, но как назло вдруг не знаю, куда дела ключ от Федина чемодана, именно от того, где лежат деньги. Я целых 10 минут металась по комнате, как угорелая, старухи ахали и удивлялись, куда девался ключ, я, наконец, вышла из терпения и приказала привести слесаря, который в минуту открыл чемодан и взял за свой слишком небольшой труд 25 с., что очень дорого, как я нахожу. Вот еще удовольствие, если я окончательно потеряла ключ, мало того, что у нас денег нет, а теперь придется новый ключ приделать. Но по счастью, я через 2 дня ключ нашла. Сейчас снова оделась и пошла сначала в табачный магазин, где Федя покупает папиросы, купила у них пачку и просила их, не могут ли они мне дать 50-франковый билет, он поговорил и сказал, что у них есть 100-франковый, но 50 нет.

Я шла и всю дорогу ужасно бранила Федю, так мне было на него досадно за его проигрыш и за то, что мне приходится теперь отдавать последние деньги. Собственно проигрышем я не была слишком расстроена, я уж заранее приготовила себя к этому, что все будет проиграно, и потом, когда уверилась в этом, то не стала тосковать. Что мне было за мученье найти этот проклятый банковый билет! Ни у одного банкира не было его, все говорили, что это такая редкость, что все, получившие его, спешат его куда-нибудь сбыть, потому что он здесь теряет в цене; я обходила все большие магазины, и в некоторых из них для меня даже просили в разных местах отыскать билет, но повсюду неудачно, наконец-то, обходив весь город, часа через полтора, мне удалось-таки найти билет в здешнем банке de com-merce, где мне разменяли в минуту. Теперь пришлось бежать домой и вложить в письмо и запечатать. Господи! Как я устала в этот день, просто ужас. Никогда не запомню такой усталости, и мне за это еще больше стало досадно на Федю. Наконец все это уладилось, я принесла на почту и мне сказали, что он получит завтра рано утром.

Пришла домой, но тоска была порядочная, все представлялось наше будущее положение. Что теперь с нами будет. Было у нас 90 франков, теперь пришлось послать 50, осталось всего 30\*, а между тем, надо послать 50 франков на выкуп колец и пальто. Вот положение-то. Денег до 15-го числа будущего месяца нет, вещи все заложены, серьги и брошь пропали, потому что, если мы не вышлем к 22-му числу, то они пропадут, платые и все-все пропало. Господи, как ужасно, даже и подумать-то об этом мучительно. Ну, да что толковать, ведь этим ничему не поможешь. Легла я спать очень грустная и озабоченная всеми этими нашими обстоятельствами.

*Среда 20/8 <ноября>. Я встала довольно рано и отправилась на почту, чтобы получить от Феда письмо и, действительно, получила, он опять повторяет свою просьбу о присылке денег. На <вокзал? > я уж не пошла, вполне уверенная, что сегодня никоим образом приехать не может. На почте я получила письмо с утешением, с просьбой не печалиться, он говорил, что все хорошо устроится и что, следовательно, горевать особенно нечего. Право, я не особенно и горевала, я так это приняла философски хладнокровно, потому что того ожидала и заранее приучила себя к мысли, что все будет проиграно. Потом я опять принялась за шитье его пальто, хотя не очень торопилась, так как мне оставалась еще целая половина суток. Потом пообедала и читала какую-то книгу.*

\* Так в тексте.

Было около 7 часов и я только что собиралась идти на почту, думая, не пришлет ли он еще письмо, как услышала свисток, который здесь означает пожар и служит для того, чтобы собрать пожарных граждан. Я подошла к окну и несколько времени стояла, потом пошла, чтобы одеть пальто, как вдруг послышался звонок и быстрые Федины шаги в коридоре. Я бросилась к дверям и страшно обрадовалась, увидев Федю. Он меня выбранил, зачем я сейчас стояла у окна, он делал мне различные знаки, кланялся, а я ничем ему не ответила. А на самом деле я решительно никого и не видела и его не заметила. Несмотря на то, что я была очень спокойна и очень терпеливо дожидалась его приезда, я была ужасно как рада и просто от радости бегала по комнате. Федя был тоже очень рад. Он посмотрел на меня и сказал, что я вместо того, чтобы похудеть без него, ужасно как растолстела; я отвечала, что это потому, что я ем постоянно *poulet* \*, и уж наши хозяйки придумали, что так как это постоянная моя пища, то очень может быть, что я вдруг сама обращаюсь в пухь.

Федя мне объяснил, что сегодня рано утром, т. е. эдак без 10 минут 11 часов, пошел на почту, чтобы отнести ко мне письмо; тут ему подали мое письмо с деньгами. Возможность уехать была получена, и хотя оставалось всего только 10 минут до отхода \*\* поезда, но Федя сейчас бросился в гостиницу, спросил счет и, собрав вещи, уехал. Счет оказался очень невелик, т. е. за 3 дня всего-навсего 17 франков, так что вместе с дорогой Феде стоило 25 франков и больше 22 франков он привез домой. Так как я сказала Феде, что сегодня решительно не ожидала его домой, то он начал ужасно горевать, зачем он не остался еще на день, не пошел играть на эти 20 оставшихся франков, он был уверен, что непременно выиграет на эти деньги. Но он не сделал этого, потому что думал, что я его ужасно как жду домой и потому что уж очень хотел меня видеть. Мне это было очень приятно, что он при первой же возможности поспешил домой; да ведь хорошо, что и не остался там, потому что 22 франка все-таки деньги, а если бы он остался, то они были бы непременно проиграны. Мы очень весело разговаривали. Федя рассказал мне о своем тамошнем житье, как он скучал без меня, он там не терял времени даром и записывал разные мысли из романа. Стали мы также говорить и о наших теперешних средствах. Было у нас всего-навсего 49 франков с его и с моими, а следовало непременно сейчас выслать этой дурной бабе, у которой заложено его пальто, 50 франков, а там решительно нечем жить. Федя очень надеялся попросить у Огарева 300 франков, хотя я решительно не надеялась на успешное занятие; какие у него средства, может быть, он и сам нуждается, это ведь еще неизвестно, но если он нам не даст, что тогда мы станем делать <sup>180?</sup> Федя вот надеется, что мама пришлет нам, но я ему сказала, что мама сама просит, чтобы мы прислали ей деньги за билеты и бумаги. Закладывать решительно нечего, билеты пропали, а также вдруг могут пропасть мои шелковые платья, одним словом, тогда решительно все, что у меня есть несколько лучшего, все пропадет. Как мне это больно, я просто и сказать не могу. Особенно мне жалко билетов, они мне так нравились, я их так любила, и вот теперь они пропали, но что делать, у людей бывают и поважней несчастья.

Вообще мы довольно весело провели этот вечер, я, право, не ожидала даже того, потому что мне все казалось, что я стану очень тосковать об этих деньгах. Федя по дороге не ел. Поэтому я предложила ему мою курицу и отдала старухам спечь 2 яблока, так что он хотя несколько покушал. Да, положение наше уж как не хорошо, но как-нибудь мы проживем. У меня слишком мало места, а событий в <эти дни?> было вовсе не так много,

\* Цыпленка (франц.).

\*\* Может быть: прихода.

чтобы стоило о них говорить постоянно. Скажу только, что 21-го числа я послала на Саксон деньги за пальто и кольца. 22-го числа он написал письмо к Каткову, что все еще не кончил, вечером он дал мне прочесть. Вообще письма Каткову он всегда мне читает и советуется со мной, хорошо ли письмо написано. Я сегодня дала ему 22 франка под видом заложенных вещей, эти деньги я кое-как скопила понемногу, 23-го он послал письмо к Каткову<sup>131</sup>; в воскресенье 24-го была страшная биза, ветер невыносимый, так что просто сбивал с ног. Я пошла на почту и получила письмо от Маши. Там же мне сказали, что на имя Достоевского пришел пакет из Саксон; это очень хорошо, потому что бедному Феде ходить не в чем. Маша писала о своем бедственном положении, говорила, между прочим, что мама поехала в Москву к брату и хочет просить его взять домой под (н а б л ю д е н и е), вот почему я, вероятно, теперь долго от нее письма не получу. Дай-то бог, чтобы мама могла как-нибудь там устроить дел(о), чтобы хотя 1 год могла содержать бедного Ваню, пока я приеду и буду в состоянии помогать. Бедная мама, дела у нее ужасно плохи. Право, из всего нашего семейства я, несмотря на все мои неприятности и даже неудачи, гораздо их счастливее! Маша, между прочим, написала мне реестр тех вещей, которые я должна сделать моему маленькому. *В понедельник 25 (ноября)* я ходила закладывать кольца и получила за них 30 франков; я спросила, не знает ли он, кто здесь дает деньги под залог вещей, он дал мне адрес Кримселя, ну а это уж очень скверно, потому что мы и так заложили мои 3 платья, следовательно, если я приду еще с залогом, то они преспокойно продадут мои вещи. Но когда я стала очень просить, то Сеге сказал мне принести эти вещи к нему, обещая, может быть, и дать за них что-нибудь. Я пойду к нему послезавтра.

*Вторник 26 (ноября)*. Сегодня вечером, когда я сидела и читала, а Федя писал за своим письменным столом, к нам вошла Ремонден и сказала, что ее знакомая бабка М-ме Bargeaud пришла к своей пациентке и, если я желаю ее видеть, то она сейчас ко мне зайдет; я сейчас же хотела переменить белье, но М-ме Bargeaud уже вошла и застала меня в дезабилье. Мы сидели с нею и довольно долго разговаривали. Федя тут тоже вступился и спросил ее под конец, как она думает, мальчик или девочка, она отвечала, что того решить теперь нельзя, но кого бы он хотел; тот отвечал, что он будет счастлив, кто бы у него ни родился. Когда мы спросили ее о цене, то она отвечала, что об этом после, мы с нею условились, что я ей дам знать, и что, кроме того, она и сама будет ко мне заходить. После Ремонден меня бранила, зачем я спросила ее о цене, будто бы это здесь не делается, а что, как она мне сказала, ей надо дать 50 франков и сделать какой-нибудь подарок.

*Среда 27 ноября*. Я ходила к Сеге закладывать ему мой кружевной платок и шаль и небольшую шелковую кофту; сначала они не хотели взять, но потом, справившись о цене, решили дать 55 франков, и у меня было скоплено 50 франков, на них я выкупила свои 2 шелковые платья и была этому очень рада, по крайней мере, они не пропадут, а в случае необходимости их ведь можно и опять заложить.

*Четверг 28/16*. Федя видел Огарева и просил у него денег, хотел спросить 300 франков, но тот даже ужаснулся, услышав о такой громадной для него сумме; наконец, сказал, что, может быть, даст франков 60, но не раньше как послезавтра, да и то не наверно, так что, может быть, даже и не принесет (<...>)

*Суббота 30/18 (ноября)*. Ходила утром отнести письмо на почту и получила письмо из Москвы от Александра Павловича и Веры Михайловны. Вера Михайловна пишет, что будто бы видела, что у меня родилась дочь.

Послала к Ване мой портрет. Вечером был у нас Огарев; Феде не было дома, так он со мной сидел и много разговаривал о разных разностях. Потом пришел Федя и затопил печь. Огарев дал ему 60 франков. Мы обещали воротить через 2 недели.

*Воскресенье 1 декабря/19 <ноября>*. Сегодня был страшный ветер, биза, я ходила на почту и за курицей. Вечером начали диктовать; но надо сказать, что все продиктованное на этой квартире было потом забраковано и брошено <sup>132</sup>.

*Понедельник 2 <декабря>/20 <ноября>*. Был опять страшный дождь; вечером диктовали.

*Вторник 3 <декабря>/21 <ноября>*. Я обманула Федю насчет курицы, сказала, что курицу купила, а сама ела что-то другое; вот обман мой и открылся. Федя ужасно начал приставать, почему курицы нет, так что мы чуть было из-за того не поссорились. Вечером я ходила на почту и получила от Вани письмо <...>

*Пятница 6 <декабря>/24 <ноября>*. Сегодня, когда Федя топил печку, то ужасно бранился, я ему об этом заметила, он рассердился, и мы с ним поссорились. Ссора была довольно значительная. Получила от мамы письмо и сегодня же отвечала.

*Суббота 7 <декабря>/25 <ноября>*. Ссора у нас все еще продолжается; я сидела целый день дома, читала какой-то роман. Хозяйки нам дают знать, что мы должны искать себе квартиру.

*Воскресенье 8 <декабря>/26 <ноября>*. Ссора продолжается по-прежнему, мы не говорим, не конч(а е м) ссоры, не знаем, чем это кончится; ссора кончилась, Федя ужасно беспокоился, что я нынче была нездорова.

*Понедельник 9 <декабря>/27 <ноября>*. Ночью был припадок в 20 минут 5-го; лицо все ужасно покраснело, звал меня Саша, но потом все вспомнил и много и разумно говорил, а потом сказал, что ничего не помнит.

*Вторник 10 <декабря>/28 <ноября>*. Он ужасно какой разбитый; денег нет; пришлось идти заложить у Grimsel недавно выкупленное у него платье за 25 франков; меня там очень хорошо приняли, дали мне 3 <чепца>.

*Среда 11 <декабря>/29 <ноября>*. Получила письмо от мамы, бедная мама все горюет. Сегодня по всему городу прибиты были афиши, возвещавшие <о> Escalade — национальном празднестве женеццев, именно, когда Duc de Savoie\* хотел овладеть Женевою, то его бароны, воспользовавшись сном женеццев, уже перелезали стену, как те проснулись и сбросили их со стены и таким образом не допустили овладеть городом; вот их самое большое национальное предание, больше у них ничего и нет, и, конечно, они этим гордятся, просто даже досадно смотреть. Одной бабе, которая вылила на голову барона помой из окна, даже сделан памятник на площади, «magnifique fontaine»\*\*, как они его называют, где она представлена с горшком на голове <sup>133</sup>. Сегодня наши старушки нам уши прожужжали тем,

\* Герцог Савойский (франц.).

\*\* Великолепный фонтан (франц.).

что дескать, надо непременно идти смотреть Escalade, что это будто бы так хорошо, что все здешние молодые богатые люди истратили бог знает какие суммы для того, чтобы явиться на праздник в богатых будто бы костюмах. Мы действительно соблазнились, и я Федей уговорила идти смотреть. Часов в 8, когда стемнело, мы отправились гулять, и там каждую минуту попадались целые толпы разряженных мальчишек, которые в разных рожах с необыкновенной радостью бегали по улицам (у них наряжаются в этот день) и пели песни. Потом мы выбрались наконец на большую улицу, где было порядочно много народу. Тут мимо нас прошла процессия очень плохо одетых рыцарей и дам, просто хуже, чем у нас бывает в самых плохих балаганах на святой неделе. Тут было довольно тесно, и мы даже несколько боялись за меня. Тут в толпе ходили какие-то молодые люди и звенели кружками, приглашая пожить туда. Но мы решили с Федей, что вместо кружки гораздо лучше пойти и купить пирог, и хотя у нас было довольно мало денег, но, однако, отправились и на возвратном пути купили клубничный пирог и наскоро спрятали\* потому что иначе наши старухи ужасно на нас рассердились бы, если бы увидели, что мы едим пирог, а деньги им еще не заплатили. Чтобы понравиться старухам, мы рассказали Escalade. Мне этот вечер очень помнится, луна так хорошо сияла, вечер был довольно теплый, и, главное, мы были очень дружны с Федей. Он мне вчера сказал, что «ты и славная мать будешь», что я ему очень нравлюсь и вообще был очень ласков <ый>.

*Четверг 12 <декабря> /30 <ноября>*. Ходили на почту, думали получить деньги, а ничего нет, это меня ужасно как огорчило. Он вечером был со мной очень ласков, называл меня милочкой и сказал, что очень меня любит и будет любить.

*Пятница 13/1 <декабря>* Опять ничего на почте нет <...>

*Суббота 14/2 <декабря>* <...> на почте опять ничего нет. Я просто с ума схожу, не знаем, что и делать; Федя весь день ходил и думал.

*Воскресенье 15/3 <декабря>*. Сегодня с Федей опять был припадок в 10 минут 8-го <...> Сказали нам решительно, чтобы мы искали себе квартиру. Мы уж несколько раз отправлялись искать себе квартиру, но поиски наши оканчивались обыкновенно полным неуспехом. Так, меня, как беременную, почти нигде не пускали, отказывались, говоря, что тут очень много хлопот, непременно хотели отдать нам квартиру вместе с пансионом, но мы того уж решительно не желаем. Потом, когда мы уже прожили несколько месяцев, те самые квартиры, что мы смотрели, все еще оставались пустыми, да, вероятно, пробудут пустыми еще несколько месяцев.

*Понедельник 16/4 <декабря>*. Ходила закладывать 2 шелковых платья у Grimsel, получив деньги, сказала, что будто бы это прислала мне мама; ужасно не хотелось идти закладывать, да делать было нечего, а уж как не хотелось. Ходили опять отыскивать квартиру, нашли себе на улице Mont-blanc во 2-м этаже у M-me Josslin; квартира нам очень понравилась, состоит из 2-х комнат: маленькая спальня и большая комната, с кроватями и мягкой мебелью, и хозяйка нам показалась с первого взгляда очень милой и простой, хотя потом мы и поняли, что это была за женщина. Спросила с нас 100 франков в месяц, но потом отдала за 86, мы обещали дать ей знать в среду, возьмем ли мы или нет.

*Вторник 17/5 <декабря>*. Сегодня мы уж положительно не надеялись получить деньги, так как обыкновенно получаем их по четвергам, и я



*А Достоевская*

*2-го декабря 1916 г.*

А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ В МОСКОВСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ, В ОРГАНИЗОВАННОЙ ЕЮ КОМНАТЕ-МУЗЕЕ «ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»

Фотография с подписью и датой: «А. Достоевская. 2-го декабря 1916 г.»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

отправилась в библиотеку, чтобы взять «Jil Blas»; конечно, я тихонько пошла на почту и уж, разумеется, никак не ожидала денег. Но я даже и не удивилась и не обрадовалась, когда узнала, что деньги пришли; Федя мне просто не поверил, когда я ему принесла записку для подписи; он подписался, и я отнесла на почту и получила конверт; Федя тотчас оделся, и мы пошли получать деньги; всего 680 франков, но взяли 10 франков за промен. Потом пошли покупать муфту, здесь спрашивали с нас 30 и 35, так что мы даже думали и не покупать, но потом купили маленькую серую барашковую за 25 франков и даже толковали, что, может быть, она пригодится и Сонечке или Мишеньке. Потом купили фруктов, изюму, груш и наконец, раков, которых баба принесла нам с рынка. Старухи, услышав, что мы собираемся есть раки, просто пришли в ужас. Вечером пришел Федя, принес пирог сладкий и мне  $\frac{1}{4}$  фунта засахаренных фруктов, просто

у нас пошел пир горой. Старухам отдали деньги и прибавили 10 франков за службу. Я ходила выкупить у Crimsel мои платья и, к моему удивлению, он взял всего только 2 франка процентов, тогда как я думала, что он возьмет франков 7 или 8. Федя хотел мне купить кофту и юбку, но я отказалась, и было очень глупо. Вечер прошел очень весело и в расчетах, куда нам девать деньги. Купили ему кашне и мне небольшой шерстяной платок.

*Среда 18/6 <декабря>*. Ходили выкупить кольца и шаль, взяли процентов 3.75 и потом отправились купить маме подарок, такую шаль, на которую я уж давно мечу; за шаль и за платье коричневое в 9 метров я заплатила 55 франков и оставила их у колбасницы. Потом купили очень тонкого полотна на детские рубашечки, на 6 рубашек и купила модель детской рубашки за 2.50 франков. Когда Федя отправился в свою очередь обедать, то я пошла взять от колбасницы мамину шаль и зашла в магазин разных изделий, чтобы купить какой-нибудь подарок для Вани. Народу у них было множество, потому что теперь наступает рождество и здесь обыкновенно делают друг другу подарки. Купила на стену календарь Ване за 6 франков и <две?> колоды карт за 1.80 с.; сделался дождик. Я хотела было сегодня отправить, но оказалось, что нельзя, что уж поздно. Я решилась отправить завтра утром <...> Сказали M-me Josslin, что возьмем у нее квартиру <...>

*Пятница 20/8 <декабря>*. Ходила утром покупать фланель на пеленки и платьице, дали мне модель платьица. Потом стали укладывать сундуки, все уложили. M-me Josslin сама пришла к нам в 2 часа с комиссионером перенести наши вещи. Я тоже ходила на новую квартиру, она нам очень понравилась, такая веселая, большая; хозяйка была с нами очень любезна, отдали ей деньги <...> Пошли с Федей обедать, мне не хотелось бы, чтобы она видела как я ем мою poulet, она будет, как Ремонден, говорить, что Федя меня не кормит, когда я ем это только для того, чтобы у меня не было изжоги.

*Суббота 21/9 <декабря>*. Ходила к бабке дать ей наш адрес, она была очень любезна со мной, сказала, что я вовсе не похожа на будущую мать, называла меня мон анфан, была очень любезна со мной и обещала приходить меня навещать. Федя как-то сказал, что я буду очень хорошая мать, сказал: это, надеюсь, <служит> испытанием, в Петербурге мы, может быть, дурно бы жили, ссорились, я бы тебя ревновал, а тут я тебя всю узнал. Федя довел меня до бабки.

*Воскресенье 22/10 <декабря>*. Ходила в церковь молиться, а сначала поссорилась с Федей, который меня бранил, зачем я его раньше разбудила. Потом мы помирились. Шила Сонечке платьице. Была у Ремонден, она мне так много дурного наговорила о нашей хозяйке, что просто страх берет! Наполовину, я думаю, неправда. В субботу 21/9 <декабря> были мои именины. Федя еще накануне купил большой сладкий пирог, а утром подарил мне 4 пары перчаток разных цветов, заплатил 10 франков, а между тем у нас очень мало денег. Начал диктовать новый роман, старый брошен. *От 23 до 31 числа* время прошло очень быстро; вечером диктовали, а вечером переписывала, потом много шила разных детских вещей. 31 числа пошла закладывать кольца, оказалось, что у Cleve заперто, пришлось идти к Crimsel заложить платье, жена была очень любезна, но муж не очень.

Записи после текста Дневника (обычным письмом)

12 июля 68 Vevey

Басня

Дым и Комок

На ниве мужика Комок земли лежал,  
 А с фабрики кушца Дым к небу возлетал.  
 Гордяся высотой, Комку Дым похвалялся.  
 Смиранный же Комок сей злобе удивлялся.  
 — Не стыдно ли тебе, — Дым говорил Комку, —  
 На ниве сей служить простому мужику.  
 Взгляни, как к небу я зигзагом возлетаю  
 И волю тем себе всечасно добываю.  
 — Ты легкомыслен, — ответствовал Комок. —  
 Смиранный доли сей размыслить ты не мог.  
 Взлетая к небесам, ты мигом исчезаешь,  
 А я лежу века, о чем, конечно, знаешь.  
 Плоды рождать тебе для смертных не дано,  
 А я на ниве сей рождаю и пшено.  
 Насмешек я твоих отселе не боюсь.  
 И с чистою душой я скромностью горжусь.

А б р а к а д а б р а<sup>134</sup>

Ключ любви

ее дочери

Она невинна

Талисман, жених

*Он.* Поклон тебе, Абракадабра,

Пришел я сватать Ключ любви.

В сей омут лезу слишком храбро,

Огонь кипит в моей крови.

*Она.* Авось приданого не спросит,

Когда огонь кипит в крови.

А то задаром черти носят

Под видом пламенной любви.

*Он.* Советник чином я надворный,

Лишь получил, сейчас женюсь.

*Она.* Люблю таких, как вы, проворных.

*Он.* Проворен точно, но боюсь.

*Одна из дев.* К чему сей страх в делах любви,

Когда огонь кипит в крови.

*Он.* Сей страх, о дева, не напрасен.

*Дева.* Твоих сомнений смысл ужасен.

*Он.* Вопросом дев я удостоен,

Вопрос сей слишком непристоен.

*Абракадабра.* Не отвечайте, коли так.

Ведь не совсем же вы дурак.

*Он.* Сей комплимент мне очень лестен,

Я остроумием известен.

*Одна из дев.* Зачем пришел к нам сей осел?

*Он (с остроумием).* Осел жениться б не пришел.

Но к делу: кто из них невинна

И кто из них Любви ключ,

Скажи скорее и не мучь.

*Она.* О, батюшка, ты глуп, как гусь.

Невинны обе, в том клянусь.

*Он.* Увы! Кто клятвам ныне верит?

Какая мать не лицемерит.

*Одна из дев, в негодовании показывая на Абракадабру*

Не лицемерит мать сия.

*Он (с насмешкой).* Не потому ли, что твоя?

Доколе с нами сей

*Она.* Клянусь еще, что ты болван.

*Он.* Болван, но не даюсь в обман.

*Одна из дев.* Довольно, прочь беги, мерзавец.

Ты скот, осел, хриstopродавец.

*Он с глубоким остроумием.*

Мог продать,

Осел не продал бы Христа.

*Дева.* Оставь сейчас сии места.

*Он.* Довольно, дева, дружба дружбой.

Идти на службу

А мне пора тащиться к службе (*Уходит.*)

\* \* \*

Вся в слезах негодованья

Я егохватила в рожу

И со злостью

Я прибавила, о боже, похожа.

Я писал жене про мыло,

А она-то и забыла

и не купила.

Какова ж моя жена,

Не разбойница ль она?

Вся в слезах негодованья \*

Рдеет рожа за границей

У моей жены срамницы,

И ее характер пылкий

Отдыхает за бутылкой.

Я просил жену о мыле,

А она и позабыла,

Какова моя жена,

Не разбойница ль она?

Два года мы бедно живем,

Одна чиста у нас лишь совесть.

И от Каткова денег ждем

За неудавшуюся повесть.

Есть ли у тебя, брат, совесть?

Ты в «Зарю» затеял повесть,

Ты с Каткова деньги взял,

Сочиненье обещал <sup>135</sup>.

Ты последний капитал

На рулетке просвистал,

и дошло, что ни алтына

Не имеешь ты, дубина! \*\* <...>

\* Слева на полях: Милан. Справа на полях: Женева. Далее текст написан обычным письмом.

\*\* Следуют записи каламбуров и шуток, которые мы невоспроизводим, так как они частично встречались в предшествующем тексте.

## П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Имеется в виду эпопея Балъзака «Les parents pauvres», объединяющая два романа: «Кузина Бетта» и «Кузен Поис». Федор Михайлович высоко ставил таланты Балъзака и Жорж Занд, и я постепенно перечитала все их романы. По поводу моего чтения у нас шли разговоры во время прогулок, и муж разъяснял мне все достоинства прочитанных произведений» (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 166). Об отношении Достоевского к Балъзаку см. Л. П. Гроссман. Балъзак и Достоевский. Собр. соч., т. II, вып. 2. М., 1928. Творчеству и значению Жорж Санд Достоевский посвятил две статьи в «Дневнике писателя» («Смерть Жорж Занда» и «Несколько слов о Жорж Занде»). — «Дневник писателя», 1876 г., июнь. — XI, 307 и сл.).

<sup>2</sup> Гарibaldi первоначально ожидали в Женеве 7 сентября, потом срок приезда отодвинулся; он должен был приехать для участия в конгрессе Лиги мира и свободы, — см. ниже примеч. 29, 30. Хозяйки квартиры, где жили Достоевские осенью 1867 г., — Луиза и Шарлотта Реймонден (Raymondain).

<sup>3</sup> О систематическом чтении Достоевским в Женеве русской прессы см. его письма к А. Н. Майкову 15 сентября 1867, 12 января 1868 г./31 декабря 1867 г. («Читаю газеты, каждый № до последней литеры, „Моск<sup>овские</sup> вест<sup>омости</sup>“ и „Голос“»), к С. А. Ивановой 1/13 января 1868 г. («Письма», II, стр. 37, 64, 72).

<sup>4</sup> Статья «Знакомство мое с Белинским», заказанная Достоевскому К. И. Бабиковым для литературного сборника «Чаша» (см. настоящ. том, стр. 286).

<sup>5</sup> Ольга Александровна Миллюкова (1850—1910), дочь А. П. Миллюкова (см. примеч. 114).

<sup>6</sup> Ср. в письме Достоевского к Майкову 21/9 октября 1867 г.: «Все здесь пьяно! Стольких буянов и крикливых пьяниц даже в Лондоне нет» («Письма», II, стр. 46).

<sup>7</sup> Первые месяцы пребывания в Женеве были тяжелы для Достоевского. «Климат в Женеве не по мне: тут беспрерывные ветры и перемены погоды. Припадки мои обнаружались с самою полною силою», — писал он Э. Ф. Достоевской 23/11 октября 1867 г. («Письма», II, стр. 52), а в письме к Майкову двумя днями раньше добавлял к аналогичному сообщению: «...Начинается, кроме того, какое-то скверное сердцебиение» (там же, стр. 46). Мрачный прогноз близкого безумия Достоевский решил поделить лишь с женой. Нельзя не поставить эту запись в связь с творческой реализацией подобного прогноза в «Идиоте».

<sup>8</sup> Délices — предместье Женевы, где находилась старая усадьба Вольтера с парком; Chatelaine — деревушка близ Женевы.

<sup>9</sup> Café de la Sougonne на Большой набережной (Grand Quai), где постоянно бывал и Н. П. Огарев (оно упоминается в письме Герцена к Огареву 19/7 сентября 1867 г.: Герцен и т. XXIX, кн. 1, стр. 201).

<sup>10</sup> В своих воспоминаниях А. Г. Достоевская так описывает распорядок дня во время жизни в Женеве: «Федор Михайлович, работая по ночам, вставал не раньше одиннадцати; позавтракав с ним, я уходила гулять, что мне было предписано доктором, а Ф. М. работал» («Воспоминания», стр. 166); к вечеру Достоевский диктовал текст Анне Григорьевне, которая расшифровывала стенограмму и переписывала текст к следующему дню.

<sup>11</sup> Текст прокламации, опубликованной женевским комитетом по приему Гарibaldi, гласил: «Граждане, мы будем иметь честь принять в нашем городе генерала Гарibaldi, этого знаменитого человека, столь много совершившего в пользу народа и посвятившего жизнь свою делу свободы <...> Выйдем же к нему навстречу, граждане женевские, приветствовать самого великодушного и бескорыстного из людей нашего времени...» (Цит. по корреспонденции в «Голосе» от 3/15 сентября 1867 г.). Далее извещалось о порядке встречи. Гарibaldi приехал в Женеву 8 сентября (см. ниже).

<sup>12</sup> Прокламация женевского подготовительного комитета, изданная 7 сентября, содержала программу Конгресса мира: открытие 9 сентября в 2 часа дня, заседания в те же часы 10 и 11, 12 сентября утром заключительное заседание, в 2.30 прогулка на пароходе, в 7 часов вечера — банкет («Annales du Congrès de Genève». Genève, 1868, p. 103).

<sup>13</sup> Жозефина Богарне (1763—1814) — первая жена Наполеона I, в разводе с ним с 1809 г.

<sup>14</sup> Замок в окрестностях Женевы, во второй половине XIX в. принадлежавший баронессе А. Ротшильд, отмечен в путеводителях как одна из достопримечательностей этих мест.

<sup>15</sup> Правый берег р. Роны, где жили первые месяцы Достоевские (угол ул. Вильгельма Телля и ул. Бертелье), соединен здесь с левым берегом тремя мостами: Mont-blanc, Vergues, de la Machine; между первыми двумя находится островок, носящий имя Руссо, с памятником ему.

<sup>16</sup> При переговорах в июле 1867 г. Гюго дал согласие участвовать в Конгрессе (см. его письмо к Э. Аколла: V. Hugo. Correspondance, t. III. Paris, 1952, p. 64); на этом основании в Женеве было объявлено о его предстоящем приезде. В начале сентября он, однако, написал президенту инициативного комитета Ж. Барни о сво-

ем отказе приехать; письмо это неизвестно, но о нем упоминается в неотправленном письме Гюго к Гарибальди: «Дорогой Гарибальди, я до последней минуты надеялся, что смогу участвовать в Женевском конгрессе, Г. Барни» сообщил вам, что мое здоровье вынуждает меня воздержаться от этого...» (там же, стр. 73).

<sup>17</sup> Президент инициативного комитета по созыву Конгресса мира Жюль Барни (1818—1878), французский политический деятель, с 1851 г. эмигрант, профессор Женевского университета.

<sup>18</sup> Каруж — предместье Женевы, средоточие русской революционной эмиграции в конце XIX — начале XX в.

<sup>19</sup> Rue de la Corraiterie — одна из центральных торговых улиц Женевы.

<sup>20</sup> Гарибальди в 1867 г. было 60 лет (р. 1807 г.). Внешность его описана в корреспонденции о его встрече, напечатанной в «Journal de Genève» (цит. по газ. «La voix de l'Avenir», 1867, 15 сентября, № 37): «Гарибальди одет, как на всех своих фотографиях: красная рубашка, светлосиние панталоны, серая фетровая шляпа и на плечах американский пончо в черную полоску...». Рядом с ним в карете сидел Ж. Барни, впереди один из членов Женевского комитета Соллер. Поезд, которым Гарибальди прибыл, опоздал, потому что на всех станциях возникли приветственные митинги. По прибытии в Женеву Гарибальди произнес речь с балкона отеля (бывший дворец Фази). Д. Фази, швейцарский политический деятель, был председателем Женевского комитета по приему Гарибальди. Этим объясняются слова А. Г. Достоевской: «с балкона дома президента». Запись А. Г. Достоевской исправляет соответствующее место ее «Воспоминаний», где рассказано о совместной с мужем прогулке для участия в встрече Гарибальди. Переданное там впечатление Достоевского от внешнего облика Гарибальди почти дословно совпадает с записью собственных впечатлений Анны Григорьевны в дневнике («Воспоминания», стр. 168).

<sup>21</sup> Павел Матвеевич Ольгин, преподаватель курсов стенографии, где училась А. Г. Достоевская, автор «Руководства к русской стенографии по началам Габельсбергера». СПб., 1866.

<sup>22</sup> Возможно, И. А. Гончаров; с которым А. Г. Достоевская познакомилась в Бадене (см. письмо Достоевского к Майкову 28/16 августа 1867 г.: «Письма», II, стр. 27 и «Воспоминания», стр. 164). Скорее же всего Иван Александрович Мерц, архитектор, предпологавшийся жених сестры А. Г. Достоевской Марии Григорьевны (см. отрывки из воспоминаний А. Г. Достоевской в кн.: «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2. Л., 1925, стр. 288).

<sup>23</sup> Полугодие со дня свадьбы Достоевских, состоявшейся 15 февраля 1867 г. Мать А. Г. Достоевской — Анна Николаевна Сниткина (урожд. Мильтопеус, 1812—1893).

<sup>24</sup> Павел Александрович Исаев (1846—1900), пасынок Ф. М. Достоевского.

<sup>25</sup> Весь этот инцидент — один из многих, вызванных недовольством А. Г. Достоевской моральными и денежными обязательствами, принятыми на себя Достоевским по отношению к пасынку и к семье умершего брата, М. М. Достоевского.

Ф. М. Достоевский был неправ, утверждая в споре, что вовсе «не обещано содержать» П. А. Исаева; такие обещания ему давались не раз: см. в письме 30/18 сентября 1863 г. «Друг мой, покамест я жив и здоров, ты на меня можешь, конечно, надеяться, но потом?» («Письма», I, стр. 336); позже, в письме 3 марта/19 февраля 1868 г.: «Покамест я жив, ты будешь сын мой, и сын дорогой и милый, я твоей матери клялся не оставить тебя еще накануне ее смерти («Письма», II, стр. 83). Через несколько дней после этого письма, связанного с сообщением А. Н. Сниткиной о том, будто П. А. Исаев просил у Каткова денег, Достоевский в письме к последнему так формулирует свои обязательства по отношению к пасынку: «Обязанность эту я признаю, но только свободно в сердце потому что искренне люблю его, возростив его с детства <...> Обязанности же официальной, формальной тут нет ни малейшей; она давно кончилась, если и была» («Письма», IV, стр. 284).

<sup>26</sup> Имя Огарева упоминается здесь А. Г. Достоевской впервые. Однако из контекста ясно, что встреча эта не первая. Это подтверждается письмом Огарева к Герцену 3 сентября 1867 г.: «Сейчас был у мертвого дома, который тебе кланяется. Бедное здоровье» («Лит. наследство», т. 39-49, стр. 469). На Конгрессе Огарев был избран одним из вице-президентов от русских представителей.

<sup>27</sup> Сниткины — семья дяди А. Г. Достоевской, Николая Ивановича Сниткина.

<sup>28</sup> А. Г. Достоевская имеет в виду свои предстоящие в конце зимы роды.

<sup>29</sup> 9 сентября на первом заседании Конгресса мира Гарибальди произнес речь, содержащую программу из 12 пунктов, главными из которых были братство народов, неприемлемость решения конфликтов военным путем, республиканское правление и демократия. Папство объявлялось павшим.

Этот последний пункт вызвал бурю возмущения как посягательство на религиозную свободу католиков, и буржуазная политическая верхушка Женевы, возглавляемая Д. Фази и А. Весселем, выступила с протестом на Конгрессе. На публичное осуждение Гарибальди, после небывалого приема, устроенного ему городом, они отважились только после его отъезда: через два часа после этого на улицах были расклеены афиши с такими, в частности, заявлениями: «Под предлогом Конгресса мира мы услышали речи, подстрекающие к гражданской войне <...> мы решительно заявляем, что

намерены видеть уважение к нашим свободам и особенно нашим религиозным свободам...» (*Annales du Congrès de Genève*. Genève, 1868, p. 203—204).

Гарибальди, однако, уехал не вследствие этого конфликта: его отъезд был заранее намечен на 11 сентября (J. G u i l l a u m e. *L'Internationale. Documents et souvenirs*, t. 1. Paris, 1905, p. 52). Огарев писал об этом Герцену: «На конгрессовке президентом выбран был Гарибальди, два дня был, раз говорил — тоже общие места, на 3-й день уехал. Слухи ходят, будто его швейцарское правительство попросило уехать. Не знаю, кто пустил это в ход по городу, но сомневаюсь в истине, ибо накануне сам Гарибальди (<...>говорил мне, что он просто не может дольше остаться, потому что некогда» («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 470—471). Реакция Достоевского («Видел и Гарибальди. Он мигом уехал». — «Письма», II, стр. 38) и его жены — отражение этих слухов.

<sup>30</sup> В заседании Конгресса 11 сентября, на котором присутствовали Достоевские, председательствовал бернский адвокат Жюлиссен, избранный президентом Конгресса. В первой половине заседания выступали деятели I Интернационала У. Р. Кример и Д. Оджер; Карл Фогт прочел на французском и немецком языках «Dix articles contre la seigneurie» немецкой писательницы Фанни Левальд-Стар, затем два делегата-итальянца — Ченери и Гамбуччи — выступали против папства. Бурная реакция зала, прервавшая заседание, произошла как раз после речи Гамбуччи («Annales du Congrès de Genève», p. 222). О выступлении Гамбуччи см. также письма Огарева к Герцену 12 сентября 1867 г. («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 470). Затем Ш. Л. Шассен предложил проект резолюции (J. G u i l l a u m e. Указ. соч., стр. 55). Дальнейшей дискуссии Достоевские, вероятно, уже не слышали.

Из записки о посещении Конгресса Достоевскими 11 сентября ясно, что они не слышали и не могли слышать выступления Бакунина: он выступал на Конгрессе один раз, 10 сентября.

<sup>31</sup> Аполлидия Прокофьевна *Суслова* (1839 или 1840—1917 или 1918), писательница. О ее отношениях с Достоевским см.: А. П. С у с л о в а. Годы близости с Достоевским, М., 1928; А. С. Д о л и н и н. Достоевский и Суслова.—Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2.

<sup>32</sup> В мае 1867 г. в Дрездене, в то время, когда Достоевский уехал на рулетку в Гомбург, А. Г. Достоевская получила адресованное ему письмо Сусловой и, узнав почерк, прочла его. Это был ответ на письмо Достоевского 23 апреля/5 мая 1867 г., в котором он извещал Суслову о своей женитьбе («Письма», II, стр. 3—5). По возвращении Достоевского жена отдала ему письмо: «За чаем он спросил, не было ли ему письма, и я ему подала письмо от нее. Он или действительно не знал, от кого письмо, или притворился незнающим, но только едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго, долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано, потом, наконец, прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбнулся» («Дневник», стр. 48).

<sup>33</sup> Мария Михайловна *Андреева*, подруга А. Г. Достоевской.

<sup>34</sup> Мария Дмитриевна *Достоевская* (урожд. Констант, в первом браке Исаева, 1825—1864), первая жена писателя.

<sup>35</sup> Иван Григорьевич *Сниткин* (1849—1887), брат А. Г. Достоевской, в 1867 г. — студент Петровской сельскохозяйственной академии в Москве. А. П. Суслова в 1867—1868 гг. жила, вероятно, в Москве, так как в 1868 г. сдала при Московском университете экзамен на звание учительницы. Адрес Сусловой в Москве А. Г. Достоевская узнавала через брата еще раньше, во время пребывания в Дрездене и Бадене («Дневник», стр. 267).

<sup>36</sup> Мария Григорьевна *Сватковская* (урожд. Сниткина, 1841—1872), сестра А. Г. Достоевской, жена цензора Петербургского цензурного комитета Павла Григорьевича Сватковского.

<sup>37</sup> Plainpalais — поле для военных маневров в центре Женевы на левом берегу Роны.

<sup>38</sup> Известна встреча Достоевского с Герценом на пароходе во время путешествия по Италии вместе с Сусловой в 1863 г. (по пути из Неаполя в Ливорно 13 октября 1863 г.). Герцен был на пароходе с дочерьми и М. Мейзенбург. Об этой встрече см.: А. П. С у с л о в а. Указ. соч., стр. 65 и настоящ. тома стр. 85. Встреча Достоевского с Огаревым на пароходе неизвестна. Очевидно, А. Г. Достоевская не совсем поняла рассказ мужа.

<sup>39</sup> Статья «Знакомство мое с Белинским», см. примеч. 4.

<sup>40</sup> Письмо А. Н. Майкова 27 августа не опубликовано (ЛБ, ф. 93, II, 6. 42, л. 1—2).

<sup>41</sup> Эмилия Федоровна *Достоевская* (урожд. Дитмар, 1822—1879), вдова М. М. Достоевского.

<sup>42</sup> *Saxon les Bains* (Saxon les Bains) — курортный городок в нескольких часах езды от Женевы, где находилась рулетка.

<sup>43</sup> Ср. в письме Достоевского к Майкову 15 сентября 1867 г.: «...эту растреклятую статью я написал, если все считать в сложности, раз пять и потом все опять перекрещивал и из написанного опять переделывал» («Письма», II, стр. 36).

<sup>44</sup> Церковь Сен-Жорж на бульваре рядом с кладбищем.

<sup>45</sup> В Саксон ле Бен.

<sup>46</sup> Угроза долговой тюрьмы («долговое отделение», «дом Тарасова») висела над Достоевским еще до выезда за границу и была одной из причин его отъезда («Кредиторы ждать больше не могли, и в то время, как я выезжал, уже было подано ко взысканию», — писал Достоевский Майкову 28/16 августа 1867 г. («Письма», II, стр. 25—26). Отмена этого института могла означать для Достоевского возможность немедленного возвращения в Россию. Так понимали эти газетные известия и друзья его. Майков писал ему 3 ноября 1867 г.: «Но вот, постойте, пишут, что скоро отменяют Тарасов дом, т. е. сажание за долги — я вас тотчас уведомлю: мне все кажется, что в России, при вашем безденежье, все лучше» («Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 342).

<sup>47</sup> Корреспонденция в «Голосе» 5/17 сентября 1867 г. о крестьянине И. П. Спехине (р. 1775), жившем близ Емецка Архангельской губ. и обучавшем детей грамоте. Внимание Достоевского привлекла необыкновенная биография этого крестьянина, с 1804 г. служившего в английском флоте матросом под именем Джон Петерсон, затем ставшего солдатом британских войск в Вест-Индии, дослужившегося до унтер-офицерского чина; по выходе в отставку вернулся в 1817 г. в Россию, где был судим «за самовольную отлучку», наказан плетью и водворен затем на родину. Желание Спехина вернуться в Россию, несмотря на угрозу наказания и на предложение продолжать службу в английских колониях, отвечало настроениям самого Достоевского и его отношению к проблеме эмиграции.

<sup>48</sup> В конфликтах между родственниками Достоевского и А. Н. Сниткиной А. Н. Майкову, выполнявшему ряд денежных поручений Достоевского, приходилось не раз выступать в роли арбитра, причем он принимал сторону последней («...я полагаю, что самое преданное вам лицо есть Анна Николаевна, кажется, бесподобная женщина...») — «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 342). По-видимому, речь идет о каких-то жалобах Э. Ф. Достоевской на А. Н. Сниткину.

<sup>49</sup> Деревушка на берегу Женевского озера по направлению к Лозанне.

<sup>50</sup> У Бастионов (укреплений в центре Женевы) в 1867 г. строилось здание университета.

<sup>51</sup> Служанка Достоевского в Петербурге.

<sup>52</sup> Кому принадлежит стихотворение, установить не удалось.

<sup>53</sup> В письме к Майкову 15 сентября 1867 г. Достоевский дал точные указания о способе доставки Бабинову статьи о Белинском: ее следовало послать для передачи ему в Москву в книжный магазин И. Г. Соловьева («Бывший Базунова». — «Письма», II, стр. 37). Обстоятельства пропажи рукописи неизвестны; обычно указываемые сведения о пропаже ее «вместе с другими рукописями» несостоявшегося сборника «Чаша» восходят к примечанию А. Г. Достоевской к письму Достоевского 21 мая 1867 г., неточность которого отмечена еще А. С. Долининым («Ф. М. Достоевский. Письма к жене». М., 1926, стр. 313—314; и «Письма», II, стр. 377). Несомненно только, что статья была доставлена в магазин Соловьева («С Бабиковым — сделано, как вы писали, но об нем ни слуху ни духу. Говорят, пьют», — писал Майков Достоевскому 3 ноября 1867 г. — «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 342); несомненно также, что до конца 1867 г. статья до Бабикова не дошла и он даже не знал, что она окончена и послана ему. 31 декабря 1867 г. Бабиков обратился к Майкову с просьбой вернуть задаток, данный им за обещанное стихотворение, в связи с тем, что «издание сборника должно было остановиться». К этому письму было приложено другое, адресованное Достоевскому. Бабиков писал ему: «В письме вашем от февраля ныне прошедшего года и при личном свидании в Москве вы говорили, что если я не согласен дожидаться вашей статьи, то вы готовы возвратить мне взятые вами за оную деньги. Тогда я надеялся; теперь предприятие это рушилось и, находясь сам в величайшей крайности, я питаю полную надежду, что вы исполните вами обещанное и возвратите полученные вами с меня 200 рублей серебром» (см. Л. Ланский. Утраченные письма Достоевского. — Вопросы литературы, 1971, № 11, стр. 201).

<sup>54</sup> См. «Письма», II, стр. 38—40.

<sup>55</sup> Речь идет о первом посещении Достоевским дома Сниткиных 3 ноября 1866 г.

<sup>56</sup> Серьги и брошь, заложенные в Бадене, были свадебным подарком А. Г. Достоевской от мужа.

<sup>57</sup> Эта запись важна для уточнения датировки работы Достоевского над первым планом романа «Идиот». П. Н. Сакулин датировал его (по пометам писателя) промежутком времени между 14 сентября ст. ст. и 4/16 октября («Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Незданные материалы». Под ред. П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. М.—Л., 1931, стр. 194—195). Первые записи к «Идиоту» действительно делались писателем в перилетанной тетради, уже служившей для заметок к «Преступлению и наказанию» (там же, стр. 7). Перед первыми записями

стоит дата 14 сентября, а затем, вписанная Достоевским позднее помета: «14 сентября. 22 октября» (ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 5, стр. 26). Возможно, что замеченная А. Г. Достоевской интенсивная работа писателя началась именно 19 сентября, хотя такой даты в сохранившихся материалах к «Идиоту» нет. Заслуживает внимания тот факт, что уже в этом раннем дневнике А. Г. Достоевская точно отмечает, в какой именно тетради находятся записи к новому роману.

<sup>58</sup> Музей, содержащий коллекцию произведений искусства, принадлежавшую генералу русской службы, женецу по происхождению, подарен городу Женеве его сестрами (K. V a e d e k e r. La Suisse et les parties limitrophes. Leipzig, 1893, p. 229—230).

<sup>59</sup> Софья Александровна *Иванова* (в замужестве Хмырова, 1846—1907), племянница Достоевского.

<sup>60</sup> Вероятно, Николай Иванович *Соловьев* (1831—1874), врач; литературный критик, сотрудничавший в журнале «Эпоха».

<sup>61</sup> См. письмо Достоевского к жене 5 октября («Письма», II, стр. 41).

<sup>62</sup> Обстоятельства этой поездки Достоевского в Саксон ле Бен были описаны им в письме 6 октября, не полученном еще А. Г. Достоевской к моменту его возвращения («Письма», II, стр. 42).

<sup>63</sup> К этому времени Достоевский был уже в большом долгу у редакции «Русского вестника». В начале 1867 г. Катков, у которого Достоевский взял до этого аванс под роман «Преступление и наказание», согласился выдать ему новый аванс в тысячу рублей. Этой суммой Достоевский обеспечил на некоторое время своих родных, сам же уехал с молодой женой за границу на деньги, полученные от заклада домашних вещей и ценностей. За границей, еще до приезда в Женеву, Достоевский дважды получал деньги из «Русского вестника» («Воспоминания», стр. 136—144, 161, 164). О долге Достоевского «Русскому вестнику», накопившемся к марту 1868 г., несмотря на начавшееся уже печатание «Идиота», см. в «Заявлении» Достоевского: «Заявляю, кроме того, что я взял в редакции „Русского вестника“ от издателя этого журнала в Москве до пяти тыс. руб. в продолжение прошлого 1867 и в нынешнем 1868 году» («Письма», IV, стр. 329). Из этого долга Достоевский выплатил к моменту составления «Заявления» (первой частью «Идиота») только 1900 руб.

<sup>64</sup> О проигрышах Достоевского в Бадене см.: «Воспоминания», стр. 161—162, письмо Достоевского к Майкову 28/16 августа 1867 г.—«Письма», II, стр. 29—30.

<sup>65</sup> Степан Дмитриевич *Яновский* (1817—1897), военно-медицинский инспектор Московского военного округа, муж артистки А. И. Шуберт, приятель Достоевского.

<sup>66</sup> Письмо Достоевского к А. Н. Сниткиной неизвестно.

<sup>67</sup> Семья сестры Достоевского Веры Михайловны Ивановой, М. Д. Достоевская с осени 1863 г. жила в Москве, где и скончалась 15 апреля 1864 г.

<sup>68</sup> Вероятно — последний перед смертью М. Д. Достоевской отъезд Достоевского в Петербург в середине февраля 1864 г. (28 февраля он вернулся в Москву и оставался там до смерти жены).

<sup>69</sup> Александр Павлович *Иванов* (1813—1868), врач Константиновского межевого института в Москве, муж В. М. Ивановой.

<sup>70</sup> Варвара Дмитриевна *Констант*. Первый муж М. Д. Достоевской — Александр Иванович *Исаев* (ум. 1855), губернский секретарь в Семипалатинске, затем в Кузнецке.

<sup>71</sup> В переписке Достоевского с свояченицей В. Д. Констант упоминается Юрий Егорович — может быть, Комаров, о котором идет речь («Письма», I, стр. 339, 345).

<sup>72</sup> Софья Дмитриевна *Констант*, гражданская жена Федора Акимовича Яковлева, помещика Псковской губ.

<sup>73</sup> Письмо Каткову неизвестно.

<sup>74</sup> Из указанных писем известно только письмо к С. А. Ивановой («Письма», II, стр. 42—45).

<sup>75</sup> Письмо 20—24 сентября 1867 г. см. в кн.: «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 340; опубликована только часть письма, хранящаяся в Пушкинском Доме. Конец этого письма, хранящийся в ЛБ (ф. 93, II, 6. 42, л. 3), не был опознан при составлении «Описания рукописей Ф. М. Достоевского» (М., 1957, стр. 421) и описан там как отдельное письмо. Цитируемая А. Г. Достоевской фраза находится как раз в этой отделившейся части письма.

<sup>76</sup> Достоевский отмечал слабые стороны высоко ценившегося им в целом творчества Жюль Санд, в частности, в письме к Майкову 18 января 1856 г.: «Скажите, почему дама-писательница почти никогда не бывает строгим художником? Даже несомненный колоссальный художник George Sand не раз вредила себе своими дамскими свойствами» («Письма», I, стр. 167).

<sup>77</sup> Федор Михайлович *Достоевский* (1842—1906), племянник писателя, пианист, впоследствии владелец магазина музыкальных инструментов, директор саратовского отделения Русского музыкального общества.

<sup>78</sup> Отчеты о судебном процессе Умецких («Дело о дочери помещика Ольге Умецкой, обвиняемой в поджогах, и о родителях ее Владимире и Екатерине Умецких, обвиняемых в злоупотреблении родительской властью») Достоевский прочел, вернее всего, в «Голосе» 26—28 сентября 1867 г. (в «Московских ведомостях» отчет был напе-

чтан позже, 1/13 октября). О значении этого дела и образа Ольги Умецкой для творческой истории романа «Идиот» см.: «Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы», стр. 204—209, 219—223. Соматствление этой дневниковой записи А. Г. Достоевской с записными тетрадами Достоевского к «Идиоту» показывает, что первые записи, связанные с Ольгой Умецкой, возникают уже через два дня после прочтения судебного отчета.

<sup>79</sup> Имеется в виду М. М. *Достоевский* (1820—1864).

<sup>80</sup> Объем романа «Игрок», который Достоевский должен был сдать издателю Ф. Т. Стелловскому к 1 ноября 1866 г., был оговорен в условии.

<sup>81</sup> Иван Максимович *Алонкин* (ум. 1875), домовладелец, у которого Достоевский снимал квартиру в 1864—1867 гг. Во время пребывания Достоевских за границей квартира оставалась за ними, и ее заняла Э. Ф. Достоевская с семьей.

<sup>82</sup> Дополнительных сведений о сокурнице А. Г. Достоевской Александре Ивановне Ивановой найти не удалось.

<sup>83</sup> В «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской — 50 рублей (стр. 47).

<sup>84</sup> Соседка Сниткиных.

<sup>85</sup> Карл Андреевич *Гринберг* — учитель немецкого языка в Маринской гимназии, которую окончила А. Г. Достоевская.

<sup>86</sup> На углу Столярного пер. и Малой Мещанской был также дом Д. Е. Бенардаки.

<sup>87</sup> К. Д. Ушинский в 1862—1867 гг. жил по преимуществу за границей, но ежегодно бывал в Петербурге, где и мог его посетить младший брат А. Г. Достоевской.

<sup>88</sup> Э. А. *Юнге*, врач-окулист, лечивший осенью 1866 г. глаз, поврежденный Достоевским во время припадка («Воспоминания», стр. 50).

<sup>89</sup> Ср. в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской: «Нашел, что я пропустила точку и неясно поставила твердый знак...» (стр. 51).

<sup>90</sup> Девочки: Мария, Глафира, Людмила Николаевны, Саша — Александр Николаевич Сниткин, врач, — двоюродные сестры и брат А. Г. Достоевской; вторая Маша — М. М. Андреева.

<sup>91</sup> Алексей Павлович *Сниткин* (псевд.: Амос Шипкин, 1839—1866), поэт-юморист, писатель, сотрудничал в «Современнике», «Светоче», «Библиотеке для чтения» и др.

<sup>92</sup> Григорий Иванович *Сниткин* (1799—1866), чиновник.

<sup>93</sup> Письмо Достоевского к брату 22 декабря 1849 г. («Письма», I, стр. 128—131).

<sup>94</sup> Ср. в «Воспоминаниях»: «Как „воротился из Рулетенбурга“? Разве я говорил про Рулетенбург?» (стр. 32).

<sup>95</sup> Историю договора Достоевского со Стелловским об издании собрания его сочинений в трех томах и романа «Игрок» см. в кн.: А. П. М и л ю к о в. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 231—235. См. также рассказ А. Г. Достоевской в публикуемом дневнике, стр. 000.

<sup>96</sup> Ср. письмо к Майкову 28/16 августа 1867 г.: «Заметил я, что Тургенев например (равно как и все, долго не бывшие в России) решительно фактов не знают (хотя и читают газеты) и до того грубо потеряли всякое чутье России, таких обыкновенных фактов не понимают, которые даже наш русский нигилист уже не отрицает...» («Письма», II, стр. 31).

<sup>97</sup> Об отношении Достоевского к Некрасову см. В. Е. Е в г е н ь е в-М а к с и м о в. Некрасов и Петербург. Л., 1947; А. Н. М и х а й л о в а. Достоевский о Некрасове и Щедрина. — Лит. наследство, т. 49-50, 1946; А. С. Д о л и н и н. Последние романы Достоевского. Л., 1963; В. А. Т у н и м а н о в. Достоевский и Некрасов. — В сб. «Достоевский и его время». Л., 1971. Отзыв Достоевского о Некрасове, приведенный здесь А. Г. Достоевской и относящийся ко времени их полного разрыва, следует в первую очередь соотносить с его позднейшим и более объективным мнением, выраженным в «Дневнике писателя» 1877 г.: «... твердо уверен (и прежде был уверен), что из всего, что рассказывали про покойного по крайней мере, половина, а, может быть, и все три четверти — чистая ложь. Ложь, вздор и сплетни. У такого характерного и замечательного человека, как Некрасов, — не могло не быть врагов. А то, что действительно было, что в самом деле случалось — то не могло тоже не быть подчас преувеличено. Но приняв это, все-таки увидим, что нечто все-таки остается. Что же такое?» (XII, 358).

Анализируя это «нечто», искренне стремясь снять с памяти Некрасова несправедливые обвинения, Достоевский и в конечном своем выводе сохраняет все же какую-то долю нравственного неприятия Некрасова: «Некрасов есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений, в области нравственной и в области убеждений, может доходить русский человек в наше печальное, переходное время» (там же, стр. 363).

<sup>98</sup> Неточная цитата из письма А. Н. Майкова 20—24 сентября 1867 г. («Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 340).

<sup>99</sup> Припадок в ночь с 17 на 18 октября отмечен самим Достоевским в записной тетради № 3 («Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы», стр. 22).

<sup>100</sup> Мария Николаевна *Стоюнина* (урожд. Тихменева, 1846 — не ранее 1924), гимназическая подруга А. Г. Достоевской, педагог, с 1881 г. владелица частной гимназии.

<sup>101</sup> В письме к И. Л. Янышеву Достоевский писал об этом: «По глупости своей я переписал тогда эти векселя на себя, в надежде помочь вдове и детям покойного; из них только вдова знает со мной, а дети даже мне теперь и не кланяются...» («Письма», I, стр. 434). Дочь М. М. Достоевского — Мария Михайловна (1843—1888), пианистка; жених ее, а с июля 1867 г. муж — Михаил Иванович Владиславлев (1840—1890), профессор философии, впоследствии ректор Петербургского университета. Вернувшись из-за границы, Достоевский помирился с племянницей.

<sup>102</sup> Анна Васильевна *Корвин-Круковская* (в замужестве Жаклар, 1843—1887), писательница, впоследствии участница Парижской Коммуны. Письмо ее от начала ноября 1866 г. — см. Лит.-худ. сборник «Красной панорамы», 1929, май, стр. 40—41.

<sup>103</sup> Софья Александровна *Иванова* см. примеч. 59; Мария Александровна *Иванова* (1848—1929), пианистка, Юлия Александровна *Иванова* (1852—1924), племянницы Достоевского; Елена Павловна *Иванова*, жена Константина Павловича Иванова (брата А. П. Иванова).

<sup>104</sup> «Крокодил. Необыкновенное событие, или пассаж в Пассаже»; напечатан (неполностью, вследствие закрытия журнала) в «Эпохе», 1865, № 2. Рассказ был воспринят либеральной и демократической прессой («Голос», 1865, 3 апреля; «Искра», 1866, № 13) как личный выпад против Чернышевского, находившегося уже в ссылке. Опровержение Достоевским этого обвинения см. «Дневник писателя», январь 1873 г. («Нечто личное»).

Изданная теперь записная тетрадь Достоевского за 1864—1865 гг. с материалами к этому рассказу документально опровергает эти несправедливые слухи о пародийном изображении личной судьбы Чернышевского (см. Л. М. Розенблюм. Творческие дневники Достоевского. — «Лит. наследство», т. 83, 1971, стр. 45). Достоевский писал, в частности, в статье «Нечто личное»: «Между тем эта нивость, мне приписываемая, так и осталась в воспоминаниях иных особ несомненным фактом, имела ход в литературных кружках, проникла и в публику...» (XI, 23). Отмечая в своих мемуарных записях беседу в доме Сниткиных о повести «Крокодил», А. Г. Достоевская явно не оценила значения этого слуха; по-видимому, она ни тогда, ни после замужества не рассказала об этом Достоевскому, — иначе в дневнике, несомненно, последовала бы возмущенная оценка им этих слухов.

<sup>105</sup> Жена А. Н. Майкова.

<sup>106</sup> Письмо 22/10 октября 1867 г. — См. «Письма», II, стр. 48—51.

<sup>107</sup> О романе «Преступление и наказание», напечатанном в 1866 г. в «Русском вестнике», а в 1867 г. вышедшем отдельным изданием. Судя по дальнейшему тексту, Достоевский дал Огареву прочесть первую часть романа, т. е. часть журнального текста.

<sup>108</sup> О посылке ему денег из редакции «Русского вестника» для раздачи П. А. Исаеву, Э. Ф. Достоевской и А. Н. Сниткиной (см. письмо Майкова 3 ноября 1867 г. — «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 342).

<sup>109</sup> Вероятно, сборник стихотворений Огарева, изданный в Лондоне в 1858 г.

<sup>110</sup> Мария Васильевна *Никифорова*, подруга А. Г. Достоевской, впоследствии ее помощница по издательским делам.

<sup>111</sup> Николай Михайлович *Достоевский* (1831—1883), инженер; Александра Михайловна (в замуж. Голеновская, 1835—1889), брат и сестра писателя; А. П. Иванов; Александр Петрович *Кашин* (1813—1869), врач, знакомый Достоевского, его жена Ольга Алексеевна; Ольга Александровна и Людмила Александровна (ум. 1901) *Милюковы* — дочери А. П. Милюкова (1817—1897), педагога, писателя, мемуариста, приятеля Достоевского.

<sup>112</sup> Иван Григорьевич *Долгомостьев* (ум. 1867), сотрудник журналов «Время» и «Эпоха».

<sup>113</sup> Едва приехав за границу, Достоевский, по словам его жены, «решил переписать все запрещенные издания, чтобы знать, что пишут за границей о России. Это необходимо для его будущих произведений» («Дневник», стр. 91). Особое место в чтении Достоевского заняли «Былое и думы» Герцена, которые он начал читать весной 1867 г. (там же, стр. 17). Здесь, вероятно, идет речь о 3-й и 4-й частях «Былого и дум».

<sup>114</sup> Петр Александрович Спиридов, политический эмигрант с 1866 г., упоминается в переписке Герцена и Огарева этого времени, см. «Лит. наследство», т. 39-40, стр. 478.

<sup>115</sup> «Деньги отдадите по возвращении: дай бог, чтобы они вас хоть немного успокоили — посылаю 100 руб.», — писал С. Д. Яновский («Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 371).

<sup>116</sup> Ср. в письме Достоевского к Майкову 21/9 октября 1867 г.: «И какие здесь самодовольные хвастунишки! Ведь это черта особенной глупости быть так всем довольным» («Письма», II, стр. 46).

<sup>117</sup> Это письмо С. А. Ивановой не сохранилось. Переписка Достоевского с ее семьей не дает данных об этом эпизоде.

<sup>118</sup> Во второй половине октября в записных тетрадях Достоевского сменяются один за другим три плана романа, впоследствии полностью отвергнутые («Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы», стр. 219—223).

<sup>119</sup> Достоевский родился в 1821 г. Машенька — вероятно, приятельница племянниц Достоевского Мария Сергеевна Ивапчина-Писарева (в замужестве Бердникова). Об отношениях Достоевского с ней см. воспоминания М. А. Ивановой. — «Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1. М., 1964, стр. 370.

<sup>120</sup> Мария Ганецкая, знакомая А. Г. Достоевской.

<sup>121</sup> Александра Павловна Неупокоева, крестная мать А. Г. Достоевской.

<sup>122</sup> Владимир Яковлевич *Стоюнин* (1826—1888), педагог, писатель, в 1858—1859 гг. редактор газеты «Русский мир», муж М. Н. Стоюниной. Из его трудов, которые могут иметь в виду Достоевский, осуждая «мнения» Стоюнина о Пушкине, можно назвать лишь книгу «О преподавании русской литературы». СПб., 1864, и отдельные заметки литературного характера в газете «Русский мир». Известная популярная биография Пушкина, принадлежащая Стоюнину, была написана много позже. Его жена пишет в своих воспоминаниях: «Федор Михайлович сразу не влюбил Стоюнина за его тяготение к Западу и не скрывал этого» («Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 578).

<sup>123</sup> Михаил Михайлович *Достоевский* (1847—1896), племянник писателя, с 1869 г. служил в банке.

<sup>124</sup> Это письмо к С. Д. Яновскому неизвестно.

<sup>125</sup> Речь шла не о двоюродной сестре, а о тетке Достоевского Екатерине Федоровне Ставровской, умершей в 1855 г. от ожогов (в церкви на ней загорелось платье), — см. М. В. Волоцкий. Хроника рода Достоевского. М., 1933, стр. 82. Младшая сестра матери Достоевского, она была моложе племянника на два года.

<sup>126</sup> Протоколы шумевшего судебного процесса об убийстве паром Франции Теобальдом Праленом, герцогом Шуазель (Charles Laure Hugues Théobald Praslin, duc de Choiseul) своей жены были изданы в 1847 г. отдельной книгой (Cour des Pairs. Assassinat de M-me la duchesse de Praslin. Procédure. Procès-verbaux... Paris, 1847).

<sup>127</sup> См. «Письма», II, стр. 54—55.

<sup>128</sup> А. А. *Кравский* (1810—1889), издатель «Отечественных записок» и «Голоса».

<sup>129</sup> См. «Письма», II, стр. 55—57.

<sup>130</sup> Сам Огарев в это время очень нуждался. «Зачем ты оставляешь Огарева совершенно без средств? Я пишу с его ведома и прошу тебя — как бы ни было трудно — выслать сейчас вексель в Ниццу. Я делаю все, что могу — но есть граница», — писал Герцен Сатину 9 октября/27 сентября 1867 г. (Герцен, т. XXIX, кн. 1, стр. 210), а 28/16 октября сообщал Огареву: «От Сатина ничего. Я могу 1 числа прислать 400 fr.» (там же, стр. 220).

К письму Достоевского, где речь идет о возможном займе у Огарева, А. Г. Достоевская сделала впоследствии примечание: «Заем 300 фр. не состоялся, так как были получены небольшие деньги из Петербурга от моей матери» (Ф. М. Достоевский. Письма к жене, стр. 314). Здесь все неверно: как видно из дальнейшего текста Дневника, заем у Огарева состоялся — правда, не 300, а всего 60 франков; деньги же из России были присланы только 17/5 декабря, но не А. Н. Святкиной, а редакцией «Русского вестника» (письмо 28. XI 1867 г. — ЛБ, ф. 93, II, 8.20).

<sup>131</sup> Это письмо неизвестно.

<sup>132</sup> К началу декабря 1867 г. была написана первая часть романа «Идиот» по первоначальному плану. Достоевский писал А. Н. Майкову о том, что «4 декабря (...) бросил все к черту», и в середине декабря роман был начат заново («Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Незданные материалы», стр. 203).

<sup>133</sup> 12 декабря в Женеве отмечался национальный праздник — годовщина неудачной попытки герцога Савойского Карла-Эммануила овладеть Женевой приступом (Escalade) в ночь с 11 на 12 декабря 1602 г.

<sup>134</sup> Стихи, судя по пометам, сочинены не раньше сентября — октября 1868 г. (Милан).

<sup>135</sup> Стихи сочинены не ранее февраля — марта 1869 г., когда Достоевский предложил журналу «Заря» повесть, рассчитывая одновременно предложить «Русскому вестнику» (долг которому оставался и после окончания печатания «Идиота» в 1868 г.) новый роман («Атеизм») для публикации в 1870 г. (см. письма к Страхову, С. А. Ивановой и Майкову — «Письма», II, стр. 171—177, 182—183, 194). Оба замысла не были осуществлены, «Заре» в конце концов был послан рассказ «Вечный муж». «Неудавшаяся повесть» — «Идиот».